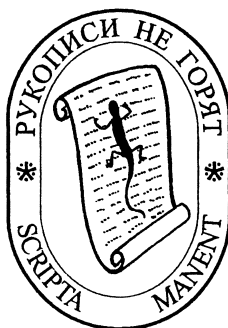


Научно-образовательный форум
по международным отношениям
Журнал «Международные процессы»

Экспертный совет

Научно-образовательного форума по международным отношениям

д.ф.н. Т.А. Алексеева, д.пол.н. А.Д. Богатуров,
член-корреспондент РАН О.Н. Быков, д.пол.н. А.Д. Воскресенский,
д.и.н. Л.М. Дробижева, к.и.н. Н.А. Косолапов,
д.и.н. В.А. Кременюк, к.и.н. М.П. Павлова-Сильванская,
член-корреспондент РАН В.А. Тишков, профессор М. фон Хаген (США),
д.и.н. А.С. Ходнев, д.ф.н. П.А. Цыганков, д.пол.н. Т.А. Шаклеина



Э.Я. Баталов

ЧЕЛОВЕК, МИР, ПОЛИТИКА

Москва
2008

Academic Educational Forum on International Relations
«International Trends» Journal

Regional Scholar's Library Series

Edward Batalov

HUMAN, WORLD, POLITICS

Moscow
2008

Научно-образовательный форум
по международным отношениям
Журнал «Международные процессы»

Региональная библиотека международника

Э.Я. Баталов

ЧЕЛОВЕК, МИР, ПОЛИТИКА

Москва
2008

ББК 66.0

Б 11

Б 11 Баталов Эдуард Яковлевич. Человек, мир, политика. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2008. 330 с.

ISBN 5-901981-22-7

Редактор *О.И. Мальцева*

Работа известного российского политолога и философа Э.Я.Баталова посвящена философскому осмыслению современных политических процессов, включая международные отношения, через призму человеческого существа. Автор полагает, что одной из заслуг европейской философии Нового времени был поворот к человеку как центру социально-политического космоса, свободному субъекту творческой деятельности. Подобный поворот предстоит, по мнению автора, совершить и политической науке, которая пока концентрирует внимание на институциональных проблемах. Сегодня в ее рамках просматривается тенденция к привнесению антропологической тематики в политический анализ. В этой связи автор предпринимает попытку увидеть за политическими институтами живого человека с его потребностями, интересами, иллюзиями, заблуждениями и надеждами. В книге впервые представлены положения об антропологии и философии международных отношений как научных субдисциплинах.

Издание представляет интерес для политологов, международников, студентов, магистрантов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей, всех, кто интересуется философским осмыслением международных отношений и современной политики.

ББК 60.0

Издание осуществлено при поддержке Фонда МакАртуров

ISBN 5-901981-22-7

© Э.Я. Баталов, 2008

© НОФМО, состав, макет, 2008

© С.И. Дудин, эмблема, 1997

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ПОЛИТИКА КАК «РЫНОК» И «ТЕАТР»	20
Восхождение к политической науке	20
Политическое — «слишком человеческое»	42
Политика в рыночном обществе	59
Топология политических отношений	66
СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ, КУЛЬТУРА	86
Социальное пространство свободной мысли	86
Политическая культура России сквозь призму <i>civic culture</i>	105
Идея демократии в Америке XX века	122
Глобальный кризис демократии?	154
ФИЛОСОФИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ	167
«Новый мировой порядок»: к методологии анализа	167
Предмет философии международных отношений	186
Антропология международных отношений	202
РОССИЯ, ЕВРОПА, АМЕРИКА	221
Политическая система США сегодня: взгляд из Москвы	221
Америка: страсти по империи	241
Какая Россия нужна Западу?	271
КОНТУРЫ «НОВОЙ ЭРЫ»	289
Два кануна	289
Новая эпоха — новый мир	304
Единство в многообразии — принцип живого мира	318

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одна из заслуг европейской философии Нового времени – поворот к Человеку как реальному одушевленному существу, центру социально-политического космоса, свободному субъекту творческой деятельности.

Политической науке, концентрирующей свое внимание на институтах, еще предстоит совершить такой поворот. Но уже сегодня в ее развитии просматривается тенденция, пусть пока не центральная, к «антропологизации» политических исследований, к стремлению не только разглядеть за политическим «лесом» составляющие его человеческие «деревья», но и по-новому, с человеческой «колокольни» посмотреть на сам этот «лес». Иными словами, *увидеть за политическими институтами – как национальными, так и международными – живого человека с его потребностями, интересами, иллюзиями, заблуждениями и надеждами.*

Среди тех, кто, занимаясь исследованием мира политики, пытается разглядеть в нем прежде всего превращенный *человеческий мир*, и автор этих строк. Свидетельством тому его книги, опубликованные на протяжении последней четверти века. В их числе – «Социальная утопия и утопическое сознание в США» (1982), «В мире утопии» (1989), «Современное политическое сознание в США» (в соавторстве) (1980), «Политическая культура современного американского общества» (1990), «О философии международных отношений» (2005) и другие.

Проблемам Homo politicus и политического мира как среды его деятельности посвящены и многие статьи, публиковавшиеся автором в разное время на страницах таких журналов, как «Вопросы философии», «Полис», «Свободная мысль»¹, «Общественные науки и современность»², «США ♦ Канада: экономика, политика, культура», «Международные процессы», «Pro et Contra», «Современная Европа» и других и связанные между собой в проблемно-концептуальном отношении. Некоторые из них вошли в настоящий сборник и составили его ядро.

Ограниченный объем книги не позволил включить в нее статьи, написанные в годы перестройки и связанные прямо или косвенно с процессами, происходившими в тот период в отечественной политике и общественном сознании. Какие-то из публикаций тех лет утратили прежнюю значимость и остроту. Но какие-то и сего-

¹ Ныне выходит под названием «Свободная мысль-XXI».

² Ранее выходил под названием «Общественные науки».

Предисловие

дня, двадцать лет спустя, сохраняют, как представляется, политическую и идейную актуальность (по крайней мере, в определенном аспекте) и заслуживают того, чтобы если и не перепечатать их, то хотя бы сказать о них пару слов.

Это, прежде всего, статья «Социалистическая перспектива и утопическое сознание», опубликованная в феврале 1988 года в журнале «Коммунист» [1]. В ней (насколько известно, впервые [2, с. 3] в советской литературе) было сказано открытым текстом о наличии элементов утопизма в образах социализма, «бытующих в нашем сознании» [1, с. 79]. «Все эти представления о социализме – о стирании социальных граней, бесконфликтности, «простоте», о «полной» или «прямой» противоположности капитализму и ряд других – звенья одной цепи, проявления единого, мы бы назвали его административно-проектным, типа сознания, «страшно далекого» от реальности и от науки.

Но утопические представления о социализме обнаруживаются не только в теоретическом сознании. Еще в большей мере – и это естественно – утопическим духом проникнуто наше обыденное сознание, фиксирующее локальный, повседневный опыт индивидов и групп» [1, с. 81].

Одну из главных причин распространения утопического сознания в советском обществе автор видел в отрыве теории от реальной политической практики; в отсутствии демократических свобод и подавлении свободомыслия, невозможности открытого, публичного обсуждения насущных проблем; в претензии властей на монопольное обладание истиной; в их неумении и нежелании признавать и своевременно исправлять допущенные ошибки.

Сегодня ситуация в стране иная. Но отчетливо обозначившаяся в последние годы *тенденция к бюрократизации процесса принятия важных для страны политических решений и выработки стратегии дальнейшего развития России; ограничение демократических свобод; нежелание властей прислушиваться к голосу научного сообщества и стремление поставить его под свой жесткий контроль* не могут не настораживать. Ведь утопическое сознание и утопические образы формируются не только в русле социализма. А на российской почве утопии всегда цвели пышным цветом, окрашивавшимся время от времени в багровые тона [3].

Сегодня много говорят о стабилизации российского общества и необходимости сохранения стабильности. Этот курс заслуживает полной поддержки. Не надо только забывать, что стабилизация работает на благо общества лишь при том неременном условии, что *не блокирует свободный творческий поиск – в том числе и в сфере политики, не ограничивает пространство свободы, не ведет к ог-*

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

раничению и/или выхолащиванию прав человека, включая право на открытое, публичное выражение собственного мнения, которое может расходиться с официальными оценками и суждениями. В противном случае добытая таким трудом стабильность быстро (и, что страшно, – незаметно) перерастает в *застой*, который раньше или позднее завершается глубоким социальным, политическим, экономическим, культурным и нравственным *кризисом*. Так уже было в «брежневские» годы, и какой оказалась цена выхода из этого кризиса, мы хорошо знаем.

Конечно, как человек, посвятивший много лет исследованию феномена утопии, я отдаю себе отчет в том, что утопическое измерение всегда было и остается имманентным измерением человеческого сознания и попытка насильственного «очищения» его от «ереси утопизма» (слова известного русского философа С.Л. Франка) могла бы парадоксальным образом оказаться одним из самых деструктивных проявлений самой этой «ереси» [4]. К тому же человечество нуждается в идеалах, в том числе утопических. Поэтому «вопрос не в том, как изгнать утопизм из нашей жизни, а в том, как *научиться жить с утопией, не живя по утопии*» [4, с. 399].

Еще одна «перестроечная» публикация, о которой хотелось бы упомянуть, – это статья «Политическая реформа и эволюция советского государства» (написанная в соавторстве с академиком Г.А. Арбатовым), напечатанная на страницах все того же «Коммуниста» в марте 1989 года [5]. Речь в ней шла о пагубности проводившегося в Советском Союзе курса на построение тотального аппаратного государства, блокирующего все пути к построению гражданского общества, а значит, и реализации творческого потенциала человека. «Одним словом, – писали авторы, – начавшийся еще с 20-х годов курс на этатизацию общества, то есть фактически полное подчинение его тотальному (всеохватывающему) «аппаратному» государству, принимающему гипертрофированные, не обусловленные объективной необходимостью масштабы, сохранялся и в период застоя. В какой-то степени это было следствием застоя, но в еще большей мере – одной из его причин» [5, с. 37]. Думается, напоминание о пагубности «аппаратного» государства для такой страны, как Россия (не имеющей прочных либеральных и гражданских традиций) не лишено актуальности и в наши дни.

Не могу не упомянуть и о статье «Перестройка сознания – императив истории», появившейся в журнале «Общественные науки»

³ Статья была перепечатана под названием «Куль личности и общественное сознание» в сборнике «Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе сталинизма» [7].

Предисловие

в 1988 году [6]⁸. Тогда, в разгар перестройки, в советском обществе с новой силой вспыхнула и разгорелась дискуссия о *сталинизме* (как феномене идеологическом) и *сталинщине* (как феномене социально-политическом). По сути дела это была первая серьезная попытка советской общественности докопаться до истинных корней явления, которое после XX съезда КПСС было (с целью сокрытия правды) названо «культом личности», причем сам этот культ был сведен к возвеличению вождя.

В годы перестройки появилась возможность исследовать глубинные истоки и механизмы формирования социального явления, скрывавшегося за этими двумя словами и попытаться понять, что нужно сделать и чего не надо делать, чтобы история не повторилась. «Ведь культ личности – это не просто длящийся акт поклонения, «забвение» себя в идоле, покорность. *Культ – это социальное отношение*, в которое вовлечены по меньшей мере две онтологически равноправные стороны и которое может воспроизводиться в течение длительного времени лишь при том неперенном условии, что каждая из сторон будет обладать *релевантным сознанием*. Коротко говоря, культ Сталина мог стать исторической реальностью только при наличии (в числе прочих условий) соответствующего общественного сознания, «санкционирующего» самой своей качественной определенностью все происходящее в стране, выступающего в качестве духовной основы воспроизводства и культа личности, и всей Системы.

Признание этого факта ни в малейшей степени не снимает вины ни со Сталина и его ближайшего окружения, ни с многочисленных служителей Системы, попиравших право и мораль. Напротив, если мы действительно хотим добраться до корневой системы культа, если мы хотим, чтобы сталинщина никогда не вернулась к нам в старом или новом обличье, необходимо исследовать культ именно как *динамическое отношение*, как *взаимодействие* Вождя, Системы и Общественности» [7, с. 16].

Болеющие за судьбу России умы и души сегодня задаются вопросом (а некоторые рискуют задать его вслух), не формируется ли в стране новый культ личности? Думаю, *пока* нет. Но это вовсе не значит, что наше общество – общество с многовековыми авторитарно-патерналистскими традициями – застраховано от рецидивов культа, пусть в более мягкой форме, не сопряженной с потребностью в периодическом массовом насилии. И тут многое будет зависеть от того, в каком направлении пойдет дальнейшее развитие нашего общества и общественного сознания. Одно можно сказать определенно: пока в России не сформируется *массовый тип личности, испытывающей потребность в свободе* (не только политической, но и – а может быть, прежде всего – экономической) и готовый

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

отстаивать ее до конца, до пор не появится и надежных гарантий невозврата к модели общественных отношений, построенных на возвышении и сакрализации властного «авторитета», которому мы с радостью будем готовы пожертвовать свои суверенные права и который в итоге подомнет под себя и общество в целом и каждого человека в отдельности.

А теперь – о статьях, включенных в сборник. Они разбиты на несколько тематических блоков, связанных друг с другом в концептуальном и проблемном планах.

Первый раздел открывает статья «Восхождение к политической науке», напечатанная в 2005 году в журнале «Общественные науки и современность» и входящая в цикл публикаций, посвященных двадцатилетию с момента начала перестройки⁴.

Со времени завершения последней прошло еще слишком мало времени, чтобы можно было корректно оценить ее истинное значение и итоги и сравнивать перестройку с доперестроечным и постперестроечным периодами. Это дело грядущих поколений, которые – можно не сомневаться – будут снова и снова обращать свой взор и к горбачевским, и к брежневским, и к хрущевским, и к ельцинским временам, окутывая их все новыми и новыми мифами.

Впрочем, какое-то сравнение – пусть сугубо предварительное – состояний, в котором пребывали наши знания о политическом в советские годы, в годы перестройки и после ее завершения можно сделать уже сегодня. Однако главную свою задачу автор статьи видел в том, чтобы поделиться своими представлениями о логике и истории развития политической мысли в России за последние два десятка лет, о преподавании политологии в нашей высшей школе и о перспективах отечественной политической науки.

Она уже становится на ноги, но пока еще не в состоянии пробиться на мировой политологический рынок в качестве конкурентоспособного, равноправного партнера. Над решением этой проблемы еще работать и работать. И один из путей к этому решению – *глубинное исследование* (с опорой на солидную эмпирическую базу) *политической жизни современной России*, которое могло бы немало дать *мировой* политической науке для понимания общих принципов и закономерностей политики. Добавлю к сказанному, что автор этой статьи вовсе не ставил своей целью оценить достижения и недостатки в деятельности уже довольно большого и разнородного цеха, к которому он принадлежит, а лишь представил *субъективное видение* процесса эволюции отечественной политологии.

⁴ Говоря строго, это не совсем точно. Первоначально Горбачев призывал к «ускорению», на смену которому и пришла вскоре «перестройка».

Предисловие

Сквозная же и главная тема сборника, как уже говорилось, – *место и роль человека в политике, будь то политика внутренняя или международная*. В наиболее концентрированном виде эта исследовательская линия прослеживается в работах, включенных в первые три блока и прежде всего – в статье «Политическое – “слишком человеческое”», опубликованной тринадцать лет назад в журнале «Полис».

О сущности политики, о политическом измерении человека и человеческом измерении политики задумывались многие умы. Шпенглер даже считал, что люди слишком увлеклись этим занятием. «Мы много, куда больше, чем нужно, размышляли над понятием «политика». Тем меньше мы понимаем, наблюдая действительную политику. Великие государственные деятели имеют обыкновенные действовать непосредственно, причем на основе глубокого чувства фактов. Для них это настолько естественно, что им и в голову не приходит задумываться над общими фундаментальными понятиями этой деятельности – если предположить, что таковые вообще существуют...Профессиональные же мыслители...внутренне пребывали в отдалении от этой деятельности и потому были способны лишь так и этак мудрить со своими абстракциями...» [8, с. 465].

Однако, бросив столь жесткий и во многом справедливый упрек собратьям по цеху (судят о том, чего сами не нюхали), Шпенглер тут же присоединяется к ним, пускаясь в рассуждения о том, что есть политика и тем самым подтверждает притягательность этого феномена для теоретиков. Оно и не удивительно. Во-первых, потому, что в разные эпохи и в контексте разных культур и цивилизаций политика понималась по-разному и в это понятие вкладывались разные смыслы, вследствие чего возникала постоянно воспроизводившаяся потребность в исследовании как самого явления политического, так и обозначавшего его понятия.

Широко известны слова Аристотеля о том, что человек есть существо политическое. Но что имел в виду великий грек? Только то, что человек есть существо общественное, живущее в *полисе* (городе-государстве) и общающееся с другими его членами. «Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство...государство принадлежит к тому, что существует по природе, и...человек по природе своей есть существо политическое, а тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств живет вне государства, – либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек...» [9, 1252b, 1253a]. Словом, политика для Аристотеля – это *общение в рамках полиса*.

А что понимал под политикой великий немец Макс Вебер? «...стремление к участию во власти или к оказанию влияния на

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает» [10, с. 646].

Или вот тот же Шпенглер. «Потоки человеческого существования мы называем историей... Политика есть способ и манера, в которых утверждает себя это текучее существование, в котором оно *растет* и одерживает верх над другими жизненными потоками. *Вся жизнь – это политика* (курсив мой – Э.Б.), в каждой своей импульсивной черточке, до самой глубиннейшей своей сути» [8, с. 466].

Как видим, разные подходы, разные толкования, разные традиции. Можно не сомневаться, что опыт XXI века раскроет перед исследователями новые измерения феномена политики и новые смыслы понятия «политического».

Интерес *современных* российских обществоведов к этому феномену был изначально во многом связан с той новой ситуацией, в которой они оказались с момента начала перестройки и особенно после распада СССР. Вопреки широко распространенному заблуждению советское общество было *не политизированным, а идеологизированным* обществом. «Промывание мозгов» советских граждан преследовало, конечно, политические цели, но вовлечь их в политическую жизнь, сделать их акторами политической сцены власть не стремилась: в стране советов политика была привилегией узкого круга лиц, составлявших часть номенклатуры. Политическая жизнь началась в Советском Союзе во второй половине 80-х годов. Тогда и возникла потребность заново осмыслить феномен политического в разных его измерениях.

Одним из ответов на эту потребность и стали работы автора этих строк, включая те, что вошли в настоящий сборник. Некоторые из них, особенно «Политическое – “слишком человеческое”» вызвали полемику и критику со стороны ряда политологов, в частности, уважаемого мной профессора П.А. Цыганкова, который причислил автора статьи одновременно к лагерю современных макиавеллистов и к числу сторонников школы политического реализма. «Согласно одному из наиболее распространенных мнений, – читаем в книге «Теория международных отношений», – «политика – грязное дело» (Баталов, 1995), *поэтому* требования индивидуальной и так называемой общечеловеческой морали здесь не уместны. Как мы уже видели, именно эта позиция (одним из наиболее четких и последовательных сторонников которой был Н. Макиавелли), нашла свое концептуальное выражение в рамках канонической реалистской парадигмы» [11, с. 390].

Не намереваясь оправдываться или вступать в полемику с коллегой, замечу лишь следующее. Я действительно говорил и говорю

Предисловие

о «грязи политики», но из этого *вовсе не следует* (и внимательный читатель увидит это), что моральные императивы неуместны в сфере политического, тем более что, как подчеркивается в статье, «грязь» – *лишь одна из сторон* политики как явления многомерного и противоречивого. И второе: Макиавелли – сложная фигура⁵ и его идеи не могут быть редуцированы до плоского «макиавеллизма», сводимого к аморализму в политике.

Вопросам *пространственной организации политических отношений* посвящена статья «Топология политических отношений», также вошедшая в первый блок. Эта проблема пока еще не стала предметом углубленных систематических научных исследований – даже со стороны геополитиков, которым сам Бог велел обратить на нее внимание. Между тем, по мнению автора, *структура политического пространства определяет многие параметры структуры и содержания политических отношений* – независимо от типа и характера господствующего политического режима.

Но как бы ни были организованы эти отношения в структурном плане, в условиях господства рынка политика не может не выступать как *разновидность бизнеса*, а сама политическая «площадка» – как *разновидность рынка*, на котором действуют все присущие ему законы (конкуренции, соотношения спроса и предложения и т.п.). Это, например, отчетливо просматривается в американской политике, особенно внутренней.

Но политику, политические отношения можно уподобить еще и *игре*⁶, которая, как показал Йохан Хейзинга, имеет характер культурно-исторической универсалии.

Нам давно уже было сказано – сначала Гаем Петронием, а много веков спустя Шекспиром – что «весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – все актеры», так что прежде других напрашивается сравнение политики с *театром, театральной игрой, как формой ролевой деятельности*. В самом деле, все политики играют определенные роли, выступают в определенных амплуа, разыгрывают определенные «сцены», а то и целые спектакли, лицедействуют. Теперь вот говорят о возросшем влиянии политических технологий. Но кто такие политтехнологи, как не сценаристы и режиссеры, создающие политические «тексты», распределяющие «роли»,

⁵ Это отчетливо видно при сравнении двух его произведений (создававшихся практически одновременно), одно из которых («Государь») поднято на щит, а второе («Рассуждения о первой декаде Тита Ливия») отодвинуто в тень.

⁶ К сожалению, часть текста статьи «Политическое – «слишком человеческое»», посвященная рассмотрению политики как игры, не была напечатана при ее публикации.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

обучающие политиков «мимике и жесту», выстраивающие политические мизансцены и т.п.?

Но политика – это еще и *соревновательная игра*, участники которой, подобно шахматистам, делают свои «ходы», руководствуясь при этом определенными правилами (в качестве каковых выступают правовые и нравственные нормы). Именно под этим углом зрения рассматривает политику Иммануил Кант. В трактате «К вечно-му миру» он, исследуя отношения между «политиком-практиком» и «политиком-теоретиком», утверждает, что «государственный муж, *умудренный опытом*, может не опасаться за исход игры, как бы ни были удачны ходы его партнера» [12, с. 6]⁷.

Проблемы *свободы* и *демократии* и их связи с культурой рассматриваются – прежде всего, применительно к России – в работах, составляющих второй блок, который открывается статьей «Социальное пространство свободной мысли».

Опубликованная пятнадцать лет назад, в первые годы становления новой России, она, увы, не утратила своей злободневности. За эти годы мы так и не сумели толково распорядиться обретенной свободой, которую обратили в «анархию», открывшую путь к хаосу, а от него – к очередным «заморозкам». Не научились мы и свободно мыслить и воспринимать мир. На смену «демократическому новоязу», потеснившему тоталитарный волапюк, пришел «базарный язык», представляющий собой низкопробную мешанину «блатной музыки», торговой рекламы, «сетевого» жаргона и нового «бюрократита».

На этом «языке» мы не только «как бы» говорим, но и «как бы» мыслим. Он программирует наше мировосприятие, наше видение и слышание. С помощью этого языка формируется и новая социально-политическая мифология. В ней произошли, правда, изменения. «Запад», дискредитировавший себя среди наших граждан своей политикой и риторикой в отношении России, снова перестал быть «землей обетованной». Иначе, чем пятнадцать лет назад, воспринимаются «капитализм», «демократы», «демократия», «рынок» и т.п. Их теснят новые герои и образы – тоже мифологизируемые, в том числе с помощью церкви, которую кое-кто

⁷ В том же трактате Кант снова возвращается к вопросу о политической игре, с которой он сравнивает войну. «Помимо своего безупречного происхождения из чистого источника правовых понятий республиканское устройство открывает желанную перспективу вечного мира, основа которого состоит в следующем. Если...для решения вопроса: быть войне или нет? – требуется согласие граждан, то вполне естественно, что они хорошенько подумают, прежде чем начать столь скверную игру» [12, с. 15].

Предисловие

хотел бы превратить в один из отделов нового агитпропа, разрастающегося у нас на глазах. Явление тем более тревожное, что оно сопровождается целенаправленным сужением пространства критической рефлексии.

Разделяя в принципе идею (высказанную С. Хантингтоном и другими исследователями) о волновой природе глобальной демократизации⁸, автор полагает, что ныне *мир в целом* переживает *период демократического «отката»*, и политические процессы, происходящие в последние годы во многих странах мира, органически вписываются в него. Это касается и такой старой демократии, как США, и такой становящейся демократии, как Россия, хотя, процессы, протекающие в этих странах, не лишены специфики, связанной с национальными традициями. Рассмотрению этого феномена как раз и посвящена статья «Глобальный кризис демократии?», включенная в сборник.

Ее дополняет статья о современной российской политической культуре, рассматриваемой сквозь призму civic culture – гражданской культуры, которую много лет назад описали американские исследователи Г.Алмонд и С.Верба, сделав ее при этом (отчасти – оправданно, отчасти – нет) своего рода мерилom политической культуры демократии.

Не вступая в спор с теми, кто судит об этой концепции понаслышке, порой демонстрируя дремучее невежество, замечу лишь одно: Алмонд и Верба правы на все сто процентов, когда утверждают, что пока сознание и поведение людей не будут регулироваться нормами демократической политической культуры, ни о какой демократии (будь она трижды суверенной) не может быть и речи, несмотря на существование демократической институциональной инфраструктуры. А нормы эти усваиваются и закрепляются в процессе социализации граждан, осуществляемой семьей, школой, трудовыми коллективами, церковью, армией, СМИ.

Особое место в сборнике занимает третий блок. В статьях «Предмет философии международных отношений» и «Антропология международных отношений», входящих в него, предпринята попытка обосновать право на жизнь такой научной дисциплины, как *философия международных отношений*, которая смогла бы, явившись на свет, органически дополнить и обогатить такие уже существующие дисциплины, как социология международных от-

⁸ Не имея возможности хотя бы затронуть эту проблему во вступительной статье, замечу лишь, что солидаризируюсь с позицией исследователей, полагающих, что волновая природа присуща и многим другим социально-политическим явлениям, причем в ряде случаев она проявляется в форме циклических процессов.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

ношений, история международных отношений, философия политики. При этом подчеркивается важность подхода к международным отношениям как отношениям, складывающимся не только между государствами, нациями, корпорациями и т.п., но и *между живыми людьми как главными творцами мировой политики*.

Отдавая себе отчет в сложности этой задачи, автор полагает, тем не менее, что общими усилиями ее можно было бы решить⁹, а значит, вооружить специалистов новым аналитическим (теоретико-методологическим) инструментарием, который позволил бы *раздвинуть горизонт нашего видения международных отношений и глубже проникнуть в их суть*. Тем более, что эта идея встречает отклик со стороны общественности. Как писал недавно на страницах «Независимой газеты» член-корреспондент РАН, ректор МГИМО(У) А.В. Торкунов, «*Философские науки* остаются важнейшим средством упорядочения знания о действительности – российской и международной...важно побудить философов обратиться к международным отношениям. Миру нужна новая философия международных отношений» [14].

Положение и роль человека в глобальном мире во многом определяются качеством последнего, а оно, в свою очередь, – характером отношений между ключевыми игроками, задающими правила игры на международной арене. Еще совсем недавно в роли чуть ли не главных «вершителей судеб мира» выступали две сверхдержавы – США и СССР. Сегодня положение изменилось радикальным образом. И дело не только в том, что в мире осталась лишь одна из них – Соединенные Штаты. Изменился сам мир, в том числе его структура.

Ныне все чаще можно услышать и прочитать (в работах М. Кастельса, Э.-М. Слотера, А. Этциони и других), что международные отношения приобретают – по крайней мере, в некоторых секторах – *сетевой характер*. И это действительно так, о чем свидетельствуют, например, структуры, в рамках которых действуют международные наркоторговцы и так называемые международные террористы. Пока, правда, не совсем ясно, как при этом эволюционирует традиционная *система* международных отношений: происходит ли разрушение (деформация) системных связей, или интеграция в них сетевых элементов вследствие чего возникают какие-то ранее не известные *симбиотические системно-сетевые либо иные образования*. Но как бы то ни было, происходят изменения и в глобальном мире, и в России, и в Европе, и в Америке, которой все чаще бросают упреки не просто в росте имперских амбиций, но в попытках по-

⁹ Попытка подхода к решению этой задачи была предпринята автором этих строк в 2005 году [13].

Предисловие

строить империю нового типа. Рассмотрению этих изменений и новых отношений между Россией и Западом посвящены статьи, вошедшие в четвертый блок.

Естественным продолжением и развитием этих сюжетов являются публикации, включенные в последнюю часть сборника («Контурсы «новой эры») и затрагивающие проблемы истории и логики мирового развития и мирового порядка. Он завершается статьей «Единство в многообразии – принцип живого мира», написанной в 1989 году и опубликованной в 1990 году в журнале «Вопросы философии». В момент ее подготовки автор еще не был знаком со статьей Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории?», но получилось так, что основная идея и логика «Единства...» оказались прямо противоположными идее и логике американского аналитика, которые с момента знакомства с ними отвергались автором этих строк¹⁰. И хотя с момента публикации «Единства...» минуло восемнадцать лет, я и сегодня придерживаюсь, в принципе, тех представлений о цивилизации, культуре и ходе исторического развития, которые содержатся в этой статье.

Конечно, отрицание наступления «конца истории» не означает отрицания того, что какие-то процессы и тенденции, характерные для предшествующих этапов исторического развития или только для XX века, не пришли к своему завершению – пусть временному. Ушел век, «который я бы рискнул, принимая во внимание его общий стиль, назвать *левым веком*» [16, с. 30] – век социалистических и национально-освободительных революций, век левых идеологий и движений. Возможно, все это и вернется, но уже в иной форме и после более или менее значительной паузы. Но век глобального торжества либерализма, провозглашенный Фукуямой так и не наступил. И не похоже, что наступит завтра.

В статье «Единство в многообразии – принцип живого мира» мной было высказано мнение, что Россия (как и Китай), хотя и может прибегнуть к использованию рыночных механизмов и ввести институт частной собственности, однако в силу ряда причин не сможет совершить капиталистический «реверс». При этом уточнялось, что «речь идет именно о попытках системного поворота, трансплантации западных формационно-цивилизационных структур на российскую почву»¹¹. Сегодня могут сказать, что «ход событий» опроверг эту точку зрения. Однако я бы не стал торо-

¹⁰ Подробный критический анализ концепции Фукуямы предпринят автором в книге «Мировое развитие и мировой порядок. Анализ современных американских концепций» [15].

¹¹ См. статью «Единство в многообразии – принцип живого мира» в настоящем сборнике.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

питься с окончательными выводами, тем более, что тот же самый «ход» подтверждает, что Россия не хочет и не сможет, даже если бы очень этого возжелала, стать «второй Америкой» или «второй Европой». Да и вопрос о том, строим ли мы сегодня у себя в стране капитализм (как системное целое) и если даже пытаемся это сделать, то построим ли в итоге именно капиталистическое общество, остается, на мой взгляд, открытым – тем более, если принять во внимание, что капитализм сам переживает серьезную трансформацию, а феномен социализма (как отмечено в статье) многомерен и требует дальнейшего анализа.

Две другие статьи блока касаются проблематики исторического времени и мирового порядка. По каким рубежам пролегают границы, отделяющие один век, одно тысячелетие от другого века и другого тысячелетия? Действительно ли «новая эпоха», в которую вступило человечество, началась после трагических событий 11 сентября 2001 года, как утверждали и утверждают многие аналитики, или же за точку отсчета надо брать (как считает автор) события, свершившиеся во второй половине 80-х годов в Советском Союзе и Восточной Европе и закончившиеся обвалом старого миропорядка? Это не праздные, не схоластические вопросы. Ответы на них во многом предопределяют не только наше понимание логики современного исторического развития, но и характер политики, отвечающей императивам новой эпохи, «тайны» которой остаются пока не раскрытыми.

Отсюда и то внимание, которое автор уделяет вопросу о структуре нового мирового порядка. Вот уже на протяжении почти десяти лет он отстаивает тезис, согласно которому эта структура может быть либо двухполюсной, либо бесплюсной, ибо «*полюса*» – *специфические образования, наделенные определенными, во многом противоположными, характеристиками, и с исчезновением одного полюса автоматически исчезает другой*. «...То, что обычно именуют «многополюсным» миром, – говорится в статье «Новая эпоха – новый мир» (2001 год), – оказывается на поверку не чем иным, как миром многоблоковым. Причем ни один из блоков не имеет полярных по отношению к другим характеристик». Впоследствии автор скорректировал предложенное определение, заменив понятие «блок» более точным понятием «центр силы». «*Полюс*» – *это всегда центр силы (военной, экономической и т.д.), но не всякий центр силы – это полюс*. Поэтому надо говорить не о «многополюсном» (и уж тем более не о «многополярном») и «однополюсном» («однополярном») мире, а о мире «*полицентричном*» и «*моноцентричном*». И дело тут совсем не в терминологии, а в способах структурирования мира, которое, в свою очередь, определяет направле-

Предисловие

ние и характер мировой политики, равно как и характер формирующихся на ее основе международных отношений.

И последнее. Перечитывая статьи, подготавливаемые к публикации в этом сборнике, я (как, видимо, любой автор, находящийся в подобном положении) порой ловил себя на мысли, что от одних суждений сегодня лучше было бы воздержаться, другие – иначе сформулировать, третьи – сделать более рельефными. Но исправлены только опечатки – к счастью, немногочисленные, а также изменено техническое оформление статей. Тексты же оставлены в первозданном виде. И это справедливо: если автор считает полезным познакомить современного читателя с теми или иными из высказанных ранее суждений, то пусть они будут даны и в первоначальном контексте. Умный сам сделает поправку на время.

Автор считает приятным долгом выразить благодарность Научно-образовательному форуму по международным отношениям и его директору доктору А.Д. Богатурову за публикацию этого сборника.

1. Баталов Э. Социалистическая перспектива и утопическое сознание // Коммунист. 1988. № 3.
2. Айрапетов А.Г., Юдин А.И. Западно-европейский и русский утопический социализм нового времени. М., 1991.
3. Баталов Э.Я. В мире утопии. Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. М., 1989.
4. Баталов Э.Я. Сила и бессилие ереси // Квинтэссенция: Философский альманах. 1991. М., 1992.
5. Арбатов Г., Баталов Э. Политическая реформа и эволюция советского государства // Коммунист. 1989. № 4.
6. Баталов Э.Я. Перестройка сознания — императив истории // Общественные науки. 1988. № 5.
7. Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989.
8. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 2. М., 1998.
9. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т. 4. М., 1984.
10. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002.
11. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
12. Кант И. К вечному миру // Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 1994.
13. Баталов Э.Я. О философии международных отношений. М., 2005.
14. Торкунов А. Фундаментальность в общественных науках // Независимая газета. 2007. 7 дек.
15. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. Анализ современных американских концепций. М., 2005.
16. Баталов Э. Конец «левого века»? // Пушкин. Тонкий журнал — читающим по-русски. 1998. № 3(9).

ПОЛИТИКА КАК «РЫНОК» И «ТЕАТР»

Восхождение к политической науке*

За много лет до начала горбачевской перестройки в солидном московском издательстве у автора этих строк состоялся любопытный разговор с редактором: «Вот Вы пишете “политология”. Эта штука не пройдет. Надо или добавить “буржуазная”, или выбросить это слово вообще».

С тех пор ситуация в стране и в науке претерпела радикальные изменения. Слова «политология», «политолог», «политологический» прочно вошли в наш лексикон. За последние десять с лишним лет положение в отечественном обществоведении изменилось, и сегодня мы вправе говорить о появлении в России *современной политической науки*, то есть того самого комплекса знаний, который на Западе именуют Political Science, Science Politique и т.п.

Надо сразу сказать, что восхождение к современной политической науке началось в нашей стране не с началом перестройки и тем более не после ее завершения. Существенный шаг в этом направлении был сделан дореволюционной российской политической мыслью, что признают ныне все серьезные исследователи. Тут можно вспомнить многих людей, в том числе и А. Струнина, автора любопытного труда «Политика как наука» (1872), и М. Острогорского, и Н. Бердяева, и И. Ильина. На родине они (в первую очередь те, кто оказался в эмиграции) были преданы забвению на долгие десятилетия. Но пришло время, и «слово» многих из них «отозвалось», как говорил Ф. Тютчев, в умах тех из россиян, кто понял, что продуктивное освоение опыта, накопленного западной политологией, невозможно без освоения национального опыта прошлого.

Советское обществоведение на протяжении своей истории пребывало в состоянии фактической самоизоляции от западного мира и западной («буржуазной») науки, что самым пагубным образом сказалось на его развитии. И тем не менее стремление постичь истинный смысл политического, понять, что представляют собой силы, приводящие в движение реальную политическую машину, и как эта машина устроена, разобраться в тонкостях политического сознания и т.п. всегда присутствовало в советском обществоведе-

* Общественные науки и современность. 2005. № 3. С. 34–47.

Политика как «рынок» и «театр»

нии, пусть оно владело умами немногих и не декларировалось публично, а то и просто скрывалось.

Конечно, это стремление могло быть реализовано лишь частично, ибо идеи, не вписывавшиеся в ортодоксальный советский канон, либо подавлялись властями целенаправленно и жестоко, либо «сублимировались» во внешне безобидные превращенные формы. Но как только давление сверху хотя бы немного ослабевало, свободная мысль вырывалась из политических тисков.

В годы хрущевской «оттепели» был сделан первый шаг к признанию существования научно-политического знания как самостоятельной отрасли обществоведения: создана Советская ассоциация политических (государствоведческих) наук (САПН). Уже само это название говорит за себя. Во-первых, политические науки отождествлялись с науками государствоведческими, что неоправданно сужало их предметную сферу. Во-вторых, речь велась не о «политической науке», а о «политических науках», то есть автономный статус политической науки как таковой по существу отрицался¹². Правда, в конце 1970-х гг. из названия САПН было исключено слово «государствоведческих», но «политические науки» остались. И тем не менее это был шаг на пути признания политической науки самостоятельной отраслью знания со своим предметом, своим кругом проблем, своей методологией и методикой исследования. Новый шаг в этом направлении был сделан только в 1991 г., когда на свет появилась Российская ассоциация политической науки (РАПН), пришедшая на смену САПН.

За время существования последней в рамках Ассоциации и вне ее (прежде всего в институтах АН СССР) были подготовлены и опубликованы десятки работ по вопросам политики, которая нередко рассматривалась в сопряжении с теми или иными аспектами экономики, социологии и права¹³. К середине 1970-х – началу 1980-х гг. относятся и первые серьезные попытки отечественных исследователей познакомить советского читателя с современной западной политической наукой и состоянием политического сознания западных стран [1–5].

¹² Стоит напомнить, что международный аналог САПН, созданный еще в 1949 г. при поддержке ЮНЕСКО, называется International Political Science Association – Международная ассоциация политической науки.

¹³ Не могу не упомянуть хотя бы некоторых авторов, чьи работы пробуждали интерес к политическому знанию, способствовали повышению его авторитета и подготавливали «строительную площадку» под здание современной политической науки. Это Г. Арбатов (международные отношения), Ф. Бурлацкий (государство и право и др.), А. Бутенко (проблемы социализма), А. Галкин (социология политики), Ю. Красин (мировая политика).

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

Надо ли пояснять, что авторы этих работ вынуждены были (как и все их коллеги) утверждать, что опираются на труды «классиков марксизма» и выступают с позиций «научного коммунизма»? Нередко это была только видимость, соблюдение ритуала, «отступное». Не случайно время от времени раздавались партийные окрики по адресу тех или иных обществоведов: партийные бонзы чувствовали, что монолит единомыслия (если он вообще когда-либо существовал) расколот, и скрытый плюрализм мнений стал характерной чертой советского обществоведения.

Думаю, есть все основания говорить о том, что к началу перестройки (потому она, собственно, и стала возможной) и в советском общественном сознании, в том числе сознании политическом, и в советском общественном сознании, включая его политическую составляющую, сформировался ряд позиций. Преобладали центристские, порой с некоторым креном влево или вправо, но были и радикальные – левые и правые. Одни звали назад, к И. Сталину, другие – тоже назад, но уже к В. Ленину, которого пытались представить (ссылаясь на нэп) чуть ли не как «рыночника» и гуманиста. Третьи, опираясь опять-таки на Ленина, на самом деле вдохновлялись идеалами западноевропейской социал-демократии и еврокоммунистов и ставили целью построение «социализма с человеческим лицом». Однако никто из них и представить не мог, что пройдет всего несколько лет – и социализм будет предан анафеме, а советское общество превратится в руины.

Можно отметить и небольшую группу открытых критиков советского режима, среди которых выделялись А. Солженицын, А. Сахаров, А. Амалик и ряд их единомышленников. Не будучи, как правило, профессиональными обществоведами, они тем не менее выступали с работами (публиковавшимися либо в «самиздате», либо за рубежом, или, как тогда говорили, в «тамиздате»), в которых немалое внимание уделялось критическому анализу советской политической системы. Их работы¹⁴, идеи и позиции вызвали заметный интеллектуально-нравственный резонанс в среде интеллигенции и вместе с работами, идеями и позициями «прогрессивно мыслящих» советских обществоведов способствовали эрозии советского политического сознания, советского общественного строя и наступлению перестройки.

С начала перестройки и вплоть до наших дней отечественная политология прошла три этапа, совпадающие с тремя этапами рос-

¹⁴ См., например, сборник статей «Из-под глыб», опубликованный в 1974 г. в Париже издательством YMCA-PRESS. Среди его авторов – М. Агурский, Е. Барабанов, А. Солженицын, И. Шафаревич и др. [29].

Политика как «рынок» и «театр»

сийской истории последних двух десятилетий, какими они видятся автору этих строк. Можно сказать и по-другому: эволюция отечественной политологии в гораздо большей мере, нежели эволюция истории, философии, психологии, других социальных и гуманитарных дисциплин (включая многострадальную социологию) отражала изменение состояния российского общественнознания.

И дело тут не только в том, что по своему объекту и предмету политология ближе всего к политике. К началу перестройки названные дисциплины давно уже обрели научный статус и завоевали определенный авторитет. Им тоже, как показало время, предстояло пройти через очищающий и неизбежно опаляющий огонь критики (не всегда справедливой) и самокритики (не всегда искренней и последовательной), однако эти испытания не сравнить с тем, что выпало на долю формирующейся российской политологии. И хотя в содержательном плане она вела отсчет своей истории, как было отмечено, не с нуля, в ряде других отношений начиналась едва ли не с «чистого листа».

Отечественная история второй половины 1980-х – начала 1990-х гг. была окрашена в романтические тона. Это была уже не просто «оттепель». Впервые за все советские годы в стране повеяло духом *политической свободы*, которая, опьяняя умы интеллектуалов, рождала множество надежд и иллюзий. Казалось, стоит только разделиться с советским прошлым, проявить волю к радикальным преобразованиям, и новая Россия тут же станет вровень – по крайней мере, в политическом отношении – с передовыми державами мира. Ну а заграница и в первую очередь США нам помогут: ведь мы теперь не враги, а партнеры, готовые учиться, учиться и учиться демократии. Слова «демократия» и «демократизация» становятся паролем времени и объектом пристального внимания со стороны политиков и политологов. Именно в эти годы открыто и широко заговорили о новой отрасли общественнознания, хотя никто не мог тогда точно сказать, каков предмет политологии и чем она отличается от политической науки.

Впервые за долгие годы на смену «подковерным схваткам» за власть (каковые, впрочем, не изжиты, да и не могут быть изжиты до конца) стала приходить публичная политика. Впервые появилась возможность открыто говорить, писать и судить о ней на страницах газет, журналов, на митингах и в теледебатах. И впервые открылась перспектива серьезного исследования *политики (политического)* как *относительно автономного феномена* с имманентными ему признаками. Больше того, власть проявила готовность (совершенно не мыслимую до начала перестройки) конституировать политическую науку в качестве самостоятельной отрасли зна-

ния. В ноябре 1988 г. Государственный комитет СССР по науке и технике, руководствуясь решением ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятым в марте 1987 г., утвердил уточненную и дополненную номенклатуру специальностей научных работников, в которой (опять же впервые) предусматривалась специализация по политическим наукам («политические науки», «теория и история политической науки», «политические институты и процессы», «политическая культура и идеология», «политические проблемы международных отношений и глобального развития») [6, с. 18]. Это означало, что открывалась возможность для защиты по этой тематике кандидатских и докторских диссертаций и присвоения их авторам соответствующих степеней, что для становления и дальнейшего развития отечественной политической науки трудно переоценить.

Тогда же был сделан еще один шаг: в вузах страны ввели курс политологии. Вместе с другими новыми курсами («Социально-политическая история XX века» и «Проблемы теории современного социализма») он был призван заменить «Историю КПСС» и «Научный коммунизм». Это был правильный шаг, ибо любая наука имеет перспективы на будущее лишь в том случае, если постоянно воспроизводит себя не только в повседневной практической деятельности общества, но и в теоретическом сознании новых поколений. Именно с помощью политологического образования можно было хотя бы частично решить ряд задач, способствующих становлению и развитию политической науки и утверждению основ либерально-демократической культуры в стране: познакомить молодых россиян с достижениями мировой политической мысли и тем самым в какой-то степени преодолеть политико-культурный провинциализм, неизбежными жертвами которого были их отцы и деды; возвратиться к истинным истокам отечественной культуры, от которых советский человек был искусственно отсечен властями; научиться (скажем осторожнее: попробовать научиться) мыслить политически.

Еще одним шагом на пути к становлению в России политической науки стало распространение дотоле не известных у нас работ современных зарубежных мыслителей. «Не известных» по той простой причине, что их сочинения пылились в так называемых спецхранах. Больше того, даже писать о крупных западных обществоведах, если те не выражали симпатий к социализму и Советскому Союзу (Д. Бэллэ, Г. Маркузе, К. Поппере или Р. Ароне) можно было лишь в критической тональности. Существовало даже целое направление: «критика буржуазной идеологии». Правда, критиковали по-разному. Были люди, рьяно выполнявшие заказ властей и пытавшиеся доказать, что западное обществоведение впало в ма-разм и не в состоянии предложить миру ничего нового и ценного.

Политика как «рынок» и «театр»

Но были и другие «критики». Они видели свою главную задачу в том, чтобы в той или иной форме ввести в научный оборот достижения западных общественных и гуманитарных наук, познакомить советского читателя с новыми идеями и концепциями, рождавшимися «по ту сторону» барьера, разделявшего мир на две части¹⁵. Встречавшиеся в работах этих критиков «разоблачительные» пассажи, которых невозможно было избежать (иначе просто не напечатают), носили ритуальный характер, и умный читатель прекрасно понимал, что на самом деле хочет сказать автор. Но эти публикации, конечно, не могли полностью компенсировать дефицит информации, порожденный запретами властей.

И вот теперь двери «темниц» распахнулись, и сочинения Р. Арона, Д. Бэлла, Р. Дарендорфа, Г. Маркузе, Ф. Хайека, Ю. Хабермаса и других известных представителей политической науки попали в руки тысяч читателей. И хотя некоторые из переводов этих работ были небезупречны, знакомство с современной политологической классикой, без которого ни о какой политической науке не может идти речи, состоялось.

Одним словом, был создан неплохой задел для формирования отечественной политической науки. Но то был не более чем задел, способный, как подтверждала практика стран, на которые мы хотели равняться, принести плоды только при наличии необходимых предпосылок и условий – теоретико-методологических, культурных, экономических, организационных. А между тем в истории современной России наступил новый этап: на смену периоду романтических надежд и ожиданий пришло время политического отрезвления и вынужденной *переоценки ценностей*. К середине 1990-х гг. стало очевидным, что недавние расчеты на быстрое формирование гражданского общества, свободного рынка и построение демократического государства не имеют под собой реальных оснований; что либеральные ценности приживаются в России с трудом; что политические и экономические рекомендации западных советчиков плохо ложатся на российскую почву, а сам Запад не спешит признавать Москву в качестве равноправного партнера.

Это не могло не подталкивать и к пересмотру первоначальных представлений россиян о политической науке. Становилось очевидным, что, как и любая наука, это – достаточно строгая система знаний, серьезное овладение которой требует целенаправленных систематических усилий и времени и невозможно в отрыве от кон-

¹⁵ Не могу не назвать в этой связи имена двух ушедших от нас коллег, немало сделавших на ниве политологического и социологического просвещения – Ю. Замошкина и Э. Араб-оглы.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

кретной политической практики. Обнаружилось и другое: концепции и теории, составлявшие основу «современной политической науки» и являвшие собой, главным образом, кристаллизацию западного (либерально-демократического) опыта, не могут быть автоматически перенесены на российскую почву. Это касалось и политического участия, и партийного строительства, и формирования политической системы общества, и, конечно, его демократизации. Выяснялось, в частности, что созданная усилиями Г. О’Доннелла, Ф. Шмиттера и других западных исследователей теория демократического транзита страдает серьезными изъянами.

Публично это будет признано несколько позднее [7], однако сомнения на сей счет стали высказываться на Западе уже в середине 1990-х гг. А с конца последнего десятилетия минувшего века в истории российского общества начался новый этап, который характеризуется повышением уровня его консолидации, усилением роли государства и едва ли не полным освобождением от иллюзий скорой вестернизации (включая либерализацию) России со всеми вытекающими последствиями.

Как это сказывается на развитии российской политологии и как оценивать состояние, в котором она ныне пребывает? Очевидно, не буду оригинальным, если назову его *двойственным*, и не вступлю в противоречие с самим собой, сказав, что эта двойственность в общем *естественна* для ее незрелого возраста, обстоятельств рождения и условий формирования и эволюции. Говоря образно, современная российская политология напоминает стакан, наполненный наполовину, о котором вполне можно сказать, что он и «полупустой», и «полуполный».

В самом деле, хотя на протяжении последней четверти века идут процессы интернационализации и глобализации политической науки, охватывающие теперь и Россию, наша страна занимает в мировом политологическом квазисообществе даже не периферийное, а *окраинное положение*. Можно сказать еще резче: мы для Запада – провинциалы, бедные родственники, которым при случае можно кое-что и подкинуть «на бедность» [8, с. 9], но спрос с которых невелик. Работы отечественных политологов в Америке и Европе практически не известны: их почти не переводят, на них очень редко ссылаются, их, как правило, не включают в списки литературы по тем сюжетам, которые более или менее активно разрабатываются российскими авторами.

Такое положение отчасти справедливо. У нас нет пока фигур, которых можно было бы – имея в виду их вклад в мировую политическую науку и влияние на ее развитие – поставить в один ряд с Г. Алмондом, Д. Бэллом, Р. Далем, К. Дойчем или Дж. Ролзом и

Ю. Хабермасом. В России не появилось пока ни одного фундаментального исследования, способного конкурировать на равных, скажем, с «Гражданской культурой» Г. Алмонда и С. Вербы или «Теорией справедливости» Дж. Ролза.

Но есть и другая сторона дела. Наряду с работами корифеев на западный политологический рынок, выходящий далеко за пределы национальных границ, поступают сочинения авторов, с которыми наиболее продвинутые российские исследователи вполне смогли бы потягаться, пробейся они на этот рынок. Так ведь не пробиться! И «виноваты» тут не только западные конкуренты. «Виновато» наше безденежье (серьезные исследования, базирующиеся на солидной эмпирической основе, – вещь дорогостоящая). «Виновато» отсутствие грамотного маркетинга, способного создать автору необходимое «паблисити». «Виноват» языковой барьер, ибо на мировом политологическом рынке господствует английский язык, и на смену ему придет – в отдаленной перспективе, – судя по тенденциям мирового развития, отнюдь не язык И. Тургенева и Л. Толстого. «Виновато» наше неумение подавать свои идеи таким образом, чтобы ими могли заинтересоваться не только специалисты. (И поучиться тут можно не только у поп-политологов типа Ф. Фукуямы – типичного американского продукта талантливой «раскрутки», но и у Н. Бердяева или И. Ильина, которые, будучи глубокими мыслителями, умели выражать свои мысли понятным и изящным языком.) Словом, как ни печально, наше неприсутствие на мировом рынке политологической продукции отражает объективное положение вещей. И изменение ситуации будет зависеть не только от конкурентов (а они уж постараются сохранить свои позиции), но и от нас самих.

Конечно, наше отставание от западной политологии связано со многими причинами. Есть среди них и причины культурно-организационные, о чем стоило бы сказать два слова. В России *пока еще не сложились научные школы*, если понимать под таковыми устойчивые направления в науке, характеризующиеся оригинальностью и единством основных взглядов их представителей на предмет исследования, общностью используемых теоретико-методологических принципов и, как правило, формирующиеся вокруг общепризнанного ученого-лидера. Такого рода констелляций не так уж много и в западной политической науке¹⁶. У нас же их нет пока вообще, что не-

¹⁶ Классический пример – всемирно известная Чикагская школа (20–40-е гг. XX в.), обязанная своим появлением Ч. Мерриаму и воспитавшая целую плеяду блестящих исследователей во главе с Г. Лассуэлом. Пару страниц об этой школе читатель найдет в статье Г. Алмонда [9].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

удивительно: научные школы не создаются по заказу, для их становления требуются время и благоприятная среда. К тому же они редко складываются вне консолидированного научного сообщества. В России же консолидации политологического сообщества в национальном (да только ли в национальном?) масштабе пока не произошло. В отличие от зарубежных коллег, как, впрочем, и от отечественных философов, историков или психологов, у наших политологов отсутствует развитое профессиональное самосознание, чему немало «способствует» размытость и многозначность понятия «политология» и производных от него. Но об этом чуть позднее, а пока еще об одной проблеме – состоянии политологии как учебной дисциплины.

Хотя по сравнению с началом 1990-х гг., когда вузовских «политологов» приходилось рекрутировать из бывших преподавателей научного коммунизма, истории КПСС, философии, истории и т.д., положение явно улучшилось, в стране пока не хватает квалифицированных преподавателей политологии. Но еще большая, как мне кажется, проблема – учебники и учебные пособия. Речь идет не о количестве: книг под названием «Политология» издаются десятки, так что студенты порой теряются от такого «изобилия». С качеством дело обстоит значительно хуже. Как справедливо отмечалось, «потребность в новом уровне учебных пособий просто не воспринята в достаточной мере большинством наших авторов и тем более весьма слабо отражена даже в сравнительно новых книгах» [10, с. 170]. С тех пор картина изменилась мало, хотя и появилось несколько книг, которые не стыдно рекомендовать студентам (см., например, [11]).

Справедливости ради надо заметить, что хороших учебников политологии не так много и на Западе. И сказано это не в оправдание нерадивых отечественных сочинителей, а в подтверждение давно известной истины: написать добротный учебник по общественным и гуманитарным наукам труднее, чем серьезную монографию – коллективную, а тем более индивидуальную. Тут требуется сочетание талантов популяризатора, исследователя и гражданина. Слова о гражданине – не оговорка, ибо равнодушный человек с холодным сердцем и безразличным отношением к происходящему вокруг никогда не напишет интересный, глубокий, полезный учебник по политологии.

Однако вернемся к вопросу о размытости понятия «политология» и производных от него. В нашей стране «политологом» могут назвать и человека, профессионально занимающегося политическими исследованиями в академическом институте; и университетского преподавателя, ограничивающегося чтением соответствующих учебных курсов; и эксперта, работающего в частном фонде и специализирующегося, скажем, на избирательных технологиях; и

Политика как «рынок» и «театр»

политического обозревателя газеты или журнала. Столь широкая и, как представляется, неудачная профессиональная идентификация и самоидентификация отражают реально сложившуюся ситуацию как в сфере общественнознания, так и в общественном сознании, когда под «политологией» понимается *обширный комплекс знаний и умений (навыков), включающий политическую экспертизу, политическую аналитику, политическое обучение и политическую науку*. Границы между этими сферами размыты, хотя деятельность в рамках каждой из них характеризуется своей спецификой, требует разной подготовки и преследует разные цели. Да и воспринимаются эти амплуа по-разному. Известны случаи, когда серьезные исследователи из академических институтов просто стесняются называть себя «политологами», опасаясь, что их поставят в один ряд с «грязными пиарщиками».

Декретами такую ненормальную ситуацию не изменить, ибо это во многом болезнь роста. И кого именовать (если именовать вообще) «политологом», кого — «политическим аналитиком», кого — «политическим обозревателем», а кого — «политическим экспертом», может решить само общество¹⁷. Но при этом, как представляется, имело бы смысл уже сегодня договориться: *политическую науку* (включающую эмпирический и теоретический уровни и предполагающую проведение как фундаментальных, так и прикладных исследований) следует трактовать как *разновидность познавательной деятельности, направленную не на интерпретацию и оценку частных, конкретных политических ситуаций, а на постижение и экспликацию объективных, общезначимых, системных связей (закономерностей), характерных для политической сферы и политических аспектов реальности*.

В социальном плане политическая наука не имеет ценностных приоритетов по отношению ни к конкретной политической аналитике, ни к политической журналистике и экспертизе. Это один из функционально равноценных видов познавательной деятельности на nive политики. Однако надо понимать, что без него другие виды политического познания и практики лишаются твердой опоры, повисают в воздухе, превращаются в секуляризованное шаманство или разновидность ремесла.

¹⁷ В большинстве западных стран понятием «политология» не пользуются вообще. В США университетский профессор скажет, что он — political scientist и преподает political science. Сотрудник РЭНД корпорейшн скажет, что он — political analyst. Ну а на знаменитого Б. Вудворда из Washington Post и его собрата из другого аналогичного издания будут ссылаться не иначе, как на political observer или даже political reporter.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

При этом сама политическая наука, как показывает опыт, способна выжить, а тем более развиваться лишь при условии ее одновременной поддержки изнутри, со стороны тех, кто посвятил ей жизнь, и извне – со стороны государства, бизнеса и общественности. Однако поддержка со стороны государства ни в коем случае не должна перерасти в установление государственного контроля над наукой. Это плохо для любой науки, а для науки политической – особенно.

Хотя российская политология продолжает пребывать в состоянии «догоняющего развития», расстояние между «Ахиллесом» и «черепашей» (вспомним знаменитую апорию Зенона) в последние годы сократилось и продолжает уменьшаться. При этом качество политической науки как ядра политологического комплекса в целом, на мой взгляд, повышается, а ее роль в рамках последнего – возрастает.

В подтверждение сказанного можно привести ряд свидетельств. Это в первую очередь формирование современной инфраструктуры политической науки¹⁸, рост численности дипломированных специалистов, в том числе кандидатов и докторов политических наук, расширение сети периодических изданий политологического профиля, постоянный рост выпускаемых книг по данной тематике. Но главный индикатор прогресса в сфере политической науки – осуществляемое ныне на регулярной основе *расширенное воспроизводство научного знания о политике, отвечающего в общем и целом современным критериям и востребованного обществом*. Не менее существенное свидетельство – *устойчивый спрос на квалифицированную политическую и политологическую экспер-*

¹⁸ К настоящему времени в стране сложилась устойчивая сеть учреждений, специализирующихся на исследовании политики, политическом обучении и политической экспертизе. Это специализированные институты РАН (во главе с Институтом сравнительной политологии); специализированные центры в рамках отдельных институтов РАН (например, Центр сравнительных социально-экономических и социально-политических исследований Института мировой экономики и международных отношений или Центр геополитических исследований Института географии); внеакадемические исследовательские центры (Центр исследований постиндустриального общества и т.п.); различного рода Фонды (типа Фонда ИНДЕМ); наконец, это вузовские кафедры политологии, многие из которых, правда, называются по-иному: кафедры «политической теории», «социологии и политологии», «философии и политологии», «сравнительной политологии», «политических наук», «теории и философии политики», «мировых политических процессов» а также «социологии политики», «политической психологии», «социологии международных отношений», «истории социально-политических учений» и т.д. Подобного рода профильная дифференциация воспроизводит во многом структуру учебных центров развитых стран и выглядит весьма перспективной.

Политика как «рынок» и «театр»

тизу со стороны государственных и частных организаций и групп – политических и экономических, гражданских и военных, столичных и провинциальных.

Можно, таким образом, заключить, что к настоящему времени в России сложился устойчивый, хотя пока и невеликий по объему капитала и масштабам, *национальный рынок научной политологической информации*, без которого ни о какой современной политической науке не может быть и речи. Это, повторю, еще сравнительно узкий и в некоторых своих секторах слабо развитый рынок, еще не ставший частью соответствующего мирового рынка. Но он есть, и у него неплохие перспективы.

Но что за «товар» мы можем найти сегодня на российском политологическом рынке? И в какой мере соответствует он «товарной номенклатуре» мирового рынка? Напомню, что более полувека назад на знаменитом Парижском международном коллоквиуме, который «выписал путевку в жизнь» политической науке, было достигнуто принципиальное согласие относительно ее предмета, сферы, общих границ и основных направлений исследований. Предполагалось, что новая наука будет включать такие основные компоненты, как политическая теория (в том числе теория политики и история политических идей); публичные (государственные) институты (представляющие различные ветви и уровни политической власти); формы и методы политического участия граждан (в том числе политических партий, групп интересов, общественного мнения); международные отношения (международные организации и мировая политика) [3, с. 12].

В дальнейшем по мере развития политологического знания (в ответ на вызовы времени) происходило расширение сферы и границ политической науки, изменялись представления о ее объекте и предмете. Как верно отмечает А. Дегтярев, «на сегодняшний день можно смело констатировать, что политическая наука в силу процессов дифференциации и интеграции имеет чрезвычайно гетерогенный, разнородный характер, а в ее структуру входят десятки частных дисциплин, или субдисциплин (по разным оценкам и критериям, от 20 до 40), начиная от относительно традиционных – политической истории и географии и заканчивая такими новейшими областями, как политическая статистика и информатика, политическая экология и биополитика» [12, с. 107].

Сложность структуры и богатство содержания современной политической науки подтверждает и авторитетное издание «Политическая наука: новые направления» [13]. Его составители и авторы выделяют девять основных направлений, в рамках которых ведутся в последние годы политологические исследования. Это «научная

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

дисциплина», «политические институты», «политическое поведение», «сравнительная политология», «международные отношения», «политическая теория», «социальная политика и управление», «политическая экономия», «политическая методология». По сути, здесь представлена конкретизация «парижской схемы», ее адаптация к новым условиям. Она, правда, не учитывает специфику развития политической науки за пределами Северной Америки, Западной Европы и Австралии. Но тем интереснее спроецировать эту «сетку» на Россию. И тут выясняется, что нет ни одного из обозначенных выше направлений, которому бы не было посвящено большее или меньшее число опубликованных в последние годы книг и статей. Другое дело – качество. Есть направления, в силу обстоятельств занимающие в отечественной политической науке периферийное положение, или, напротив, привлекающие особое внимание российских специалистов.

Это относится, в частности, к политической теории, точнее, к общей базовой теории политики, призванной раскрыть как основания последней, так и принципы, связывающие воедино частные политические теории (теории государства, теории демократии и т.д.). Интерес (на первый взгляд) тем более неожиданный, что ситуация, складывавшаяся в России с конца 1980-х гг., не благоприятствовала изысканиям в данной области. Построению качественно новых теоретических конструкций препятствовало и отсутствие адекватной эмпирической базы. А накопление и осмысление нового опыта (как, впрочем, и серьезное переосмысление старого) требуют времени.

Не способствовал развитию теоретических исследований и российский «дикий капитализм». В условиях безудержной коммерциализации общественной жизни политология оказалась востребованной если не исключительно, то главным образом в качестве покорной *служанки политики*, которая призвана удовлетворить сиюминутные эгоистические потребности противоборствующих групп, а именно – предложить *эффективные прикладные политические технологии, открывающие немедленный доступ к власти, капиталу и ресурсам*.

Все это не могло не сказаться на характере работ, посвященных политической теории. Лучшие из них, вне всякого сомнения, сыграли позитивную роль хотя бы в том плане, что позволяли российскому читателю составить определенное представление о сущности, структуре, функциях политической теории [14], о достижениях западных специалистов в этой области [15], о характере политического теоретизирования в современной России [16].

С исследованиями по политической философии – почти та же история. На первый взгляд, сам предмет позволяет авторам испытывать меньшую зависимость от ситуации, «абстрагируясь» от по-

Политика как «рынок» и «театр»

вседневной суеты и свободно погружаясь мыслью в глубины политического бытия. Но это только на первый взгляд. Как показывает пример такого гиганта, как Т. Гоббс, философ, рассуждающий о последних основаниях политики и границах ее познания, зависит от повседневности не меньше тех, кто увяз в политических интригах, и требуются поистине героические усилия, чтобы хоть частично преодолеть «притяжение» конъюнктуры.

Более значимым выглядит продвижение отечественной политической науки на тех направлениях, познавательный интерес к которым подогревался практико-политическими потребностями. Причем продвижение это происходило не только в области прикладных исследований, но и в ряде случаев в плане построения теорий среднего уровня (отличающихся от базовых теорий, или, по Р. Мертону, «основных концептуальных схем», меньшим уровнем абстрагированности от реальности, зафиксированной в частных рабочих гипотезах).

Речь идет об исследовании политического поведения (в первую очередь в электоральном плане); социальной политики и управления (с акцентом на управление политико-системными образованиями разных уровней); политического участия (при особом интересе к строительству и функционированию партий); политического сознания и политической культуры (особенно в региональном масштабе); истории политических идей (русская дореволюционная и современная западная политическая мысль)¹⁹.

Особый интерес отечественная наука проявила к исследованию *публичных политических институтов*. При этом, как и следовало ожидать, первостепенное внимание уделяется *государству*, хотя оно и не всегда выступает в качестве непосредственного объекта исследования. Речь может идти о конституционализме, федерализме, гражданском обществе, демократизации, модернизации, либерализации, других проблемах или блоках проблем. Но так уж при

¹⁹ В подтверждение сказанного приведу только один, но, на мой взгляд, достаточно репрезентативный, пример. Это опубликованная в 2000 г. (под эгидой Московского общественного научного фонда и под ред. А. Воскресенского) Методологическим университетом и Центром конвертируемого образования антология «Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность». Книга, покрывающая предметно-проблемное поле, в пределах которого работали в последние годы и продолжают работать ныне отечественные исследователи. В антологии помещены статьи Т. Алексеевой, В. Амелина, Э. Баталова, Г. Батыгина, А. Богатурова, А. Воскресенского, И. Девятко, М. Ильина, Б. Капустина, А. Кара-Мурзы, Н. Косолапова, В. Ледяева, В. Лекторского, Б. Межуева, А. Мельвиля, М. Новиковой-Грунд, А. Панарина, Н. Покровского, Ю. Сидельникова, В. Хороса, В. Цымбурского, Е. Шестопал, В. Ядова.

этом получается, что очень часто они рассматриваются сквозь призму государства или в тесной увязке с ним. И не потому, что авторы этих исследований – убежденные этатисты. Дело в другом, а именно, в той интеграционной и мобилизационной функциях, которые традиционно принадлежали институту государства в российской цивилизации и которые он сохранял за собой даже тогда, когда утрачивал свою силу²⁰.

Наметилось продвижение вперед и в области исследования *международных отношений и мировой политики*. Некоторые из направлений в этой сфере достались в наследство от прошлого. Это внешняя политика отдельных стран (прежде всего самой России, США, Китая, стран Европы) и региональные отношения; ограничение и сокращение вооружений; нераспространение ядерного оружия; обеспечение международной безопасности; глобальные проблемы современности (не смешивать с проблемой глобализации) и ряд других. Обозначились и новые направления, среди которых выделяются уже упомянутая глобализация и перспектива эволюции наций-государств в интернационализирующемся мире; становление нового мирового порядка и включенная недавно в повестку дня борьба с международным терроризмом²¹.

Обнадеживает тот факт, что в последнее время стали появляться работы, посвященные *теории* международных отношений и мировой политики, в которых изложение и критический анализ сложившихся на Западе (в большинстве своем – в США) теорий и концепций сочетается с попытками самостоятельного осмысления новых международных реалий [17–19].

Никто из отечественных исследователей пока не предложил альтернативных конструкций, способных конкурировать с творениями таких разных по уровню и глубине анализа авторов, как З. Бжезинский, И. Валлерстайн, С. Хантингтон, Г. Моргентау или К. Уолтс. Им пока не хватает, помимо прочего, дерзости, денег и того, что американцы называют «паблисити». Тем не менее отечественная политология в общем и целом развивается по пути укреп-

²⁰ Примечательно, что если бы мы сравнили коэффициенты исследовательского внимания к различным ветвям власти, то на первом месте скорее всего оказалась бы исполнительная власть, а на последнем – судебная.

²¹ На взгляд автора этих строк, «международным терроризмом» за неимением лучшего термина называют принципиально новое явление, которое хотя и включает в себя «измерение», подпадающее под определение «терроризма», однако не сводится к нему. Что это за явление, еще только предстоит выяснить. Но уже сегодня очевидно, что в его появлении повинны не только мусульманский фундаментализм, но и современная западная христианская цивилизация.

Политика как «рынок» и «театр»

ления научно-теоретической базы и *интеграции в мировую политологию*, переживающую процесс дальнейшей эволюции.

Эта эволюция определяется двумя взаимосвязанными и взаимодополняющими процессами. Во-первых, протекающей в русле глобализации общественной жизни *интернационализацией политического знания* посредством его *универсализации* – понятийной, предметной, концептуальной и т.п. Как правило, универсальное знание формируется путем обогащения уникального опыта одних стран за счет столь же уникального опыта других. При этом какая-то страна или группа стран может играть в данном процессе ведущую роль (как это было во второй половине XX в. с США), но со временем неизбежно утрачивает ее, что опять-таки подтверждается опытом Америки²².

Органическим дополнением интернационализации стал процесс *партикуляризации* универсального знания за счет его адаптации к местным условиям и учета национальной (региональной) специфики. Таким образом, тот комплекс знаний, который иногда называют «мировой политической наукой», можно рассматривать в идеале как сложную систему (воплощающую принцип «единство в многообразии» – *unity in diversity*), в которой каждая национальная политическая наука является органической частью целого и одновременно сохраняет свое неповторимое лицо.

Российская политическая наука – еще одно тому подтверждение. Становясь частью мировой системы научного знания, усваивая элементы «общего достояния», она, как и политические науки других стран, например Франции и Германии, сохраняет национальную специфику, которая не может рассматриваться как свидетельство ее отсталости, недоразвитости и т.п. Ибо эта специфика детерминирована особенностями российской цивилизации, культуры, опыта исторического развития, прежде всего ее пространственной протяженностью, уникальным евроазиатским (евроазиатство – не евразийство) географическим положением, климатичес-

²² «...в последние десятилетия идет бурный процесс интернационализации дисциплины (политологии – Э.Б.). Если вплоть до 70-х годов в мировой политологии доминировали американские специалисты, то сейчас ситуация меняется. Очевидно, что американская политическая наука и по числу ученых, работающих в этой сфере, и по положению в международном сообществе сохраняет свое лидерство, но в отличие от реальной политики, в политологии, пожалуй, можно говорить о том, что мы уже живем в многополярном мире. Во всяком случае европейский голос уже звучит в научном многоголосии вполне явственно» [8, с.10]. Можно спорить о том, насколько удачной в терминологическом плане является характеристика мировой политологии как «многополярной», но истинность приведенной оценки не вызывает сомнений.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

кими условиями, полиэтничностью, многоконфессиональностью (при определяющей роли православия) и т.п. Эти черты не надо фетишизировать на манер наших неославянофилов, но не принимать их в расчет при исследовании состояния российской политической науки тоже нельзя.

Одна из специфических черт последней – ее объектная фокусировка. При всем предметном многообразии исследовательского интереса отечественных специалистов в центре их внимания на протяжении 1990-х гг. находился, находится ныне и, думается, будет находиться впредь *один и тот же политический объект – Россия*.

Это вовсе не значит, что российских политологов не интересуют другие политико-географические объекты. Уже то обстоятельство, что в регионально-страноведческих институтах РАН (США и Канады, востоковедения, Дальнего Востока и др.) ведутся исследования в области политологии, подтверждает этот вывод. Но судьба России волнует наших соотечественников куда больше, нежели настоящее и будущее других стран и регионов мира. Поискам ответов на вопросы «Что будет с Россией и с нами?», «Что делать?», «Куда держим путь?» подчинена значительная часть изысканий российских политологов, представляющих разные поколения. Особое внимание уделяется при этом проблемам демократизации, модернизации, федерализма, конституционализма, логики политического развития, структуры, функций и роли политических институтов, формирования элит, внешнеполитических интересов, роли России в мире²³.

Замечу, что исследовательское внимание наших политологов (включая, между прочим, тех, кто эмигрировал в Америку и Европу) к России органически вписывается в отечественную мыслительную традицию – от инока Филофея до Н. Данилевского, В. Соловьева, Н. Бердяева, П. Струве, И. Ильина, Г. Федотова, А. Солженицына. Мотивы были разными: одни тревожились о том, как бы Россия не утратила своей самобытности и не слилась с Европой, став просто ее частью; других беспокоила цивилизационно-культурная и политико-экономическая отделенность и отдаленность России от Европы. Но во всех случаях людьми двигала тревога за судьбу своей страны и своего народа, нередко сочетавшаяся с мессианской самоуверенностью и глубокой убежденностью в том, что

²³ В числе наиболее активных исследователей этой проблематики – людей, выступающих с самых разных, в том числе взаимоисключающих, позиций, – упомянул бы А. Ахизера, А. Гулыгу, А. Кара-Мурзу, И. Клямкина, В. Лапкина, В. Пантина, С. Перегудова, Ю. Пивоварова, И. Чубайса. И это – лишь малая часть тех, кто писал и пишет о России.

Политика как «рынок» и «театр»

России на роду написано пребывать в этом мире не только в качестве великой державы, но и в роли Мессии, коему суждено спасти мир и человечество.

Специфика объектной фокусировки российской политической науки дополняется ее *предметно-проблемной спецификой*. Уже шла речь о том, какое внимание уделяют наши исследователи *проблеме государства*. И это понятно: в российском обществе, где не только реформы и даже революции (о чем писал в свое время Н. Эйдельман), но и вся общественная жизнь направлялись «сверху», государство было чем-то гораздо большим, чем политический институт европейского, а тем более североамериканского типа. Оно, увы, и сегодня остается таковым со всеми вытекающими отсюда последствиями – политическими и политологическими.

Отечественных мыслителей всегда интересовали *проблемы политической историософии и геополитики*, что, впрочем, легко объяснимо: последние имеют прямое отношение к вопросу о судьбах России. В этом русле шли в свое время споры между западниками и славянофилами; высказывали свои идеи П. Чаадаев, Ф. Достоевский, Н. Данилевский и В. Соловьев. В этом же русле развивалась (уже в XX в.) евразийская идеология. Сегодня налицо продолжение традиции [20–22]. Причем надо сразу уточнить, что геополитическая проблематика, разрабатываемая современными российскими политологами, не связана напрямую с геополитическими концепциями, бытующими в России и за рубежом, а тем более – с политическими платформами, хотя в отдельных случаях такая связь налицо.

Современную российскую политологию характеризует также *специфика ее подхода к исследуемым проблемам*. Отечественные ученые, анализирующие «состояние дисциплины», выделяют и, на мой взгляд, вполне обоснованно, *регионализм, компаративизм и междисциплинарность (интердисциплинарность)* [23–25]. В отличие от русоцентризма это – не уникальные черты: некоторые из них мы обнаруживаем в исследованиях политологов, представляющих разные национальные традиции. Однако в современной российской политологии (лишенной, кстати, методологической доминанты²⁴) они присутствуют в комплексе и имеют отчетливо выраженный характер.

²⁴ После того как бихевиорализм (не тождественный бихевиоризму) творчески исчерпал себя, такой доминанты нет ни в США, ни в Европе. Западная политология сегодня – это, как представляется, царство методологического плюрализма и порождаемого им эклектизма – как сознательно продуцируемого, так и стихийного. В отечественном общественном знании стихийный эклектизм царствует уже на протяжении многих десятилетий, ибо даже в советское время лишь очень немногие исследователи твердо следовали принципам методологии марксистского анализа.

В самом деле, многие из рассматриваемых отечественными политологами проблем часто сознательно ограничиваются пределами того или иного региона. Причем такой подход нередко оказывается вынужденным; людям приходится заниматься регионалистикой «из чисто прагматических соображений» [26, с. 141]. Политологическое постижение России как целостной системы может пролегать именно через сравнительное исследование регионов как ее элементов. Возможно, данный путь мог бы стать оптимальным, если бы эти исследования охватили пусть не все, но хотя бы основные регионы страны, опирались на единую теоретико-методологическую базу и осуществлялись на более или менее регулярной основе.

Тут, впрочем, вырисовываются серьезные проблемы – методологические и организационные: ведь если Россия – не сумма, а, как сказано, система регионов, то встают вопросы о способах и методах восхождения от частного к общему, равно как и о сравнении и интеграции полученного знания. Однако это разрешимая проблема, которая не может ни откладываться в долгий ящик, ни форсироваться искусственным образом.

Возвращаясь к высказанному ранее суждению о двойственном состоянии современной отечественной политической науки (и политологии в целом), еще раз отмечу, что ее развитие на протяжении 1990-х – начала 2000-х гг. характеризовалось в целом положительной динамикой: «стакан» постепенно наполнялся. Как пойдет дело дальше, будет зависеть от ряда обстоятельств.

Во-первых, от того, насколько успешно отечественная наука будет освобождаться от присущих ей недостатков и решать стоящие перед ней задачи. Первой из этих задач я бы назвал *выравнивание* (от центра – к периферии) *и общее повышение уровня политологического образования в стране*. Через десятилетие во многом от этого будет зависеть общее состояние и качество российской политологии, включая политическую науку.

В том же ряду стоит и задача *уменьшения разрыва между научно-исследовательскими возможностями* Москвы, Санкт-Петербурга (еще двух-трех городов), с одной стороны, и периферийных политологических центров – с другой. Задача далеко не простая, если принять во внимание, что состояние науки в регионах, как правило, отражает общее их состояние. Но ждать, пока изменится это «общее состояние», полагаясь всецело или главным образом на государство, – значит обрекать наше обществознание, включая политическую науку, на недопустимо медленное развитие.

Многое будет зависеть и от дальнейшего *роста профессионального самосознания* представителей отечественной политичес-

кой науки и консолидации российского политологического сообщества. А это, в свою очередь, потребует более четкого самоопределения политической науки и вычленения ее из политологического конгломерата.

Во-вторых, многое зависит от того, как пойдет дальнейшая интеграция отечественной политической науки в мировую политическую науку. И дело тут не только в необходимости продолжения нашего «самообучения», хотя оно, как представляется, далеко еще не завершено. Было бы желательно наладить на постоянной основе творческую кооперацию с зарубежными исследователями – американскими, европейскими, японскими, индийскими и др. Имеется в виду осуществление крупных интернациональных проектов, в которых могли бы принять участие (на равных) политики разных стран. Конечно, для этого «заграницу» следовало бы чем-то заинтересовать. И, думаю, мы в состоянии это сделать, обратив внимание западных исследователей на объект, который в силу ряда обстоятельств не находился в поле их исследовательского интереса, но изучение которого могло бы стать в перспективе одной из точек роста мировой политической науки. Этот объект – новая Россия и страны СНГ.

Уместно в данной связи напомнить, что в свое время заокеанская политическая наука добилась значительных (а на ряде направлений и выдающихся) успехов, исследуя политическую жизнь американского общества XIX и особенно XX вв. Из анализа и обобщения национального опыта выросли работы А. Бентли, Дж. Дьюи, Ч. Мерриама, С. Липсета, Д. Трумена и множества других исследователей, без которых невозможно представить себе мировую политическую науку.

После Второй мировой войны американцы в кооперации с зарубежными коллегами развернули исследования политических процессов, протекавших за пределами США: в так называемых западных демократиях и в «третьем мире». Итогом этих усилий стал ряд крупных работ, признаваемых ныне классическими или близкими к ним. Достаточно назвать «Гражданскую культуру» Алмонда и Вербы, подзаголовок которой говорит сам за себя: «Политические установки и демократия в пяти странах» [27], или «Демократия в многосоставных обществах» А. Лейпхарта, которую сам автор характеризует в подзаголовке как сравнительное исследование [28].

Дальнейшее развитие нынешней России может пойти в разных направлениях, однако независимо от этого разворачивающиеся в ней и других странах СНГ социополитико-культурные процессы могут иметь огромное значение не только для политических судеб мира. Их исследование способно выявить много нового и обогатить

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

политическую науку такой теоретико-концептуальной информацией, которую невозможно получить, исследуя политическую жизнь исключительно Европы или Америки. Это относится в первую очередь к процессам: *национально-государственной, этнической и культурной интеграции* (затрагивающим отношения христианских и мусульманских общностей); *взаимодействия между Европой и Азией; формирования новой политической культуры; демократического транзита; партийно-государственного строительства; отношений между государством и гражданским обществом* и т.д. Причем исследования на данных направлениях могли бы осуществляться в рамках сравнительного анализа и на основе междисциплинарного подхода, о перспективности которых не раз говорили отечественные обществоведы.

Продолжая восхождение к мировым вершинам, российская политическая наука постепенно изживает такие черты, как непрофессионализм, кустарщина, провинциализм. И хотелось бы надеяться, что движение в этом направлении продолжится. Но перестанет ли она хотя бы в малой части быть *искусством* – *искусством познания*? Вопрос, думается, риторический. Наука о политике – это, в конечном счете, не только наука об обществе, но и наука о человеке.

1. Бурлацкий Ф., Галкин А. Социология. Политика. Международные отношения. М., 1974.
2. Бурлацкий Ф., Галкин А. Современный Левиафан. Очерки политической социологии капитализма. М., 1985.
3. Грацианский П.С. Политическая наука во Франции. Критические очерки. М., 1975.
4. Современное политическое сознание в США. М., 1980.
5. Современная буржуазная политическая наука: проблемы государства и демократии. М., 1982.
6. Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР. 1989. № 2.
7. Carothers T. The End of Transition Paradigm // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13. No. 1.
8. Шестопал Е. Мировая политология в российском контексте // Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. М., 2000.
9. Almond G. Chicago Days // Almond G. Discipline Divided. Schools and Sects in Political Science. L.; New Delhi, 1990.
10. Учебники по политологии: новые времена – старые недуги // Полис. 1999. № 2.
11. Категории политической науки: Учебник. М., 2002.
12. Дегтярев А.А. Предмет и структура политической науки // Политическая наука в России: интеллектуальный поиск и реальность. М., 2000.

Политика как «рынок» и «театр»

13. Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клинге-манна. М., 1999.
14. Дегтярев А.А. Основы политической теории. М., 1998.
15. Алексеева Т.Л. Современные политические теории. М., 2001.
16. Соловьев А.И. Мозаичная парадигматика российской политологии // Полис. 1998. № 4.
17. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002.
18. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталева М.А. Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 2002.
19. Внешняя политика и безопасность современной России: 1991-2002. М., 2002.
20. Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. М., 1995.
21. Панарин А.С. Россия в Евразии: геополитические вызовы и цивилизационные ответы // Вопросы философии. 1994. № 12.
22. Цымбурский В.Л. Россия — Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика. М., 2000.
23. Бляхер Л.Е. Парадоксы региональной политологии // Полис. 2001. № 6.
24. Ильин М.В. Сравнительная политология: научная компаративистика в системе научного знания // Полис. 2001. № 4.
25. Сморгун Л.В. Сравнительная политология: теория и методология измерения демократии. СПб., 1999.
26. Ильин М.В. Десять лет академической политологии — новые масштабы научного знания // Полис. 1999. № 6.
27. Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, 1963.
28. Lijphart A. Democracy in Plural Societies. A Comparative Exploration. New Haven; L., 1997.
29. Из-под глыб: Сб. статей / Агурский М., Барабанов Е., Солженицын А. и др. Париж: YMCA-Press, 1974.

Политическое — «слишком человеческое»*

«Слишком человеческое»... Эти странные слова, как уже догадался проникательный читатель, взяты из Ницше. Они, думается, емко и точно характеризуют природу политики как области деятельности и сферы существования человека. И будь мы в Лаконии, на этом можно было бы поставить точку: политическое — «слишком человеческое».

Но мы не в Лаконии, что, конечно же, меняет дело. Лаконические (т.е., собственно, спартанские) речения — не тем ли обусловлены их лаконизм? — рождались на свет общепонятными и заведомо бесспорными, ибо и к предметам относились заведомо общеизвестным и единообразно трактуемым. Например: «Со щитом или на щите». Кому (в Спарте) тут надо было что-то объяснять? (Ведь это прежде римлян говорили спартанцы. Точнее, спартанки.)

Нам же свой тезис надо еще пояснять, раскрывать, обосновывать. До точки далеко...

Русский писатель Евгений Замятин в своих воспоминаниях о Горьком свидетельствует: «Как-то мне пришлось просить Горького за одного моего знакомого, попавшего в ЧК. По возвращении из Москвы, сердито пыхтя папиросой, Горький рассказал, что за свое вмешательство получил от Ленина реприманд: “Пора бы, говорит, вам знать, что политика — вообще грязное дело, и лучше вам в эти истории не путаться”» [1, с. 92].

Ленин изрек банальность. О том, что политика — «дело грязное», говорили и писали десятки известных людей до и после него. Но банальность, вылетевшая из уст человека, отнюдь не понаслышке знающего предмет, о котором идет речь, замечательна именно тем, что характеризует особенную устойчивость, укорененность общественного мнения о рассматриваемом явлении.

В самом деле: не вполне еще четко представляя себе, что есть политика, люди уже не просто наслышаны, но сплошь и рядом несколько и не сомневаются, что это «дело грязное», что «власть развращает», а «абсолютная власть развращает абсолютно», что порядочному человеку лучше держаться от политики подальше, дабы не брать грех на душу, и т.д. и т.п.

Политика предстает, таким образом, как безусловное зло, как дьявольская «зона», попадая в которую, человек — творение Божие — как бы утрачивает свои лучшие качества, проявляет себя с худшей стороны, деградирует, разрушается сам и разру-

* Полис. 1995. № 5. С. 5–14.

Политика как «рынок» и «театр»

шает других. Это словно бы сфера расчеловечивания, демонизации человека²⁵.

Подобного рода представления, очевидно, никогда бы не явились на свет – а явившись, никогда бы не получили массового распространения (но и став все-таки элементом массового сознания, никогда бы не обрели удивительной, от века к веку, устойчивости), – если бы в самом их содержании не было стойкой правды. В содержании всякого стереотипизированного банального (и, следовательно, по большому счету, неистинного) представления всегда отражена некоторая реальность, отрицание которой, неизбежно предполагаемое простым отрицанием стереотипа, разумеется, не ведет к преодолению банальности как таковой, т.е. к обнаружению неистинности представления, ибо источник ее надо еще искать. А посему мы, в надежде найти его, пока что просто-напросто не станем отрицать реальность и признаем (однако, в отличие от склонных к лаконизму носителей стереотипа, не будем ставить сразу после этого точку): политика – дело *действительно грязное*; или, лучше, так: дело, в котором *много грязи*; вернее, так: *одно из дел*, в которых много грязного...

Ну, а в чем же «грязь» политики?

«Грязь» политики – это, например, человеческая кровь. Хотя времена, когда государственные мужи собственноручно рубили головы своим врагам (а значит, и врагам государства), давно миновали, в функционировании политических деятелей по-прежнему не обходится без того, чтобы *по долгу службы* «резать по живому». Они посылают на войну солдат, отдавая себе отчет в том, что многие никогда уже не вернутся домой²⁶. Они скрепляют своими подписями решения о проведении внутри страны и за рубежом операций, которые стоят жизни немалому числу людей. (Вспомним, что-

²⁵ Косвенное подтверждение распространенности и устойчивости представления об аморализме политики – непрерывающийся поток сочинений на тему «Политика и мораль». Уже сама постановка вопроса, нередко диктуемая стремлением обелить политику и политика, доказать, что и там *случаются* люди с чистыми руками и помыслами, – уже сама эта постановка вопроса фиксирует – через союз «и», играющий ключевую роль в этой фразе, – отделенность, разнородность («мужчина и женщина», «небо и земля») политического и нравственного.

²⁶ «...Что никто не придет назад». Уместно вспомнить эту строчку А. Блока, хотя речь тут у него и не идет конкретно о войне и солдатах. Вообще же всякий раз с особой остротой переживать и выражать трагизм этих устойчиво повторяющихся «положений» – такая «функция» недаром выпадает на долю искусства и литературы, включая и лирическую поэзию. Упомянем здесь еще хотя бы полную горечи и гневной скорби известную песню А. Вертинского, где он в первой же строчке лишает нас покоя леденящим душу вопросом: «Я не знаю, зачем и кому это нужно...».

бы не удаляться слишком далеко во времени, Вильнюс, а до этого Баку, а еще раньше – Новочеркасск.) Они инициируют революции и контрреволюции, неизменно чреватые кровопролитием. Они санкционируют террористические акты, оборачивающиеся порой многотысячными жертвами (вспомним белый и красный террор в России), и массовые репрессии, выкашивающие миллионы.

«Грязь» политики – это, далее, перманентное насилие над людьми: прямое и косвенное, легитимное и иллегитимное, тайное и явное. Когда Ленин утверждал, что государство (а управляющие им – это политики) есть «особый аппарат принуждения людей», он констатировал факт. Ведь даже самое демократическое государство – это не только сложная система управления, но также – а иногда и прежде всего – механизм принуждения, насилия над человеком: через закон, через подзаконный акт, через волю властителя, нередко дурную, через непреклонность чиновника, легко переходящую в издевательское крючкотворство или произвол. Таким механизмом государство всегда было, есть и будет оставаться до тех пор, пока оно существует как всеобщий институт цивилизации.

Ныне мы дружно ругаем российских политиков, возмущаясь тем, что они довели государство до крайней слабости. Вдумаемся: за что, в сущности, ругаем? За то, что федеральные органы не в силах *заставить* местные власти действовать в соответствии с нормативными актами, «спускаемыми» из центра в регионы. За то, что властные органы не способны *обуздать* воров, убийц, взяточников, рэкетиров, террористов, не могут *принудить граждан* уважать закон. За то, что Москва лишена возможности *заставить* за границу уважать интересы России. От государства требуют применить силу, ибо сами обыватели сделать это не в состоянии – по крайней мере, в объеме, который позволил бы обеспечить общественную безопасность.

«Грязь» политики – это неизбежная для вовлеченных в нее деятелей необходимость подвизаться на «кухне» власти, где изо дня в день приходится сталкиваться с разнообразными проявлениями человеческой натуры, включая и самые низменные: презрение к нижестоящим и раболепие перед теми, кто поставлен выше, зависть, жадность, корыстолюбие, ненависть, подлость, ревность и т.д. и т.п.

Никколо Макиавелли и других писателей, выставляющих эту «кухню» напоказ, нередко обвиняют в аморализме. С равным успехом можно обвинить в садизме авторов учебников по хирургии, описывающих, как обычно производится трепанация черепа или удаление конечностей, или иные операции, при одном виде которых люди непривычные лишаются чувств.

Автор «Государя» ничего не выдумывал и ни на чем не настаивал. Будучи хорошо осведомлен о политическом ремесле (доводимом наиболее талантливыми

Политика как «рынок» и «театр»

профессионалами до степени высокого искусства), он просто информировал современных ему властителей: в таких-то случаях *принято* убивать, в таких-то – истреблять род до седьмого колена, в таких-то – сравнивать неприятельский город с землей... Иначе говоря, он описывал технологию властвования, *какой она была на самом деле*.

«Грязь» политики – это и неустранимая отчужденность политического деятеля (особенно деятеля высокого ранга) от тех, кем он управляет, жесткость и жестокость в отношениях с подвластными, невозможность увидеть отдельного, конкретного человека в лицо. Автору этих строк уже доводилось писать о специфике позиции, занимаемой в политоиде властвующим субъектом, об особенностях его политической оптики²⁷. Чтобы постоянно держать в поле зрения «лес», т.е. курируемое им целое, он просто обязан обозревать это целое, не останавливая взгляда на отдельных «деревьях»²⁸. Правителя можно также сравнить (вслед за Платоном и другими античными авторами) с пастухом. Забота овцепаса – отара в целом. Он не в состоянии уследить за каждым отдельным бараном или овцой и должен отказаться от такой задачи, дабы не упустить из вида всю отару и не потерять над ней контроль. А иной раз во имя спасения поголовья в целом ему приходится – с сожалением или без – жертвовать отдельными особями.

«Грязь» политики, наконец, и в том (пусть не все считают это «грязью»), что занятый в этой сфере индивид постоянно вынужден «наступать на горло собственной песне»²⁹, заставлять себя делать то, чего делать не хочется, и не делать того, к чему рвется душа, т.е. находиться в раздоре с собственными взглядами, вкусами, стремлениями, влечениями – пока не огрубеет его сердце.

Политик крупного масштаба – «одинокий волк». У него нет друзей. Об этом, по сути, говорил в одном из телеинтервью Гейдар Алиев – политик, несомненно, состоявшийся и талантливый: «У меня, – признался он, – личной дружбы не было. Я – человек, который все подчинил политической деятельности» [3].

Политик может, конечно, быть субъективно честным, порядочным человеком и стремиться никому не причинять зла. (Этим, в част-

²⁷ См. статью «Топология политических отношений» в настоящем сборнике.

²⁸ Как признает в своей книге политик-восьмидесятник А. Собчак, «соображения высшего порядка, а значит, в конечном счете надчеловеческие соображения руководят любым, самым прогрессивным политиком» [2, с. 252].

²⁹ «...В политической жизни, – читаем в упомянутой книге А. Собчака, – происходит стирание индивидуальности, превращение живого человека в некую государственную функцию, в придаток к государственной машине, пусть самой современной и демократической» [2, с. 252].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

ности, объясняются и отрицание некоторыми акторами тезиса о политике как «деле грязном», и уверения, что сами они «никогда не замарают рук».) Обладая при этом еще и твердым характером, такой политик и впрямь может действовать несколько иначе, нежели герои макиавеллиевского «Государя», и не подсыпать яда в кубок соперника, не заманивать его в ловушку, чтобы потом уничтожить, и т.п.

Но, как бы то ни было, никому из тех, кто рискнул встать на тропу большой политики, будь он самым что ни есть нравственно ориентированным деятелем, движимым только благими побуждениями, не удавалось еще пройти свой путь, не «сдавая» по велению обстоятельств бывших соратников, не нарушая обещаний³⁰, не греша ложью («во спасение, во спасение!»), не подписывая бумаг, приводящих в действие машину насилия, не хитря, не вступая в направленные против других политиков коалиции, порою трудно отличимые от сговоров, а то и заговоров, не посылая, наконец, людей на смерть – будь то большая или малая война, или хотя бы такое сугубо «мирное» дело, как, скажем, ликвидация крупномасштабной аварии на атомной электростанции...

И вся эта «грязь»: кровь, насилие, жесткость и жестокость – естественное, хотя и далеко не всегда объективно неизбежное, *следствие функциональных взаимоувязок интересов и потребностей индивидов и групп, образующих социальное целое («полис»)*, поддержание жизнеспособности которого объективно задано политике как его главная цель.

Но эта же цель побуждает его творить и добрые дела. Политика не может быть сведена к одной только «грязи». В ней есть светлые стороны, есть своя «чистота». И политик – не только «злодей», но и «добродей», добротворец³¹. «...Всякая политика сводится к тому, чтобы сделать сносной жизнь возможно большему числу людей» [5, с. 430]. Эти слова, как ни покажется странным, тоже принадлежат Ницше³² – человеку, которого

³⁰ «Излишне говорить, — замечает Макиавелли, — сколь похвальна в государе верность данному слову, прямота и неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдерживать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность» [4, с. 351].

³¹ Подчеркнем, что это относится не только к политике в собирательном значении, т.е. не только к разным, но и, в принципе, к одному и тому же политику, и более того: не только к разным, но и, в принципе, к одним и те же делам, увиденным, однако, в разных аспектах либо даже просто из разных точек политоида. Об этом, впрочем, еще пойдет речь ниже.

³² Ницше, разумеется, отдавал себе отчет и в теневой стороне политики. Он, в частности, писал о «кознях и жестокостях, которые несет с собой дело политика» [5, с. 433].

Политика как «рынок» и «театр»

трудно заподозрить в слащавом идеализме или тяготении к возвеличению реального человека, в каком бы профессиональном облике тот ни представлялся.

Добродетель политика можно уподобить чистому воздуху: мы не замечаем его, когда он присутствует в достаточном количестве, но сразу же фиксируем его дефицит. Все, что есть хорошего в человеке: любовь, доброта, альтруизм, готовность к самопожертвованию, работоспособность, бескорыстие и т.п., – проявляется и в политике, но только в специфической, а именно обезличенной (на стороне объекта) форме, т.е. не по отношению к отдельным индивидам³³, а по отношению к «полису», к народу, нации, классу, клану и т.п.

Добродетель политика – в благих (если только они искренни, что и бывает нередко) намерениях осуществить революцию и «освободить угнетенных», построить «город солнца», установить всеобщее равенство и т.п. Вряд ли Хрущев, обещавший «через двадцать лет» построить в СССР коммунизм, не верил в собственные обещания – тут он был, по-видимому, искренен. Другое дело, что благие намерения политика сплошь и рядом устилают дорогу в ад, оборачиваясь в ходе практического осуществления «кровавой грязью в колесе» (О. Мандельштам). Это вновь и вновь мстит за неуважение к себе все та же (если воспользоваться презрительным определением, вложенным Маяковским в уста участников «левого марша») «кляча истории»: «загнать» ее не дано никому.

И конечно, с не меньшей непреложностью добродетель политика утверждает себя, проявляясь в таких, казалось бы, «обыденных» деяниях, как разработка и реализация нормативных актов, обеспечивающих людям – тысячам, миллионам людей – хлеб, кров, работу, безопасность. Иной раз один хороший закон, принятый парламентом, способен перевесить все ошибки и пороки заседающих в нем депутатов.

Политик, далее, не только развязывает и ведет войны – он прекращает или даже предотвращает их. Порой он их выигрывает, создавая, таким образом, для руководимой им общности более благоприятный жизненный режим по сравнению с тем, в котором оказывается побежденная нация. Как заметил однажды Виктор Гюго, «отличительная черта подлинных государственных деятелей в том именно и состоит, чтобы уметь извлечь пользу из каждой не-

³³ Столь любимое вождями всех времен и народов демонстративное общение с отдельными гражданами, особенно с детьми, – это, как правило, не более, чем популистский трюк, призванный продемонстрировать заботу лидера о простом человеке и ровным счетом ничего не меняющий в политике по существу.

обходимости, а иногда даже роковое стечение обстоятельств повернуть на благо государству» [6, с. 44–45].

С появлением («спасибо» ученым) ядерного, химического, бактериологического и иного оружия массового поражения человечество вступило в эпоху перманентного «рокового стечения обстоятельств». И если политики несут прямую ответственность за локальные кровопролития и военные пожары, вспыхивающие время от времени в разных концах мира, то разве не они же «в ответе» и за то, что вот уже на протяжении полувека человечеству удается избежать применения в массовых масштабах современного всеистребляющего оружия? Во всяком случае, в том, что державы не схватились друг с другом в смертоносной борьбе, заслуга политиков чрезвычайно велика.

Главная же, можно сказать, интегральная добродетель политика проявляется в том, что он в меру своих возможностей *предохраняет род людской – и по частям, и в целом, от уничтожения* – в том числе и самоуничтожения в результате «войны всех против всех»³⁴.

Политик может быть умнее или глупее, добрее или злее, он может лучше или хуже справляться со своими обязанностями. Но это – индивидуальные особенности, не меняющие общей специфики политического. Специфика же эта такова, что какую бы историческую эпоху мы ни взяли, к какой бы стране или цивилизации ни обратились, всегда и везде – сегодня и две тысячи лет назад, на Западе и Востоке, Севере и Юге – политика предстает как явление *амбивалентное*, сплетающее в себе «свет» и «тьму», «добро» и «зло», «грязь» и «чистоту», т.е. созидание и разрушение, гуманизм и антигуманизм.

Грани между этими оппозициями зыбки и относительно (добро для одного – часто зло для другого), а мера их соотношения хронологически вариантна, ибо все-таки бывают времена и пространства более мрачные и кровавые по сравнению с остальными. И все же, если судить по фактам истории, мера эта не находится в жесткой корреляции – прямой или обратной – с историческим процессом. Во всяком случае, никто еще не выявил устойчивых

³⁴ Джон Локк полагал, что именно необходимость предотвращения такой войны побудила людей вступить друг с другом в политические связи. «Избежать этого состояния войны... – вот главная причина того, что люди образуют общество (курсив мой – Э.Б.) и отказываются от естественного состояния. Ведь когда имеется какая-либо власть, какая-либо сила на земле, от которой можно получить помощь, если к ней обратиться, то продолжение состояния войны исключается и спор решается этой властью» [7, с. 273–274].

Политика как «рынок» и «театр»

долговременных тенденций ни в сторону гуманизации, ни в сторону дегуманизации политической жизни. Последнее по времени подтверждение отсутствия такого рода трендов – крах попыток российских коммунистов утвердить принципиально новую, «гуманистическую» политику.

Неизбывная амбивалентность и устойчивость – характерная черта типологических моделей политического сознания. Сменяют одна другую исторические эпохи («общественно-экономические формации») и «базисы», концентрированным выражением которых, согласно Марксу и Ленину, является политика, а типические фигуры политического сознания остаются в принципе теми же, что и сто, пятьсот, тысячу лет назад.

Сравним «Беседы и суждения» Конфуция, «Артхашастру», «Переписку Грозного с Курбским», «Федералист», «18 брюмера Луи Бонапарта» Маркса, «Государство и революцию» Ленина, «Тюремные тетради» Грамши, сочинения Мао Цзэдуна, тексты современных авторов... Сделав поправку на специфику контекста, язык и цивилизационную «экзотику», обнаружим, что в глубинном понимании политического, в принципиальных представлениях о том, что и как должен делать политик, люди стоят ныне на тех же позициях, что и в Новое время, и в средние века, и в античную эпоху. А многие аргументы и рекомендации Конфуция, Макиавелли или Джона Адамса звучат ныне не менее весомо и современно, чем в те времена, когда выходили из-под пера их авторов.

Не меняются принципиально и типические модели поведения политических акторов. Борьба за власть (с использованием однотипного набора средств), реформаторская и революционная деятельность, выборы (при неизменных попытках манипулирования электоратом), ведение войн... – что тут изменилось по существу за долгие века политической истории?

Или взять ролевые отношения в политике. Властители и подданные (подвластные), левые и правые, лидеры и ведомые, активисты и эскаписты... – они существовали в той или иной форме во все эпохи и во всех странах. А разве не проявлялись в былые времена стили лидерства, описываемые сегодня М. Херманн [8], или типы авторитета, выявленные Максом Вебером?

Чем же объяснить все эти качества политики – ее неизбывную амбивалентность, устойчивость типологических проявлений сознания и поведения, их сравнительную хронотопическую всеобщность? По-видимому, тем, что политика являет собой сферу, где имманентные человеку черты высвечиваются и воплощаются с наибольшей полнотой и отчетливостью. Сами же эти черты характеризуются и амбивалентностью, и устойчивостью, и всеобщностью.

Споры относительно сущности *Homo Sapiens* ведутся на протяжении тысячелетий, и ничто не говорит о том, что они окончат-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

ся до того, как сам род людской отойдет в небытие. Но за минувшие столетия в них все-таки выявились какие-то зоны хотя бы относительного консенсуса, которые позволяют говорить о константах человеческой сущности. Это касается, в частности, представлений (разделяемых и автором этих строк) о том, что если природа человека и претерпевает изменения, то столь медленно, что ее можно принять за практически постоянную величину³⁵. Существует консенсус и относительно амбивалентности этой сущности: человек одновременно и возвышен, и низок, и добр, и зол, и велик, и ничтожен. И именно это единство качеств позволяет ему оставаться человеком. Как писал Николай Кузанский, «...человек есть Бог, только не абсолютно, раз он человек; он – человеческий Бог... Человек есть также мир, но не конкретно все вещи, раз он человек; он – микрокосм, или человеческий мир. Область человечности охватывает, таким образом, своей человеческой потенцией Бога и весь мир. Человек может быть человеческим Богом; а в качестве Бога он по-человечески может быть человеческим ангелом, человеческим зверем, человеческим львом, или медведем, или чем угодно другим: внутри человеческой потенции есть по-своему все» [9, с. 259–260]³⁶.

В этом же духе высказывались многие мыслители, в частности Николай Бердяев, утверждавший в «Экзистенциальной диалектике божественного и человеческого», что человек есть живое противоречие, совмещение конечного и бесконечного, высокого и низкого и т.п.

И вот всю эту палитру черт, всю эту ограниченность и необъятность, все заложенные в человеке потенции и противоречия мы обнаруживаем в политике. Не только в политике, конечно, – во всех проявлениях человеческого. Но в политике – как нигде, за исключением, может быть, литературы и искусства. Так что если перефразировать известную формулу Ленина «...политика есть самое концентрированное выражение экономики» [11, т. 42, с. 216], то можно сказать так: *политика есть самое*

³⁵ И этой непростой, сугубо научной темы не чужается лирическая поэзия: «Я грежу древними преданьями, // Как будто девыми рыданьями, // А не старушечьими вздохами. // Идут эпохи за эпохами... // И в бесконечность не уляжется // История разумно мыслящих // Людей, отнюдь себя не числящих // Праправнуками обезьяньими...» (Л. Мартынов).

³⁶ Много лет спустя Эрих Фромм, рассуждая о человеческой сущности и оперируя той же «анималистской» терминологией, что и Николай Кузанский, вопрошал: что есть человек – волк или овца? Или то и другое одновременно? Или же не то и не другое? [10]. Получается так, что человек есть и волк, и овца, и многое другое, хотя он не волк и не овца, а человек.

Политика как «рынок» и «театр»

концентрированное выражение человека в единстве его сущности и существования.

Другими словами, политика – не слепок с экономики (берем ли мы ее на макро- или микроуровне), или с социальной структуры общества, или с его религии, или с совокупности этих и других «факторов» в той или иной их комбинации. *Политика – слепок с человека.* Человека живого – взятого в единстве его родовых и индивидуальных черт – и человека, материализовавшегося (опредмеченного) в цивилизации и культуре.

Общие, универсальные принципы политической жизни – это не что иное, как воплощение сущностных черт человека³⁷, его родовых констант, включая фундаментальные признаки его биологического строения (оно есть материальный субстрат политической оптики и акустики) и социальной природы, проявляющейся, в частности, в сложной системе потребностей, включая потребности в общении, самореализации и самосохранении.

При любом строе, при любом уровне развития экономических отношений общество распадается на группы, занимающие неодинаковое положение в социуме, придерживающиеся разных ценностных ориентаций и вместе с тем вынужденные искать взаимопонимания и взаимодействия друг с другом. При любом строе люди ведут борьбу за власть и разделяются на лидеров и ведомых, на элиты, принимающие решения, и остальную часть общества, манипулируемую элитой. Они занимают неодинаковое положение в политоиде, по-разному воспринимая окружающий политический мир и по-разному реагируя на него. А политическая деятельность граждан при любом режиме носит внутренне противоречивый, амбивалентный характер.

А в общем, *каков человек – такова и политика*³⁸. Это особенно отчетливо видно на уровне конкретных политических акторов. Тут налицо не только опосредованное выражение типических общеродовых черт, но и непосредственное проявление специфических черт политических акторов – индивидов, групп, наций (народов). На этом уровне сформулированный выше тезис приобретает уже

³⁷ Ряд мыслителей, например, Томас Гоббс, увязывал постижение политики с постижением человеческой природы. «Для правильного и вразумительного объяснения элементов естественного права и политики необходимо знать, какова человеческая природа, что представляет собой политический организм и что мы понимаем под законом» [12, с. 441].

³⁸ Эта идея прослеживается в высказываниях многих философов и политических деятелей, начиная с протагоровского «Человек есть мера всех вещей» и кончая сталинским «Кадры решают всё».

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

несколько иное звучание: *каковы конкретные люди, делающие политику, – такова и политика, проводимая ими.*

Это справедливо не только по отношению к выдающимся деятелям вроде Юлия Цезаря, Петра Великого, Бисмарка, Черчилля, Ленина, Сталина, Рузвельта, Неру и других персонажей их калибра, личностные особенности которых окрашивают их деяния. Это верно и по отношению к политикам мало кому или даже вовсе никому не известным. Так что если в какой-то период истории в какой-то стране политика слишком уж кровава, беспросветна и злодеяния перевешивают добродетели, то происходит это не в результате появления «антигуманного» экономического базиса, а по той причине, что среди акторов, творящих такую политику, злодеи преобладают над добротворцами или что «темное» начало в характере этих акторов преобладает над началом «светлым». Впрочем, дело не только в характере лидеров и элиты, но и в массовом «социальном характере»³⁹, выкристаллизовывающемся на базе наличного «человеческого материала». Ну а почему злодейство выходит на первый план и почему складывается именно этот, а не другой «социальный характер» – вопрос, требующий отдельного разговора.

Политические события всегда окрашены в тона той цивилизации, в контексте которой социализируется и действует актор⁴⁰. Как утверждают опытные дипломаты, представители разных цивилизаций ведут межгосударственные переговоры по-разному (в плане тактики, стилистики, этики и пр.). Особенно это чувствуется, когда сходятся лицом к лицу Восток и Запад. Они и в выборе политических режимов отличаются друг от друга. И к разрешению конфликтов идут разными путями. И революции по-разному совершают. И на применение силы реагируют неодинаково⁴¹. Подобные различия связаны во многом с хронотопическими особенностями этноса, создавшего данную цивилизацию, – в частности с его локализацией в рамках сферы, которую можно было бы называть *глобальным политотидом*.

Если под политотидом понимается политическое пространство, образуемое сложной системой связей, складывающихся между участвующими в политической жизни субъектами и объединяю-

³⁹ Согласно Э. Фромму, социальный характер – это «та совокупность черт характера, которая присутствует у большинства членов данной социальной группы и возникла в результате общих для них переживаний и общего образа жизни» [13, с. 230].

⁴⁰ О понимании автором цивилизации и ее соотношения с культурой см. раздел «Контурь новой эры» настоящего сборника.

⁴¹ Очень интересно сравнить конкретные исторические модели национальной реакции на воздействие внешней военной силы: сопротивление венгров советским войскам в период восстания 1956 г.; реакцию чехословаков на введение войск Варшавского договора в 1968 г.; и сопротивление чеченцев федеральным войскам, участвующим в «восстановлении конституционного порядка в республике». Три цивилизации, три национальных характера, три модели сопротивления.

Политика как «рынок» и «театр»

щих их в многомерное объемное целое, то глобальный, или планетарный, политоид – это аналогичная система связей, складывающихся между населяющими мир народами (государствами), действующими в контексте соответствующих цивилизаций и выступающими в качестве международных политических акторов.

Если, как показал в своих работах Г. Гачев, у каждой нации имеется свой, уникальный образ мира, то, как частное проявление этого образа, у нее должен быть и *свой образ политического мира*, свое видение других международных акторов, занимаемого ими места в мире, равно как и самих себя. Это – результат уникального хронотопа, т.е. пребывания данного актора в определенной глобальной точке, из которой мир видится во многом или даже совершенно иначе, чем из других точек политоида и которая не может быть произвольно изменена. Данная проблема, впрочем, заслуживает отдельного исследования, и автор рассчитывает рассмотреть ее в специальной публикации.

Добавим к сказанному, что любая национальная (американская, китайская, французская) или региональная (дальневосточная, европейская, арабская) цивилизация выступает в функциональном плане как механизм привязки (адаптации) человека к окружающей среде, позволяющий ему успешно функционировать в рамках данного хронотопа⁴². В механизме же этом опредмечены деятельность и характерные черты – родовые, групповые, индивидуальные – многих поколений того этноса, который сотворил данную цивилизацию. Так что последняя независимо от своего конкретного содержания выступает как форма инобытия человека, его опредмеченного существования.

Но почему именно в политической сфере человек раскрывает себя с наибольшей, подчас устрашающей его самого и окружающей полнотой? Почему именно в политике он полнее всего воплощает свои «положительные» и «отрицательные» качества?

Причина, на взгляд автора этих строк, в том, что в политике в силу выполняемых ею функций острее и напряженнее, чем в других сферах, встает и решается проблема *жизни и смерти* (существования) человека и «полиса» – начиная от небольших общностей и кончая человечеством в целом.

⁴² Г. Гачев отводит эту роль не цивилизации, а культуре. «Культура есть прилаженность – человека, народа, всего натворенного ими, выплетенного за срок жизни и историю, – к тому варианту Природы, который ему дан (и которому он придан, человек и народ, – как соответствующая ему порода существ) на любовно-супружескую жизнь в браке и взаимопонимании» [14, с. 49]. К сказанному стоило бы, пожалуй, добавить, что природа, с которой взаимодействует – через посредство прямой и обратной связей – современный человек, – это уже в значительной мере очеловеченная природа (ноосфера).

Дополнительный драматизм придает ситуации то обстоятельство, что выживание «полиса» и человека обеспечивается через систему властных отношений. Власть же открывает перед человеком возможность реализации собственного «Я» через посредство сотен, тысяч, миллионов других «Я», оказывающихся в поле воздействия властвующего субъекта. И чем полнее, обширнее власть – тем шире и глубже эта самореализация, проявляющаяся через подчинение других собственной воле⁴³. Субъект при этом растормаживается, сбрасывает внутренние оковы, дает волю сдерживавшимся ранее страстям и амбициям. Все, что прежде так тщательно скрывалось от окружающих и даже от самого себя, «вылезает» теперь на поверхность и проявляется в прежде невиданных масштабах.

Такова власть вообще – в какой бы области человеческой деятельности она ни проявлялась. Но нет сферы, где человек обладал бы большей властью, чем в политике⁴⁴. Именно там сходятся, сплетаются воедино отношения, складывающиеся между людьми в самых разных сферах их деятельности и существования. Наблюдательная г-жа де Сталь как-то заметила: политика «совмещает в себе пружины, которые действуют на людей в массе и приближают их к добродетели или удаляют от нее» [16, с. 115].

Главная задача политика – поддержание существования «полиса», т.е. целостности и функциональной способности социального организма, управлять которым он поставлен. Решение этой задачи не только требует от политика огромного напряжения сил, но и заставляет его вникать в огромное множество самых разных вопросов, рассматривая их в увязке друг с другом.

В самом деле, что обсуждается в парламентах и правительствах мира? Эту повестку дня трудно даже перечислить. Тут и технология управления государством, и финансы, и безопасность, и социальная защита населения, и поддержание бое-

⁴³ Диктатор в этом смысле плох не столько тем, что он плох или недостаточно хорош как личность, сколько тем, что он имеет возможность сделать свою волю всеобщим императивом: силой навязать ее тысячам, десяткам тысяч, миллионам людей, как это можно было видеть в XX в. в Китае, Германии, России, равно как и в других странах в иные эпохи.

⁴⁴ Отсюда и многочисленные попытки определить политику именно через власть. Этот мотив отчетливо звучит у Макса Вебера. «Итак, — пишет он, — “политика”, судя по всему, означает стремление к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает... Кто занимается политикой, тот стремится к власти: либо к власти как средству, подчиненному другим целям (идеальным или эгоистическим), либо к власти «ради нее самой», чтобы наслаждаться чувством престижа, которое она дает» [15, с. 646].

Политика как «рынок» и «театр»

способности армии, и международные отношения, и развитие хозяйства, и вопросы науки и культуры. Словом, политику приходится принимать множество решений по самому широкому кругу вопросов⁴⁵, причем каждый из них он обязан рассматривать с точки зрения определенной тотальности, или, как принято говорить, – с государственной точки зрения⁴⁶.

Власть политика (и роль политики) определяются еще и тем обстоятельством, что принимаемые им решения затрагивают в той или иной степени судьбы многих людей. Не случайно Ленин утверждал: «...Политика начинается там, где миллионы; не там, где тысячи, а там, где миллионы, там только начинается серьезная политика...» [11, т. 36, с. 16–17]. Ныне, когда взаимосвязь и взаимозависимость субъектов политического процесса существенно возросла по сравнению с началом века, политики высшего ранга вершат судьбами уже не миллионов, а десятков, сотен миллионов, миллиардов людей, словом – человечества.

Представление о политике как «деле грязном» побуждало реформаторов и революционеров разного толка искать пути либо к *радикальной перестройке сферы политического* в сторону ее гуманизации и освобождения от «грязи» либо даже к полной *деполитизации общественной жизни*.

В XIX – начале XX в. наибольшую активность на этом направлении проявляли марксисты и анархисты, мечтавшие об отмирании (упразднении) государства как института насилия. «На место управления лицами, – пророчествовал Энгельс, – становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не “отменяется”, оно отмирает» [17, т. 20, с. 292]. А вместе с государством, вместе с управлением лицами отмирает и политика в строгом смысле этого слова.

Советская власть воспринималась Лениным как механизм практической реализации этой исторической задачи. Через массовизацию управленческой деятельности, через вовлечение в политику миллионов людей преодолевается отчуждение власти от наро-

⁴⁵ Необъятная сфера деятельности политика отчетливо прослеживается в тоталитарном обществе. Тот же первый секретарь обкома решал сотни вопросов – от координации деятельности областных учреждений до организации банно-прачечного хозяйства. В большинстве из них он профессионально не разбирался, но обязан был хорошо представлять себе, как решение того или иного вопроса может сказаться на функционировании региона, за который он отвечал.

⁴⁶ В работе «К критике гегелевской “Философии права”» Маркс писал, что рассматривать тот или иной вопрос политически – это значит подходить к нему «с точки зрения государства в целом (курсив мой – Э.Б.), с точки зрения социального смысла рассматриваемого вопроса...» [17, т. 1, с. 360].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

да – а это прямой путь к отмиранию государства и фактической деполитизации общества. «Работа..., – писал Ленин в 1919 г. в черновом наброске проекта программы РКП, – неразрывно связанная с осуществлением главной исторической задачи Советской власти, именно перехода к полному уничтожению государства, должна состоять, во-первых, в том, чтобы каждый член Совета обязательно выполнял известную работу по управлению государством; во-вторых, в том, чтобы эти работы последовательно менялись, охватывая весь круг дел, связанных с государственным управлением, все его отрасли, и, в-третьих, в том, чтобы рядом постепенных и осторожно выбираемых, но неуклонно проводимых мер все трудящееся население поголовно (! – Э.Б.) привлекалось к самостоятельному участию в управлении государством» [11, т. 38, с. 93]⁴⁷.

В сущности, перед нами программа насильственной политической перековки не только социума, но и всего населения, преследующая далеко идущие цели. Дело в том, что большевики, стремясь очистить мир от политической «грязи» посредством «уничтожения государства», действовали одновременно и с другого конца: они пытались осуществить вековую мечту утопистов о «новом человеке» – человеке правильном, начисто лишенном теней и пороков, что, естественно, должно было проявиться и в политике, пока она не сошла бы – вместе с государством – на нет.

Эти замыслы потерпели провал. Большевикам и их последователям не удалось ни преодолеть отчуждение власти от народа; ни «усыпить» или разрушить государство; ни сформировать такой человеческий тип, который сделал бы возможным осуществление новой политики; ни в итоге радикально перестроить сферу политического. Больше того, в политике, проводимой при социализме, выбросы «отрицательного» (лжи, лицемерия, насилия, номенклатурных «подножек», не говоря уже об известных всем репрессиях и терроре) далеко превзошли досоциалистический уровень.

Фиаско, которое потерпел социализм в своих революционных начинаниях, было вполне закономерным. Оно лишний раз подтвердило, что, не преобразовав человека, невозможно изменить и природу политического. Преобразовать же человека не дано, как подтверждено многократными «экспериментами», никому⁴⁸.

⁴⁷ В том же 1919 г. Н. Бухарин и Е. Преображенский писали в «Азбуке коммунизма»: «...Наша задача состоит в том, чтобы даже каждую кухарку научить управлять государством... Задачей нашей партии является систематическое, шаг за шагом идущее вовлечение и этих слоев в общую государственную работу» [18, с. 24].

⁴⁸ Возможно, эта принципиальная неспособность к самопреобразованию есть не что иное, как условие сохранения человеческого рода, своеобразный предохранитель

Политика как «рынок» и «театр»

Таким образом, идеальная политика оказывается на поверку такой же иллюзией, как и идеальный человек. Пока существует *Homo Sapiens*, она будет оставаться в принципе тем же, чем была на протяжении веков и тысячелетий. Да идеальный политический космос не только невозможен – он не нужен человеку. В «дистиллированном» полисе ему просто нечего было бы делать, как нечего делать нормальному путешественнику в Утопии, куда его занесло кораблекрушение.

Отказ от попыток произвольного и в конечном счете контрпродуктивного переустройства политического мира не означает, однако, что он не требует разумного регулирования. Напротив. Сферу политического желательно удерживать в достаточно жестких рамках, не позволяя ей распространяться на всю общественную жизнь. Тотальная политизация, ориентирующая на рассмотрение всех встающих перед обществом проблем сквозь призму властных отношений, разрушительно действует и на личность, и на социум. У экономики, науки, искусства, других форм деятельности – свои законы, и когда они приносятся в жертву политической целесообразности, то разрушается имманентная этим формам, а именно экономическая, научная и иная целесообразность.

Такое удержание сферы политического в определенных границах может осуществляться с помощью законов, нравственных норм, политической культуры и ограниченного участия граждан в регулировании властных отношений. В известном смысле и до известной степени – чем дальше от политики будет держаться основная масса людей, тем лучше для политики и для них самих. Не потому, что политика – «дело грязное», а потому, что она являет собой зону слишком высокого напряжения и длительное интенсивное пребывание в ней выдерживают без ущерба немногие.

Это отнюдь не призыв к аполитичности и эскапизму. Тем более не призыв к невыполнению гражданского долга. Нет. Но участие в выборах и референдумах, интерес к политическим новостям и даже умеренной («любительской») работе в политических объединениях – это одно, и совсем другое – активная, постоянная, тем более профессиональная политическая деятельность. Она не всем по плечу. Политическое – (в смысле концентрации) «слишком человеческое».

Ну вот, теперь – точка...

от разрушения, страховка от неосторожных, неумелых, хотя и крайне настойчивых, повторяющихся от века к веку, попыток человека сделать окружающий мир и самого себя более «совершенными», а, в сущности – более удобными для себя же, более примитивными и плоскими.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

1. Замятин Е. Лица. Нью-Йорк, 1967.
2. Собчак А. Хождение во власть. М., 1991.
3. Двойной портрет (телепередача) // Российское телевидение. 1995. 9 сент.
4. Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982.
5. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990.
6. Гюго В. Собрание сочинений. Т. 15. М., 1956.
7. Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 3. М., 1988.
8. Херманн М. Стили лидерства в формировании внешней политики // Полис. 1991. № 1.
9. Николай Кузанский. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1979.
10. Фромм Э. Духовная сущность человека // Человек и его ценности. М., 1988.
11. Ленин В.И. Полное собрание сочинений.
12. Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1964.
13. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1995.
14. Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1988.
15. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
16. Цит. по: Вайнштейн С. Госпожа Сталь. М., 1902.
17. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения.
18. Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма // Звезда и свастика. М., 1994.

Политика в рыночном обществе*

С тех пор, как в советском обществе где-то в 70-х годах появилась политическая наука, закамуфлированная под «государствоведческую дисциплину», а тем более с наступлением «эпохи гласности» число статей о политике в нашей академической и массовой литературе неуклонно возрастало. Однако большинство авторов предпочитало рассуждать о политическом процессе и политических законах вообще, не обращая большого внимания на специфику их проявления в разных социально-экономических и культурных условиях.

Оно и понятно. Это была в общем здоровая реакция на ту парадигму, которая существовала на протяжении десятилетий в советском обществоведении и ориентировала на искусственное противопоставление «социалистической» политики политике «буржуазной». Тем более, когда все вокруг твердили об «общечеловеческих ценностях».

Сегодня же в России, находящейся на перепутье, все острее ощущается потребность в исследовании специфики проявлений «политического» в разном историческом и цивилизационном контексте. В частности, – в выявлении особенностей политической деятельности в рыночном обществе.

Свободный рынок, как определенный способ связи между членами общества и одновременно как механизм их взаимодействия регулирует не только экономические отношения. Как и государство, рынок выступает в качестве одного из универсальных механизмов, формирующих определенные типы личности, сознания, поведения. Рынок влияет на характер и способы функционирования политических институтов, на тип доминирующей в обществе политической культуры

Политика как рыночная категория

Главную, определяющую особенность политики в рыночном обществе можно сформулировать предельно кратко – она выступает как товар. Конкретно это означает следующее:

Политика превращается в предмет купли-продажи. Отдельные политические деятели, группы, партии, фракции, движения открыто предлагают гражданам (а в ряде случаев и друг другу) в об-

* Бизнес и политика. 1995. № 5. С. 2–6.

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

мен на политическую власть те или иные идеи, проекты, программы и т.п., равно как и свою готовность действовать в определенном направлении на политическом поприще.

Классическая триада Т-Д-Т (товар-деньги-товар) трансформируется в формулу П-В-П (политика-власть-политика). Обязательство придерживаться в своей общественно-государственной деятельности определенных принципов (либеральных, консервативных, социалистических или иных) и вести партию или государство, а то и общество в целом определенным курсом, а значит удовлетворять интересы всего социума, либо какой-то его части, «обменивается» политиком на власть, наделяющую его известными полномочиями и сулящую определенные выгоды.

Складывается национальный политический рынок со своими региональными и местными ответвлениями, «биржами», «ярмарками», «супермаркетами» и т.п. При этом акты купли-продажи совершаются на нем, как на обычном рынке, открыто, публично или же тайно, келейно. Речь идет прежде всего об общенациональных и местных выборах, нередко проходящих, дабы не ошибиться, не получить гнилой товар, не только в несколько туров, но и в несколько приемов: яркий тому пример – «праймериз» в США. Речь идет также о плебисцитах, референдумах, партийных и прочих съездах, конференциях и иных сходках, где происходят политические торги, оценивается качество товара, взвешиваются шансы покупателей и продавцов и т.д. В роли постоянно действующей политической биржи выступает парламент и местные органы власти. Своеобразной, но широко распространенной и устойчивой формой политической купли-продажи является такой институт, как лоббирование.

В рыночном обществе политическая деятельность утрачивает некогда присущий ей аристократический лоск и предстает как разновидность бизнеса, который, как и всякий бизнес, рассчитан не на бескорыстное служение обществу, а на получение прибыли – обязательно в денежной форме.

Естественно, что сами политики превращаются в бизнесменов – признают они это амплуа или с гневом отвергают его, стремясь предстать перед публикой в виде бескорыстных служителей идеи, радетелей за народное благо, просветителей, освободителей, народных героев.

Политик, как и бизнесмен, изучает рыночную конъюнктуру, устанавливает необходимые связи с другими производителями политического товара, формирует и поддерживает с помощью специалистов свой имидж – словом, делает все то, что и обычный предприниматель. Но помимо этого ему приходится делать и многое другое. В частности, – лицедействовать, ибо хороший политик, как

Политика как «рынок» и «театр»

показывает опыт многих государственных деятелей, – это еще и хороший актер, психолог и режиссер-постановщик в одном лице.

Опытные политики строят свою деятельность с учетом рыночной конъюнктуры, предлагая как правило, только тот товар, который пользуется спросом и, следовательно, может быть реализован к взаимной выгоде покупателя и продавца.

В этом плане политика в рыночном обществе оказывается заложницей массового сознания и, в частности, такого его динамичного элемента, как массовые настроения, которые далеко не всегда отражают реальные потребности и глубинные интересы социума. Ведь то, что видит наметанный глаз политического аналитика, не видит «человек с улицы».

Однако и политики не остаются в долгу, усиленно обрабатывая электорат с помощью средств массовой информации и пытаясь доказать избирателям, что народу нужен именно тот товар, который ему предлагают. В конце концов, в результате встречного давления «продается» и «покупается» та политика, которая более или менее адекватно отражает возможности политических деятелей и потребности общественности. (Эта ситуация существенно отличается от той, которая существует в «плановом обществе», где действуют правила одностороннего движения и граждане получают ту политику, которую им приготовили «мудрые вожди»).

Сказанное не означает, что на политическом рынке не появляются время от времени «случайные люди» – идеалисты, искренне стремящиеся облагодетельствовать человечество и выбрасывающие неходовой в обычных условиях товар в виде разного рода утопическо-экзотических программ, прожектов и тому подобных творений, способных привлечь внимание разве что небольших групп любителей. Однако не эти продавцы и не их товар делают погоду на политическом рынке.

Между продавцами политики идет острая конкурентная борьба, в которой, как и во всякой конкуренции, имеются свои выигравшие, проигравшие, разорившиеся, свои неудачники и счастливицы.

Конкуренция, соперничество между политиками несомненно имеет место и в нерыночном, в частности, тоталитарном обществе. Но там она носит скрытый характер. А в качестве арбитра выступают не граждане и даже не члены организаций, скажем, партий в их более или менее полном составе, а узкий круг руководителей. К тому же спектр предлагаемых альтернатив, определяемый установками господствующей идеологии, оказывается, как правило, узким и далеко не всегда отражает реальное состояние общественных интересов.

Есть у конкуренции своя «подводная» часть и в рыночном обществе. Успешно соперничать на выборах без поддержки со сто-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

роны крупных партий, других влиятельных политических организаций, большого бизнеса, отбирающих в предварительном порядке претендентов на политические роли, сегодня практически невозможно ни в США, ни в Великобритании, ни в других демократических странах.

Однако там помимо «подводной» есть еще и публичная часть конкуренции, которая играет весьма существенную, а подчас, например, в периоды выборов, решающую роль. Что касается спектра альтернатив, выставляемых на продажу, то он обычно довольно широк и репрезентативен.

Политическая деятельность приобретает характер товарного производства и в плане структурно-организационном. Происходит своеобразное разделение труда, складывается рынок политической рабочей силы, или, если угодно, «биржа политического труда». Создаются исследовательские, маркетинговые и иные службы, работающие на те или иные государственные структуры, партии, коалиции или даже отдельных политиков, если ставкой является, скажем, президентское кресло.

Колоссальная роль отводится рекламе. При этом, несмотря на всю специфику политического товара, его реклама по сути своей мало чем отличается от рекламы сигарет, стирального порошка или женского белья.

Появляются вспомогательные производства в виде организаций по изучению общественного мнения, которые, по признанию такого авторитета в этом деле, как Дж. Гэллап, занимаются одновременно и его формированием. Создаются, покупаются, используются средства массовой информации, в первую очередь – ТВ.

Успешное ведение политического бизнеса требует хорошей профессиональной подготовки. Для многих, вовлеченных в эту сферу, политическая деятельность становится профессией, которая приобретается ныне в соответствующих учебных заведениях. Характерно в этой связи то, что, например, в США готовить в вузах профессиональных политиков и политологов начали более века назад, у нас же политология была введена в высшей школе совсем недавно, да и с той не знают, что делать.

В 1918 году Макс Вебер заметил, что политикой можно заниматься «как в качестве политика «по случаю», так и в качестве политика, для которого это побочная или основная профессия, точно так же, как и при экономическом ремесле» [Вебер М. Политика как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 652].

Не означает ли сказанное, а это всего лишь констатация реального положения вещей, открытого признания и подтверждения

Политика как «рынок» и «театр»

широко бытующего в массах представления о том, что политика, особенно в рыночном обществе, — «грязное торгашеское дело», что она в принципе «аморальна», что политик — «циник» и т.д. и т.п.?

На этот вопрос можно ответить так. Поскольку политика связана непосредственно с организацией властных отношений, с распределением власти, то она по природе своей — вещь жесткая и даже жестокая, и жестокость эта может затрагивать миллионы людей. Что же касается морального измерения, то в принципе торговля политическим товаром, на наш взгляд, не более аморальна, чем торговля овощами, парфюмерией, мясом, или театральными билетами. Везде есть свои мошенники, жулики и спекулянты, свои продажные души. Но везде есть и честные продавцы, чтящие и уголовный кодекс, и кодекс чести.

Особо следует подчеркнуть, что продажа политиками своего товара совсем не обязательно предполагает продажность самих политиков, то есть их беспринципность, готовность ради власти или денег производить и выбрасывать на рынок любой товар, идти против совести. Впрочем, никто не оценил ситуацию лучше, чем Пушкин в своем знаменитом разговоре книгопродавца с поэтом: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».

Это означает, что порядочный политик, пекущийся о собственном имидже, никогда не станет торговать своими взглядами и перебегать из фракции Г. во фракцию З. или Ж. только потому, что это сопряжено с личной выгодой. Честный политик просто предлагает избирателям свою программу, подкрепленную готовностью работать на ее осуществление, агитирует за нее, и если ее покупают, то получает в виде вознаграждения мандат, дающий ему право функционировать в качестве легитимного политического деятеля и иметь соответствующий доход.

Политический рынок в России

В современной России практическое превращение политики в товар, а политической деятельности в товарное производство идет гораздо более быстрыми темпами, чем осознание общественностью, а то и самими политиками, происходящего. Еще медленнее идет признание товарной природы политики.

Русскому человеку, тем более интеллигенту, приученному смотреть на политическую деятельность как на бескорыстное служение обществу, крайне трудно переменить свой взгляд. Впрочем, наиболее наблюдательные, пожалуй, согласятся с тем, что политика давно уже стала у нас предметом купли-продажи. Но в этом они увидят

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

все, что угодно – отклонение от нормы, нравственное предательство, опасную мутацию, побочный продукт неумелого рыночного строительства и т.п., – но только не естественное и неизбежное следствие модернизации российского общества и перехода от тоталитаризма к демократии. Похоже, все уже согласны с тем, что не «каждая кухарка» способна управлять государством, тем более таким сложным как Россия. Но нам еще трудно согласовать идею «истинного народовластия» с представлением о товарной природе политики и профессиональным отпращиванием политических функций.

Если разрыв между реальным превращением политики в товар, непониманием происходящего и нежеланием увидеть в этом превращении исторически обусловленную норму будет сохраняться и дальше, то это, как нам представляется, может иметь драматические последствия для общества. Мы, в частности, снова будем пытаться провести в парламент не честных профессионалов, а актеров, писателей, художников, шоуменов и прочих граждан, которые заслуживают, быть может, самого высокого уважения как представители своих профессий и просто как хорошие люди, но мало что могут сделать для России как политики.

Думаю, что российская цивилизация с ее сильной православной «закваской», с ее интеллигенцией, которую вряд ли покинет идея служения народу и его осчастливливания, с тягой самого народа к «правде» и «справедливости» будет упорно сопротивляться маркетизации России вообще и тем более такой сферы, как политическая деятельность. Но какие-то перемены в нашем сознании должны произойти. Практика последних лет подталкивает к этому самым решительным образом.

Полагаю, нам следовало бы научиться трезво смотреть на политику и политиков, не идеализируя их, не ожидая от них того, чего они не в состоянии предложить, но и не отворачиваясь от них, как от людей пропащих.

Бессмысленно делить политических деятелей на популистов и непопулистов, порицая первых и восславляя вторых. Секретарю обкома было во многом безразлично, как относятся к нему подопечные граждане: не они вручали ему мандат на царствование. В рыночном обществе судьба политика определяется не в последнюю очередь отношением к нему избирателей. Поэтому здесь все маломальски крупные политики – популисты. Только одни выставляют свой популизм напоказ, сопровождая хождение в народ шумными демонстрациями, а другие стремятся заручиться поддержкой сограждан, не привлекая к себе особого внимания.

Но популист, будь он в жизни честнейшим человеком, всегда ведет с народом «игру», всегда просит за свой товар больше, чем тот

Политика как «рынок» и «театр»

стоит на самом деле. Поэтому так важно трезво оценивать посулы политиков и не проявлять той доверчивости, которую россияне продемонстрировали на выборах в Государственную Думу в 1993 году. Предвыборные обещания, как правило, не отражают ни реальных возможностей, ни истинных намерений, ни подлинных ценностных ориентаций политика. Пожалуй, единственное, что они фиксируют более или менее точно – это общий курс, основное направление его политической деятельности.

Стоило бы подумать и о том, чтобы устранить, насколько это возможно, преграды на пути формирования цивилизованного политического рынка. Речь идет прежде всего о разработке соответствующей законодательной базы, в частности, закона о лоббизме. Все прекрасно знают, что институт лоббизма у нас есть. Но многие считают, что принятие такого закона вызовет всплеск лоббистской деятельности и отрицательно повлияет на парламентскую жизнь. Полагаю, что это, заблуждение. Отсутствие закона не сдерживает лоббистов, но наоборот поощряет их, ведет к росту коррупции и теневого бизнеса. Стоит, в частности, напомнить, что приняв в 1946 году «Закон о регулировании лоббизма» и тем самым легализовав этот институт, введя его в законные рамки, американцы, хотя и не положили конец использованию служебного положения в целях личного обогащения, однако ограничили его, равно как и возможности использования парламентских механизмов теневыми структурами.

Многое в нашей политике будет зависеть и от того, сумеем ли мы создать современную систему политического и правового воспитания – как массового, так и профессионального. Советское общество вопреки распространенному мнению было не политизированным, а идеологизированным. Что же касается политики в точном смысле этого слова, которая по Веберу означает «стремление» к участию во власти или к оказанию влияния на распределение власти, будь то между государствами, будь то внутри государства между группами людей, которые оно в себе заключает» [Там же. С. 646], то советский человек был в массе своей к ней не причастен и в ней не искушен. Как не был он искушен и в правовых вопросах. Так что здесь нам, говоря словами «классика», надо еще «учиться, учиться и учиться».

Топология политических отношений*

Мир, где без формул топологии
Не может обойтись никто...

Леонид Мартынов

Вырвавшись из мира тотального единообразия и «всеобщего согласия», российские граждане тут же попали в едва ли не противоположный, непривычный мир разногласий, противоречий и борьбы. Чувствуя себя некомфортно в этом новом политическом космосе, большинство россиян ищет стабильности и согласия, а политологи пытаются сконструировать подходящие для России модели достижения социально-политического консенсуса.

В этой связи возникает немало вопросов, ответы на которые существенны не только для теоретика, но в конечном счете и для практикующего политика и политолога.

Каковы, прежде всего, *гносеологические и онтологические основания политических согласий и разногласий* в обществе? И особенно в обществе демократическом, где отсутствует государственно организованное насилие над «глазом» и «ухом» гражданина и где, следовательно, не совершается массового «ослепления» и «оглушения» — политического и идеологического, как это имеет место в тоталитарном обществе⁴⁹.

Существуют ли, далее, естественные *пределы* совпадения политических восприятий, видений, а в итоге и позиций граждан в демократическом обществе и если существуют, то что это за пределы, чем они обусловлены?

Наконец, следует ли стремиться непременно к достижению *предельного (максимального) политического консенсуса*, или же существует некий *оптимум согласия* — пусть динамичный, — выход за пределы которого губителен для демократии?

В поисках адекватных подходов к решению этих и ряда других вопросов было бы небезынтересно выявить *хронотопические особенности политической жизни общества*, специфику пространственно-временной включенности граждан в эту жизнь и ее восприя-

* Полис. 1995. №2. С. 88—99.

⁴⁹ Вопрос о скрытом культурном насилии, о манипулировании сознанием, которым подвергаются граждане со стороны средств массовой информации и других институтов культуры во всех обществах, включая демократические, оставляем в стороне: это — воздействие особого рода, по своей сути отличающееся от партийно-государственного насилия над человеком.

тия различными индивидами и группами. Речь идет, иными словами, о *политической топологии и политической хронологии*, которые, насколько можно судить по литературе, еще не выкристаллизовались в самостоятельные направления политической науки ни в России, ни за рубежом⁵⁰.

Между тем в современной философии, социологии, филологии имеются фундаментальные методологические разработки и специальные теоретические исследования, отталкиваясь от которых (и опираясь при этом, естественно, на соответствующую эмпирическую базу), можно было бы со временем серьезно продвинуться в изучении политического хронотопа – как в общем концептуальном плане, так и применительно к конкретным странам, культурам, цивилизациям.

Имеются в виду, в частности, труды философов-феноменологов, исследующих проблему интенциональности, т.е. «направленности» сознания на объект; работы К. Манхейма и его последователей, занимающихся проблемами социологии знания; философско-филологические опыты М. Бахтина, а также работы Г. Башляра, К. Леви-Стросса, Ю. Лотмана, Ж. Лапонса и др.

Предлагаемые заметки автор рассматривает как предварительные наброски и размышления, которые на данном этапе могли бы как-то способствовать движению в означенном выше направлении. Форма развернутых тезисов и широкое использование метафор представляются адекватными поставленной автором перед собой исследовательской задаче.

1. Свои восприятия политических явлений (политические перцепции)⁵¹ человек обычно пытается описать как *пространственно*

⁵⁰ Здесь речь о них, подчеркиваем, идет именно как о научных направлениях: таковые еще не сложились. Что же касается отдельных, в том числе удачных, попыток анализа пространственной локализации политических явлений (распределения голосов на выборах, членства в политических организациях и т.п.), то можно привести немало исследований подобного рода – зарубежных и отечественных [1–7]. Заслуживают внимания работы французского социолога П. Бурдьё, в частности, «Физическое и социальное пространства: проникновение и присвоение», «Социальное пространство и генезис классов» [4]. Но они представляют интерес прежде всего в общеметодологическом плане и речь в них идет о некоторых принципах анализа социального пространства, которое не совпадает с пространством политическим. Работы российских (советских) авторов, имеющие какое-то отношение к проблематике политического пространства – это преимущественно статьи в академических журналах [5–7].

⁵¹ Как показали исследования Р. Джервиса, К. Боулдинга, О. Холсти, Е. Петровской и др., восприятие социально-политических явлений отличается от восприятия физических объектов и по предмету, и по механизму. Но это уже проблема философская, а не философско-политологическая, как может быть охарактеризовано то,

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

локализованные, образующие объемное, сферическое пространство. «Можем ли мы организовать должным образом наши мысли и убеждения без использования пространственных метафор? – задается вопросом Ж. Лапонс, автор многих работ по проблеме политических перцепций. – Сомневаюсь. Пространство с его высотой и глубиной, отношениями отдаленности и близости, передним и задним планами, левой и правой сторонами – это многомерный ментальный ландшафт, в пределах которого мы располагаем – или, по крайней мере, двумерная классная доска, на которой записываем, – наши моральные, религиозные, политические, медицинские, философские, обыденные объяснения и предписания. Мы говорим об элитах и массах и автоматически ставим первые над вторыми; говорим о старом и новом, о вчерашнем и грядущем днях и при этом “знаем”, что прошлое – позади нас, а будущее – впереди...» [1, р. 3].

Непроизвольная ориентация человека на пространственно-объемную локализацию политических перцепций зафиксирована в разных формах и на разных уровнях в многочисленных продуктах культурной деятельности, в частности в различных знаковых системах, и прежде всего в языке. Рассуждая на политические темы, мы говорим о «верхах» и «низах» («верхи не могут, низы не хотят»), о «левых», «центристах» и «правых», о том, что кто-то находится «внутри» событий, а кто-то наблюдает их «со стороны». Один, утверждаем мы, вырвался «вперед» в борьбе за голоса избирателей, другой – откатился «назад». Этот – пойдёт «далеко» в своей политической карьере, а тот – покатился по «наклонной плоскости». Одни политики находятся в «центре», другие на «периферии» и т.д. и т.п.⁵²

А взять мимику и жесты, сопровождающие любой динамичный разговор. Имея в виду начальство, мы указываем кивком головы (или пальцем) вверх, а говоря о подчиненных, вниз. Мы то и дело киваем или указываем рукой налево, направо, назад, куда-то в сторону и т.п. Особенно характерны в топологическом отношении жесты ораторов и вождей [8].

о чем идет речь в предлагаемых заметках. Отметим лишь, что и физический, и социально-политический мир – это части *единого мира*, в котором пребывает человек, и воспринимаются эти части (преобразуемые в соответствии с нашими потребностями) одним и тем же мозгом и органами чувств – *одним и тем же телом*. Уже это обстоятельство исключает принципиальное различие социально-политического и физического перцептивных пространств.

⁵² Своеобразной формой пространственной локализации социально-политических отношений является увязка их с теми или иными точками географического пространства. Этот тип политики, говорим мы, характерен для Востока, или же, наоборот, для Запада («Запад есть Запад, Восток есть Восток...»), этот – для Севера («революционный Север»), а этот, напротив – для Юга («консервативный Юг») и т.п.

Примечательны и политические документы, фиксирующие полномочия и разграничивающие функции и компетенцию различных категорий чиновничества. Свежий пример – опубликованный 25 января с.г. «Реестр государственных должностей федеральных государственных служащих» – эта, попросту говоря, «табель о рангах». Разграничение административно-властных полномочий между теми, кто входит в группу чиновников высокого ранга, опять-таки, сводится, по сути, к тому, что «А» ставится под «Б», но одновременно над «В»; кто-то оказывается несколько впереди, кто-то – позади, один – в центре, другой – на периферии и т.д.

2. Пространственная «организация наших мыслей и убеждений», по выражению Лапонса (или, как он это иначе называет, «ментальное пространство»), оказывается возможной и эффективной потому, что она совпадает с объективными характеристиками пространства, в котором пребывают субъекты политических отношений: «совпадает» в том смысле, что доставляет информацию, позволяющую адекватно ориентироваться в данном политическом мире.

Политическое пространство (назовем его для краткости «политоидом») образовано сложной системой связей⁵³, складывающихся между участвующими в политической жизни субъектами (политическими акторами) и объединяющих их в многомерное объемное целое. Проявляются эти связи через *отношения* политических акторов друг к другу. Каждый из них занимает по отношению к другим определенные позиции: над и/или под, слева и/или справа, впереди и/или сзади, вблизи и/или вдали, внутри и/или вне и т.д. и таким образом в каждый данный момент *локализован в определенной точке политоида*. (Локализация актора в политическом пространстве может быть описана, конечно, не только в системе бинарных оппозиций; однако, основываемое на последних, такое описание не только нагляднее, но и привычнее для нас.)

Политическое пространство не совпадает с пространством геометрическим (физическим). Тех, кто имеет над нами власть, мы по традиции ассоциируем с «верхом», а между тем начальник может сидеть на одном этаже с подчиненными. Вообще все политические акторы, говоря строго, пребывают в одной геометрической плоскости. И тем не менее, представляя политическое пространство как многомерное и объемное, мы не совершаем ошибки. Во-первых, человек не может мысленно воспроизводить среду своего пребывания иначе, не как объемную. А во-вторых, тип структурных взаимосвя-

⁵³ Автор отвлекается от рассмотрения временных связей, ограничиваясь лишь пространственным аспектом политического хронотопа (почему и работа озаглавлена «Топология...» -, а не «Хронотопология...»).

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

зей между политическими акторами аналогичен, в чем убеждает многовековая практика, типу структурных взаимосвязей между человеком и физическим (геометрическим) миром.

3. Политоид – органическая часть социума. Но вместе с тем это и относительно автономная система, имеющая свою специфику. Поэтому положение индивида собственно в политоиде и его положение в обществе могут не совпадать. Человек с высоким социальным статусом, например известный ученый, писатель, актер, в политическом плане может быть *обывателем*, т.е. иметь низкий политический статус, а представитель социальных «низов» – выступать в качестве популярного, влиятельного лидера политической оппозиции.

Современное общество – это целая система взаимосвязанных политоидов. Мир политических отношений, складывающихся в общенациональном масштабе, лишь частично совпадает с миром политических отношений, формирующихся в регионах, а тот в свою очередь отличается от районных политоидов и т.п. Однако структурно-функциональные типологические характеристики политоидов совпадают в общем и главном. Поэтому, имея представление о принципах организации хотя бы одного из них, мы вправе утверждать, что располагаем ключом к постижению структуры и функций любого из политоидов, могущего заинтересовать исследователя.

4. Восприятие и видение (оптика) политического мира актором, его поведение определяются не только и подчас даже не столько социальным положением, менталитетом, культурным уровнем, сколько *локализацией в политическом пространстве*. Ибо из разных его точек политический мир открывается и видится по-разному.

Это обстоятельство четко зафиксировано в языке. Мы говорим, что люди смотрят на вещи «со своей колокольни», предлагаем «войти в чужое положение», или, как скажут американцы, «походить в чужих мокасинах». А что, в самом деле, обозначают такие слова, как «левый», «правый», «верхи», «низы», «центрист», «аутсайдер» и т.п.? Индивидов, находящихся в определенных точках политического пространства? Сами эти точки? И то, и другое. Скажем, понятия «левый» и «правый» (обретшие политические значения после Французской революции) говорят о нахождении актора в определенной точке политической *горизонтالي*, фиксирующей отношения идейно-политической *координации* между политически равными акторами, а понятия «верх» и «низ» («над» и «под») – о нахождении в определенной точке властной *вертикали*, рассекающей эту горизонталь и фиксирующей отношения *субординации* между политически *неравными* акторами.

Нелишне в данной связи заметить, что каждая эпоха, каждое общество культивируют в социуме определенный (должный стать

Политика как «рынок» и «театр»

доминирующим) способ видения вещей. «В средневековой картине мира, отмечает Бахтин, верх и низ, выше и ниже имеют абсолютное значение как в пространственном, так и в ценностном смысле. Поэтому образы движения в верх (так в тексте – Э.Б.), путь восхождения или обратный путь нисхождения, падения играли в системе мировоззрения исключительную роль... Движение по горизонтали было лишено всякой существенности, оно ничего не меняло в ценностном положении предмета... Та конкретная и зримая модель мира, которая лежала в основе средневекового образного мышления, была существенно вертикальной» [9, с. 436].

Вертикальная оптика характерна, впрочем, не только для средневековья, но и, пусть в меньшей мере, для любого жестко иерархизированного (иерархия есть вертикаль) общества. Так, тоталитарная оптика – это вертикальная оптика [10]. Демократический строй, напротив, связан с оптикой горизонтальной. Равенство – это когда другие находятся не вверху и не внизу, а рядом; пусть одни слева, а другие справа. Поэтому переход от тоталитаризма (авторитаризма) к демократии – это помимо всего прочего еще и переход от вертикальной оптики к горизонтальной.

Но понятия левого и правого, верха и низа обозначают не только точки локализации актора в политоиде: они обозначают, как мы увидим далее, определенные способы восприятия и типы видения политического мира и связанные с ними типы политического поведения. Каковы же принципы этого восприятия и видения?

Во-первых, *никто из акторов не в состоянии охватить мысленным взором (воспринять) существующий политический мир целиком, во всех его деталях и проявлениях, со всех сторон*, подобно тому, как ни один из наблюдателей, рассматривающих объемный предмет, скажем, куб или шар, не может увидеть все его стороны одновременно. Так что в какой бы точке политоида ни пребывал актер, его восприятие и видение политического мира будут неизменно фрагментарными, неполными, а, следовательно, ущербными.

Одно из проявлений такой ущербности – неспособность актора видеть себя со стороны. Это относится не только к его телу, но и к некоторым элементам пространственной среды, в которой он пребывает. Как замечает М. Бахтин, исследуя «пространственную форму героя» литературного, «я всегда буду видеть и знать нечто, чего сам он (человек, которого я наблюдаю – Э.Б) со своего места вне и против меня видеть не может: части тела, недоступные его собственному взору, – голова, лицо и его выражение, – мир за его спиной, целый ряд предметов и отношений, которые при том или ином взаимоотношении нашем доступны мне и не доступны ему. Когда мы глядим друг на друга, два разных мира отражаются в зрачках наших глаз. Можно, приняв соответствующее положение, свести к минимуму это различие кругозоров, но нужно слиться воедино, стать одним человеком, чтобы вовсе его уничтожить» [11, с. 25].

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

Но это неизбежная ущербность. Поэтому обычные для политиков взаимные упреки в односторонности, предвзятости, тенденциозности не всегда справедливы. Есть, конечно, односторонность, порождаемая сознательными подтасовками и личными особенностями политика, которые могут быть полностью или неполностью преодолены. Но есть односторонность, повторим, неизбежная, вытекающая именно из специфики локализации актора в политоиде. Преодолеть ее невозможно, а пытаться заставить других видеть политический мир таким, каким вижу его я, т.е. унифицировать политическую оптику, не только негуманно, но и контрпродуктивно: эффективно действующая сложная система построена на принципе уникальности и взаимодополняемости составляющих ее элементов. Унификация последних неизбежно ведет к дисфункции и распаду системы.

Во-вторых, *в зависимости от локализации акторы воспринимают разные фрагменты (аспекты) политического мира*. Как жители Северного полушария Земли не в состоянии увидеть созвездие Южного Креста, а жители Южного полушария – Полярную Звезду, так и акторы, находящиеся в верхней или нижней, левой или правой и т.д. частях политоида, проявляют зоркость и слепоту по отношению к разным явлениям политического мира⁵⁴.

В поле зрения тех, кто недоволен этим миром в целом или какими-то его сторонами и намерен более или менее радикально преобразовать его – вплоть до перевертывания на 180 градусов властной вертикали: «кто был ничем, тот станет всем», – т.е. кто занимает *левые* позиции и смотрит на мир *слева направо*, попадают преимущественно те элементы, которые характеризуют мир с *негативной* стороны и тем самым подтверждают необходимость изменений⁵⁵. Любопытно, что во многих парламентах мира за левыми закреплена определенная (а именно левая: отсюда, собственно, и берет начало их идентификация) часть зала заседа-

⁵⁴ О слепоте субъекта по отношению к разным сторонам социума писал еще полвека назад немецкий социолог Карл Мангейм в книге «Идеология и утопия». Правда, эту избирательную слепоту он связывал не с пространственной локализацией субъекта, а с «определенной ситуацией» его пребывания.

⁵⁵ Оптику левых Мангейм идентифицирует как «утопическую» и отождествляет с «угнетенными группами». Это весьма спорные утверждения. Но сама оптика описана адекватно. «Угнетенные группы», читаем у Мангейма, «духовно столь заинтересованы в уничтожении и преобразовании существующего общества, что невольно видят только те элементы ситуации, которые направлены на его отрицание...В утопическом сознании коллективное бессознательное...скрывает ряд аспектов реальности. Оно отворачивается от всего того, что может поколебать его веру или парализовать его желание изменить порядок вещей» [12, с. 40].

Политика как «рынок» и «театр»

ний, откуда им правые видны значительно лучше, маяча у них перед глазами гораздо более, чем если бы левые и правые были перемешаны в зале.

В отличие от левых те, кого именуют правыми и кто смотрит на мир *справа налево*, видят преимущественно такие элементы наличного политического мира, которые характеризуют его с *положительной* стороны и подтверждают необходимость сохранения статус-кво и/или заданного направления изменений⁵⁶.

Наконец, в-третьих, один и тот же фрагмент политического мира, одно и то же явление воспринимается из разных точек политоида по-разному: под разными «углами» (а, следовательно, в разном масштабе), с разных сторон, в разных пропорциях, с разной степенью отчетливости и заинтересованности и т.п.

Одно дело – смотреть на объект с более высокой точки властной вертикали, т.е. как бы *сверху вниз*. Это, если воспользоваться метафорой Платона, взгляд пастуха на свое стадо. В таком взгляде есть своя зоркость и своя слепота. Пастух не различает отдельных овец, он видит все стадо целиком, и это – принцип его оптики, позволяющий ему реализовать свою функцию.

Иное дело – взгляд *снизу вверх*. Его можно сравнить со взглядом на небо из более или менее глубокого колодца, или взглядом рядового солдата на поле сражения. Суворов наставлял: каждый солдат должен знать свой маневр. Свой! Сам же Суворов, или другой полководец, обязан представлять себе маневры *всех* участников сражения как *единое целое*.

Неодинаково воспринимаются политические явления и в зависимости от *степени удаленности (дистанцированности)* от них наблюдателя, его непосредственной включенности (участник) или невключенности (аутсайдер) в политический процесс. Вблизи актору открываются крупные планы, детали, которые ему нелегко при взгляде на них сложить, как мозаику, в целостную картину. К тому же в поле его зрения попадает немало деталей вообще случайных, не оказывающих решающего влияния на ход событий и не определяющих суть явлений, а иногда и чисто негативных, провоци-

⁵⁶ К. Манхейм связывает оптику правых с «правлящими группами» и отождествляет ее с «идеологией». «...Мышление правящих групп может быть настолько тесно связано с определенной ситуацией, что эти группы просто не в состоянии увидеть ряд фактов, которые могли бы подорвать их уверенность в своем господстве. В слове «идеология» имплицитно содержится понимание того, что в определенных ситуациях коллективное бессознательное определенных групп скрывает действительное состояние общества как от себя, так и от других и тем самым стабилизирует его» [12, с. 40].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

рующих отрицательный эмоциональный настрой по отношению к целому. (Как заметил однажды Михаил Бакунин, революция вблизи – отвратительная вещь.)

При всем том политический мир, непосредственно окружающий актора, явления, наблюдаемые им вблизи, представляют для него повышенный интерес. Как пишет Б.В. Раушенбах, «часть пространства, непосредственно окружающая человека, должна быть отражена в его сознании наиболее полно и точно, ведь именно она таит источники повышенной опасности, требующие немедленной реакции, служит для поисков пищи и т.п. Что же касается дальних областей пространства, то здесь вполне допустима как более высокая степень искажений, так и понижение информированности» [13, с. 145–146].

Это суждение справедливо применительно к любому пространству, в которое погружен человек. С увеличением дистанции между актором и политическим объектом крупные планы сменяются средними и мелкими, конкретные детали выпадают из поля зрения, падает непосредственный интерес к ним и т.п.

Свою перцептуальную «подслеповатость» акторы пытаются компенсировать, зачастую неосознанно, с помощью воображения, мысленно достроить не воспринимаемый ими непосредственно политический мир. Но в разных точках политоида эта компенсация происходит, опять-таки, по-разному. Особенно сказывается здесь то обстоятельство, что информация распространяется в обществе неравномерно, концентрируясь в одних его точках и секторах и почти не попадая в другие. При этом разная по характеру информация движется по разным «траекториям». В итоге всеобъемлющей информацией не располагают ни низы, от которых правящие элиты многое просто скрывают, ни, вопреки распространенной иллюзии, верхи, которым нередко предоставляют препарированную и подчас заведомо одностороннюю информацию. Так что достроенная воображением картина политического мира или отдельных его элементов будет у разных акторов, опять-таки, односторонней, во всех случаях – неполной.

В стихотворении молодого Леонида Мартынова «Корреспондент» (1927 г.) описана личностная ситуация дискомфорта от неполноты видения жизни, побуждающая к решительной смене «точки обзора» («газетчик» устремляется в свободный поиск сюжетов). Примечательна «топологическая» мотивировка осуществленной перемены: «О, здравый цензор! Беспокойны мы, / Подвержены навязчивым идеям. / Но нам доступно посмотреть с кормы / На берега, которыми владеем».

Много позже, в стихотворении 1970 г. «Топология», из которого нами взят эпиграф, уже сама эта наука превращается у Мартынова в емкий образ, символизируя проблемность мира («Мир, где узлы не разрубаются»), сопряженную с его принципиальной осваиваемостью, и одновременно выступая в качестве принципа

Политика как «рынок» и «театр»

такого освоения. Так преобразилась, сохранив собственные «топологические свойства», прежняя тема: необходимость совершенствовать видение, решая все ту же задачу – полнее познать (дабы благоустроить и оберечь) «Весь этот газово-бензиновый, / Зыбучий от вершин до недр / Мир геометрии резиновой...» Впрочем, укрывшись за щитом бравады, поэт размежевывается с областью специального знания, показывая, что и не думал на таковое притязать: «...И не кричи мне, геометр, / Что это все не топология / И речь в ней вовсе о другом. / Уймись! Тебя поймут немногие, / Меня же – чуть не все кругом».

Остается добавить, что политолог должен все-таки принадлежать к тем «немногим», кто хотя бы на уровне основ «поймет» и «геометра».

5. В современном массовом обществе, отличающемся повышенной мобильностью, политические акторы то поднимаются вверх, то опускаются вниз, сдвигаются то влево, то вправо, то ближе к центру, то отодвигаются на периферию. В итоге один и тот же актор может сменить за свою жизнь несколько точек локализации в политоиде (в том числе взаимоисключающих), а значит, и несколько политических оптик⁵⁷. Однако пребывать во всех возможных точках, число которых теоретически бесконечно, да и практически достаточно велико, не дано никому, как никакому, даже гениальному актеру, не дано переиграть все роли театрального репертуара. К тому же в жизни абсолютного большинства граждан смена ролей происходит сравнительно медленно, а многие вообще не меняют изначально заданных им жизненными обстоятельствами и природными данными точек локализации в политоиде – и тем самым на всю жизнь сохраняют одну и ту же политическую оптику.

6. Существует глубинная связь между локализацией актора в политоиде и выполняемой им политической функцией, или, что в данном случае то же самое, его политической ролью. Детерминируемая сложной совокупностью факторов (социальное происхождение и положение, образование, уровень способностей и интеллекту-

⁵⁷ В жизни часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда с изменением своего политического статуса люди меняют взгляды на мир, отношение к другим, модель поведения. «Изменился человек, — сокрушаются окружающие, — испортился». На самом деле изменился не человек и не его нравственные принципы; другими стали восприятие и видение им мира, связанные с новой точкой локализации в политоиде и новыми функциями. Всякий, оказавшись в данном месте, повел бы себя аналогичным образом. Люди из низов, поднимающиеся наверх, часто ведут себя, как их буржуазно-аристократические предшественники. Это не обязательно «измена» своему классу — это следствие иного видения мира.

⁵⁸ Применительно к политической жизни можно выделить несколько психологических типов акторов. Есть люди, которые, при каком бы политическом режиме им ни выпало жить, будут его критиковать: их внимание — так уж они «устроены» — всегда

ального развития, психический склад личности⁵⁸, политико-культурная ориентация, принадлежность к определенному этносу и включенность в определенную цивилизацию плюс воля случая), *политическая функция во многом зависит и от локализации актора в политоиде*. Если он находится в нижней части властной вертикали, то, естественно, не может выполнять функций государственного руководителя или партийного лидера, сколь бы он ни подходил для этого по своим данным. С другой стороны, если этот актер вдруг выигрывает выборы (скажем, по партийному списку) и получает депутатский мандат, а вместе с ним обретает новую функцию, то он меняет, причем резко, и локализацию в политоиде.

Далее в настоящих заметках различие политических оптик прослеживается для большей наглядности непосредственно через различие политических функций (ролей)⁵⁹. При этом берутся функции, связанные с локализацией акторов в разных точках политоида и вместе с тем обладающие высокой степенью репрезентативности.

7. Обыватель. Большинство политических акторов – это обыватели (данное понятие берется нами как ценностно нейтральное), т.е. рядовые граждане, которые могут принадлежать к рабочим, крестьянам, промышленникам, торговцам, художникам – словом, представлять самые разные социальные слои и группы. Объединяет их всех практически полное безвластие и отсутствие активного и стабильного интереса к политике.

Русский поэт начала XX в. Саша Черный замечательно точно описал политическое кредо обывателя: «Моя жена – наседка, / Мой сын, увы, эсер, / Моя сестра – кадетка, / Мой дворник – старовер. / Кухарка – монархистка, / Аристократ – свояк, / Мамаша – анархистка, / А я – я просто так...». И далее: «Молю тебя, Создатель / (Совсем я не шучу), / Я русский обыватель, / Я просто жить хочу!»

сконцентрировано на недостатках. Это – «критики». Их психологический антипод – «апологеты», люди, которые едва ли не во всяком режиме найдут положительные черты. Есть «соглашатели», легко идущие на компромисс, а есть «скандалисты», готовые использовать любой повод, чтобы устроить публичный политический скандал. Есть «консерваторы», которым не по душе смена политических порядков, а есть «революционеры», или «путчисты», которые постоянно суетятся и мечтают о решительной перестройке существующих политических порядков. Есть, наконец, прирожденные «ведущие» («лидеры»), а есть «ведомые». Эти и другие психологические амплуа, классификация которых носит, разумеется, условный характер, сильно влияют на локализацию акторов в политоиде.

⁵⁹ В принципе возможна и нефункциональная (внеролевая) идентификация оптики. Политолог может чисто эмпирическим путем исследовать оптику актора, находящегося в интересующей его точке политоида, которая не связана напрямую с той или иной функцией. Для этого необходимо выбрать соответствующую систему координат и использовать адекватные исследовательские методики.

Политика как «рынок» и «театр»

Обыватель (и не только русский) – он «просто так», он «просто жить хочет». Это вовсе не значит, что он полностью «выключен» из политики. Конечно, обыватель не состоит в каких-либо партиях или союзах, не отстаивает левые или правые идеи. Но он смотрит телевизор (а там мелькают и политические сюжеты), листает газеты, перекидывается репликами с приятелями, перемежая впечатления о футболе бранью по адресу «этих тупиц из правительства». А главное – он время от времени голосует на выборах и тем самым выполняет важнейшую функцию воспроизводства существующей политической системы, без чего демократическое государство не могло бы существовать.

Обыватель пребывает не просто в нижней, но в *низшей (нулевой) точке властной вертикали*. Все – *над ним*: политические активисты, чиновники, генералы и, разумеется, правители, от которых он удален на максимально возможную в данном политоиде дистанцию.

Поэтому на политический мир обывателю приходится смотреть *снизу вверх*. Ему плохо видно, что делается на другом конце властной вертикали. Задачи и трудности, с которыми сталкивается правительство, ему неведомы, а мотивы, которыми оно руководствуется, – непонятны и чужды. Он не видит политического мира как целого и даже не пытается воспроизвести эту целостность в своем воображении.

Политическую жизнь обыватель воспринимает и оценивает сквозь призму фактов, непосредственно касающихся его личного существования: не будет ли войны, не повысят ли налоги, не усилятся ли инфляция, не отберут ли у него работу какие-нибудь там гастарбайтеры... Взгляд обывателя на политику не только узок, но и противоречив. Не имея представлений о хитросплетениях политики, он может потребовать от правительства одновременно уменьшения налогов и повышения расходов на социальные нужды и при этом совершенно не смущаться тем, что сокращение государственного бюджета делает проблематичным увеличение социальных ассигнований. Да он и не задумывается о подобных противоречиях.

Неудивительно, что обыватель часто голосует не за тех, кто предлагает реалистические, но лишённые популистской позолоты программы, а именно за популистов, которые, зная распространенные в «низах» настроения, строят свои программы с учетом массовых ориентаций.

Было бы, разумеется, нелепо обвинять обывателя в узости взглядов или требовать, чтобы он мыслил государственными категориями, проявлял «сознательность» и адекватно оценивал работу правительства. Его оптика, детерминированная положением в политоиде, этого просто не позволяет. Но зато сами мнения обы-

вателя позволяют достаточно точно определить, как транслируется в нижнюю часть политоида информация о деятельности стоящих над ним акторов.

8. *Политический руководитель (властвующий политик, правитель)*. Это – топологический антипод обывателя. Его функция – управление, или руководство государством, либо какой-то его частью, если речь идет о локальном политоиде, охватывающем, скажем, область или республику, входящую в состав федеративного государства. Платон в диалоге «Политик» утверждает, что правитель должен обладать искусством «пасти людей» [14, 266e], как пастух или табунщик – искусством пасти волов или коней. Правитель (царь) заботится о поддержании жизнеспособности *целого*, управлять которым он поставлен. Читаем у Платона: «Забота же о целом человеческом сообществе и искусство управления всеми людьми в первую очередь и преимущественно принадлежит царю» [14, 276c]⁶⁰.

Правитель пребывает в самой верхней точке властной вертикали. Все – под ним: коллеги-оппозиционеры, сподвижники, чиновники, партийные активисты, обыватели, наконец. При этом политическая линия, проводимая правителем, задается обществу как центристская – независимо от ее реального содержательного наполнения. Именно в соответствии с этой линией как центристской и будут оцениваться позиции остальных акторов как левые, правые и т.д.

В отличие от обывателя, который, располагаясь у «подножья» политоида, смотрит на политический мир снизу вверх и видит лишь его детали, не схватывая общего плана, правитель взирает на мир *сверху вниз* и фиксирует в сознании лишь *общий план*, проявляя устойчивую слепоту в отношении деталей (в том числе и конкретных обывателей), которых он просто не в состоянии разглядеть с высоты своего положения. Но это неизбежная слепота. Политическая зоркость успешного правителя в отношении какого-либо актора или политического явления прямо пропорциональна их функциональной значимости. Концентрация внимания на деталях («деревьях») помешала бы охватить умственным взором целое («лес»), затемнила бы генеральное видение политического мира. А без такого видения просто невозможно принимать решения государственного масштаба.

Поэтому не стоит обвинять правителей в том, что они «оторвались от народа» (подобные обвинения – любимое занятие обывате-

⁶⁰ Две г половиной тысячи лет спустя Макс Вебер определил политику как «деятельность по самостоятельному руководству», «руководство политическим союзом, то есть в наши дни – государством» [15, с. 644–645].

Политика как «рынок» и «театр»

ля и радикала-активиста) и требовать, чтобы они «вошли в положение простого человека» и начали мыслить его категориями. Это бессмысленные упражнения, ответом на которые может стать лишь популистский фарс.

Пару десятилетий назад в Китае кадровых руководителей («ганьбу») отправляли время от времени на «перевоспитание» в народные коммуны. Работая там свинарем или пастухом, секретарь горкома, конечно, узнавал много нового и начинал воспринимать мир по-иному. Возможно, становился нравственно чище. Но, возвратившись в свой горком, он, даже если и испытывал остаточное воздействие коммунального опыта, вынужден был снова мыслить как руководитель, смотреть на мир с высоты своего положения, т.е. видеть прежде всего «лес», не замечая отдельных «деревьев».

9. *Политик-оппозиционер*. Как и властвующий политик, оппозиционер высокого ранга⁶¹ пребывает в какой-то из верхних точек властной вертикали, и его оптика по основным характеристикам совпадает с оптикой первого. Он тоже холист, воспринимающий политический мир в целом – будь то федеративное государство или небольшой город. Это и неудивительно: сегодняшний оппозиционер – это нередко вчерашний властвующий политик, только он теперь не управляет государством, а оценивает (критикует) нынешнее управление и предлагает альтернативные варианты государственных решений.

И все же, меняя функцию, оппозиционер неизбежно меняет и точку локализации в политоиде (смещаясь несколько вниз по вертикали), а значит, и какие-то элементы прежней оптики.

Само слово «оппозиция» четко фиксирует противодействие, противостояние властям. В ряде парламентов мира оппозиция располагается в зале заседаний на специально отведенных для нее местах, которые пространственно подчеркивают ее противостояние находящимся у власти [16, с. 78, 215].

Оппозиционер смотрит на политический мир, наперед сфокусировав свой взгляд на всяком *faux pas* (неверном шаге), совершаемом властями, все время пытаясь их «подловить» и сделать их промахи достоянием гласности. Но в зависимости от того, локализован ли он сам левее центра, правее центра или же в центре, он делает предметом внимания и критики разные действия властей: левые оппозиционеры акцентируют отклонения правительства вправо, правые – отклонения влево, центристы – всякий отход от центра. От оппозиционера бессмысленно ожидать объективного анализа

⁶¹ Представителей народной (массовой) оппозиции мы рассматриваем как часть «массовых гражданских активистов», о которых речь ниже.

ситуации и беспристрастной оценки деятельности властей. Его оптика, повторим, изначально настроена на поиск изъянов, он – политический «санитар» общества, но «санитар» небескорыстный и потому не всегда справедливый.

Еще больше, чем властвующие политики, оппозиционеры любят демонстративно «ходить в народ», как бы подчеркивая свою близость к нему. Но это не более, чем испытанный способ ловли дополнительных голосов. Конечно, оппозиционер вынужден внимательнее присматриваться к тому, что происходит в нижней части политоида. Однако дистанция, отделяющая его от обывателей и массовых активистов, остается очень большой и, глядя с высоты своего положения вниз, он видит все ту же не расчленяемую его глазом массу («паюсную икру», как изволил выразиться в «Грядущем хаме» Д. Мережковский), что и властвующий политик.

Оппозиционер высокого ранга – ненадежный союзник и лишь временный попутчик тех, кто стоит ниже его по властной вертикали: выиграв очередные выборы, он тут же забудет о вчерашних обещаниях и будет вести себя, как правитель. Но он и не может быть другим: ведь он из верхней зоны политоида.

10. Руководитель-отраслевик. Крупные хозяйственники (предприниматели), военачальники, финансисты, другие капитаны отраслей занимают в политоиде особое место. Их политическая функция – не что иное, как оказание активного давления на власти (лоббирование) со стороны неapolитических секторов социума в целях защиты корпоративных интересов, ограничение притязаний политического руководства на властную монополию.

Возвышаясь над обывателями, активистами, чиновниками, отраслевиками вместе с тем, как и все, подчинены политическому руководству и в «штатных» ситуациях в массе своей более или менее дистанцированы от него. Но как люди, распоряжающиеся материальной собственностью, иногда весьма значительной, а также обладающие неapolитической властью, они часто склонны преуменьшать или даже вовсе игнорировать эту дистанцию, особенно в кризисных ситуациях, когда заметно повышается роль региональных авторитетов: тут они вообще могут чувствовать себя хозяевами положения, способными принимать судьбоносные решения.

В принципе отраслевик наделен оптикой руководителя. Он привык смотреть на подчиненную ему систему (армию, крупный промышленный комбинат, отрасль народного хозяйства и т.п.) глазами хозяина, т.е. видеть ее, как и политик, в целом. Принцип холлизма определяет и его подход к миру политики. Но воспринимает он последний *через призму собственной отрасли*, далеко не всегда принимая в расчет специфику политических отношений.

Политика как «рынок» и «театр»

Так, генерал, если он не имеет опыта государственного руководства, анализирует политическую ситуацию, особенно кризисную, прежде всего с точки зрения возможности силового решения. Властные хитросплетения, психологические и культурные нюансы, которые постарался бы учесть опытный политик, могут вообще остаться вне его поля зрения как избыточные. (Оптика любого актора работает по принципу *отсечения всего избыточного* по отношению к функции, обусловленной его пространственной локализацией.) Такова уж специфика его менталитета, порождаемая занимаемым положением.

Через призму законов и интересов подвластных им ведомств смотрят на политический мир и другие руководители-отраслевики. Естественно, что когда они получают возможность навязать неполитические методы решения политических проблем, это вызывает отрицательный эффект. Однако, как и от других акторов, требовать от генералов и директоров, чтобы они перестроили свою оптику, не меняя своего положения в политоиде и своих функций, столь же бессмысленно и даже контрпродуктивно. Поэтому законами ряда стран предусматривается иной путь: ограничение участия представителей некоторых профессиональных групп в политической (в том числе парламентской) деятельности и невозможность занятия ими определенных государственных должностей. (Например, в США возглавлять военное ведомство может лишь гражданское лицо.)

11. *Массовый политический активист.* Вернемся в нижнюю часть политоида. Над многомиллионной массой политических обывателей возвышается тоже достаточно многочисленный слой акторов, играющих активную роль в политической жизни государства и общества. Это рядовые члены политических партий, союзов, объединений, низовые организаторы и неперенные участники разного рода съездов, митингов, шествий, демонстраций и т.п. – словом, массовые политические активисты. Пользуясь образным рядом Саша Черного, можно сказать, что это те самые рядовые «кадеты», «монархисты», «анархисты», которые вечно крутятся у обывателя под ногами, норовя затянуть его на то или иное политическое мероприятие и навязать ему свое идейно-политическое кредо.

Политические активисты играют роль неформального связующего звена между верхами и низами. Это те самые знаменитые «колесики и винтики», о которых с таким упоением говорил Ленин и без которых не в состоянии функционировать ни одно политическое сообщество.

Как и обыватели, массовые политические активисты локализованы в *нижней части властной вертикали*. Правда, в отличие от первых они находятся не в самой нижней (нулевой) ее точке, а чуть повыше – над обывателями, а в некоторых случаях и над такой по-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

литически не ангажированной фигурой (о ней речь ниже), как гражданский активист. Но все равно это нижняя часть властной вертикали – под чиновничеством, крупными хозяйственниками, генералами (не говоря уже о правящих политиках), а значит, и *в отдалении* от центров принятия политических решений.

Вместе с тем как люди, движимые внутренним интересом к политике и исповедующие различные идейные кредо, активисты *разбросаны едва ли не по всем точкам идейно-политической горизонтали*. Среди них есть и левые, и правые, и умеренные, и экстремисты, и центристы и т.п. Это тот «человеческий материал», на который непосредственно опираются и властвующие политики, и оппозиционеры.

Пребывание в нижней части властной вертикали и широкий разброс по идейно-политической горизонтали определяют основные параметры оптики массовых политических активистов. О реальных политических процессах, протекающих в государстве и обществе, они информированы не намного лучше обывателя. И происходящее в центрах принятия решений видится им едва ли не столь же туманно. Их оптика столь же *локальна и фрагментарна*. Однако они взирают на политический мир не через призму узкого эгоистического интереса, как обыватели, и не через призму интересов всего «полиса», как правители, а *через призму партийного, корпоративного интереса*. Они слепы по отношению ко всему, что не согласуется с их верой. Мера их нетерпимости к инакомыслию велика, особенно у экстремистов. И нужен серьезный толчок, чтобы они разочаровались в своем кумире или в своей идее и чтобы признали правоту другого.

Политические активисты – едва ли не самые ангажированные люди в политоиде. Договориться между собой им зачастую намного труднее, нежели конкурирующим политикам высокого ранга, которыми движет не столько идейная убежденность, сколько прагматический интерес.

12. Гражданский активист. Наряду с политическими активистами в современном обществе существуют люди (их численность и роль в политической жизни заметно возросли в последние десятилетия), которых можно было бы назвать активистами гражданскими. К их числу принадлежат участники массовых гуманитарных движений – экологических, правозащитных, миротворческих, культурных и других, равно как и отдельные граждане, преследующие гуманитарные цели. Они не ставят перед собой непосредственных политических целей, хотя и вступают по необходимости в отношения с политическими структурами. Их функция – защита интересов человека и общества от посягательств со стороны госу-

Политика как «рынок» и «театр»

дарства и других политических сил, сдерживание, а, если возможно, ограничение государственного экспансионизма.

Позицию гражданского активиста точнее всего можно было бы охарактеризовать с помощью такого понятия, как *аутсайдер*. Как и обыватель, он практически лишен политической власти – и однако же не чувствует себя безвластным и беспомощным. Он стоит как бы *вне* властных отношений, *вне* государства и политических групп, глядя на них *со стороны* и не делая принципиальных априорных различий ни между верхами и низами, ни между левыми и правыми, ни между властями предрежащими и оппозиционерами.

Отсюда и политическая оптика гражданских активистов. Для них не существует «государственного интереса», они – принципиальные антидержавники. Человек, гражданское общество – вот призма, через которую они смотрят на политический мир. При этом они видят не его фрагменты, непосредственно затрагивающие их личное существование, и не общую систему политических отношений, а конкретные гуманитарные проблемы, имеющие отношение либо к обществу, в котором живут, либо к человечеству в целом. Но «вписать» эти проблемы в политический контекст гражданские активисты даже и не пытаются, ибо проявляют по отношению к нему слепоту.

13. *Государственный служащий (чиновник, бюрократ)*. К этой группе принадлежат тысячи, а в крупных странах – миллионы людей, работающих в многочисленных министерствах, управлениях, комитетах, аппаратах и т.п. Чиновники представляют собой связующее звено, с одной стороны, между различными блоками государственного механизма, с другой – между государством и обществом. Их функция – защита государственного интереса, как он сформулирован в соответствующих документах и указаниях руководства, соучастие в практической реализации принятых верхами решений.

Чиновник – обладатель делегированной официальной власти. Она может быть большей или меньшей, но она есть у чиновника всегда. Официальный характер этой власти обязывает его быть центристом, строго следовать заданной руководством линии, не отклоняясь от нее ни влево, ни вправо. Как лица, причастные власти, чиновники взирают на политический мир *сверху вниз*, хотя и с разной высоты. Однако в отличие от правителя чиновник смотрит на этот мир *через призму заданной административной задачи* – как правило, узкой и конкретной. Поэтому, стоя рядом с правителем или находясь от него на сравнительно небольшой дистанции, он видит мир не так, как его патрон.

Служащий – *формалист* по своей сути (что хорошо показал Маркс в работе «К критике гегелевской “Философии права”»), жи-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

вая политическая жизнь скрыта от него за параграфами и статьями законов, указов, постановлений, предписаний. И это естественно для чиновничьего глаза. Или – скажем так – для глаза любого нормального человека, который бы оказался на его месте. Нелепо требовать от государственного служащего, чтобы он подошел к решаемому им вопросу «неформально, по-человечески», «вошел в положение» просителя. Для этого ему надо было бы изменить оптику, а чтобы изменить оптику, он должен был бы перестать быть государственным служащим.

14. Итак, пребывание граждан в разных точках политоида предопределяет *неодинаковое видение* ими политического мира, в котором они живут, а значит, и неодинаковое его понимание и отношение к нему. Конечно, описанный выше оптический релятивизм сам относителен: разные политические оптики в чем-то совпадают друг с другом. В противном случае общение, взаимопонимание и сотрудничество различных индивидов и групп, достижение политического консенсуса между ними были бы невозможны. Однако дифференцированная локализация акторов в политическом пространстве ставит *естественные пределы* такому совпадению. Обыватели, находящиеся в нулевой точке властной вертикали, не в состоянии понять тех, кто находится на ее вершине, они не могут мыслить государственными категориями. В свою очередь правители, генералы, директора не в состоянии «влезть в шкуру» обывателя. Чиновники видят мир иначе, чем руководители-отраслевники. А политические активисты, ангажированные партиями, взирают на все через свои сектантские «очки»...

Даже в условиях тоталитарного общества, где принципиально отрицается право Другой оптики на существование и где работают мощные нивелировочные механизмы в виде разного рода «Министерств правды», эта Другая оптика существует в латентной форме. И сразу же заявляет о себе – знаем по собственному опыту, – как только разрываются идеологические и политические обручи, стягивающие тоталитарный социум.

Значит, и *консенсус по тем или иным политическим вопросам имеет в каждый данный момент естественные пределы*. При этом его масштабы могут быть разными. По одним вопросам можно достичь общенационального согласия, по другим – локального, а по каким-то вопросам консенсус может оказаться в данных условиях вообще недостижимым.

Исследования в области политической культуры демократии [17] показывают, что она нуждается в *сосуществовании разных политических оптик*. Тотальный консенсус по всем политическим вопросам (идеал тоталитаризма) может оказаться столь же губительным для

Политика как «рынок» и «театр»

общества, как и полное или почти полное отсутствие консенсуса. И не только потому, что достижение «всеобщего согласия» немыслимо без насилия, но также и потому, что демократия немыслима без оппозиции, а оппозиция невозможна без Иного видения мира.

1. Laponce J. Left and Right. The Topography of Political Perceptions. Toronto; Buffalo; L., 1981.
2. Stokes D. Spatial Models of Party Competition // American Political Science Review. 1963. P.368-377.
3. Rosenthal H., Sen S. Spatial Voting Models for the French Fifth Republic // American Political Science Review. 1977. P. 1447–1466.
4. Бурдые П. Социология политики. М., 1993.
5. Гордон Л., Назимова А. Перестройка: возможны варианты? // Коммунист. 1989. № 13.
6. Петренко В., Митина О. Семантическое пространство политических партий России // Психологический журнал. 1991. № 6.
7. Венгеров А. Политическое пространство и политическое время // Общественные науки и современность. 1992. № 6.
8. Ямпольский М. Жест палача, оратора, актера // Ad Marginem'93. Ежегодник. М., 1994.
9. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. М., 1965.
10. Баталов Э. Архитектура несвободы // Архитектура СССР. 1990. Сент.—окт.
11. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
12. Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
13. Раушенбах Б. Восприятие и перспективные изображения пространства // Искусство и точные науки. М., 1979.
14. Платон. Политик.
15. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
16. Парламенты мира. М., 1991.
17. Баталов Э. Политическая культура современного американского общества. М., 1990.

СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ, КУЛЬТУРА

Социальное пространство свободной мысли*

Маятник свободы

Пройдет время, и о начале 90-х годов, возможно, будут вспоминать с ностальгией, как об одной из вершин интеллектуальной и духовной свободы в России XX века. А быть может, и как об очередном историческом шансе, упущенном реформаторами...

Свободомыслие существует в любом обществе, даже при тоталитаризме. Но там оно укрывается в мелких расщелинах, образующихся в результате постепенной эрозии тоталитарного монолита. Нам знакомы эти странные «щели»: московская кухня, где можно пошептать с домашними и друзьями; кружок единомышленников; для некоторых – «зона». Смелчаки выходят на площадь, чтобы открыто сказать то, что считают правдой. Но их очень мало, кристаллизующееся вокруг них пространство свободомыслия слишком узко, за редким исключением (А. Сахаров, А. Солженицын, А. Амальрик и др.) они скорее оттеняют ограниченность и отчасти ущербность свободной мысли в условиях диктатуры.

Но наступает время, когда социокультурное пространство свободы существенно расширяет свои границы. Рушится прежняя система продиктованных норм и запретов, и перед многими людьми открывается возможность поступать по собственной воле и разумению, тем самым целенаправленно воздействуя на траекторию, темпы и формы движения общества, на собственное бытие.

Такие моменты истории могут возникнуть в результате эволюционного перелива одной социополитической системы в другую, сопровождающегося духовно-интеллектуальной либерализацией. Расширение границ свободы и обустройство в ее новых просторах происходит при этом сравнительно плавно. Старые ценности и нормы, прежняя культура, в том числе политическая, вытесняются новыми постепенно, так что большая часть граждан, которым выпадает жить на стыке двух эпох, успевает адаптироваться к новым условиям. Именно таким путем шло становление свободы и демократии в Англии и ее доминионах, в Скандинавии и в Соединенных Штатах. По своеобразному пути эволюционной трансформации,

* Свободная мысль. 1993. № 10. С. 3–16.

дозируя и регулируя пространство свободы, пытается идти и ряд стран Юго-Восточной Азии.

Иная ситуация возникает в результате социально-революционного взрыва. Рушатся не только старые политические и экономические порядки. Рассыпается в одночасье вся система регуляции человеческого существования, воплощенная в правовых и нравственных нормах, обычаях, стереотипах поведения и т. п. Возникает ситуация, как сказали бы теперь, «беспредела», когда грань между свободой и произволом оказывается зыбкой, легко проницаемой или просто призрачной. В таких условиях обустройство социокультурного пространства свободы становится трудноразрешимой проблемой, а многие люди оказываются, по выражению экзистенциалистов, в «пограничной ситуации». И хотя со временем положение стабилизируется, его последствия окажутся не совсем такими или даже совсем не такими, какими они могли бы быть при иных обстоятельствах и какие хотели бы видеть те, кто боролся за свободу.

Революционным путем шли многие европейские государства – в частности, Франция. Этот путь выпал и на долю России. Она вступила на него в 17-м году и продолжила три четверти века спустя. Всего за несколько лет ситуация в стране изменилась радикальным образом. Нет больше самодержавной коммунистической партии и навязанного охранительного единомыслия. Как будто нет и цензуры. В очередной раз сменил кожу КГБ, и мы уже не чувствуем постоянно на себе пристальный взгляд Старшего Брата, хотя и понимаем, что он продолжает поглядывать и подслушивать из-за кулис. А в итоге...

В итоге мы становимся свидетелями очередной российской драмы. Обретя возможность мыслить и действовать свободно, многие россияне растерялись. Слишком уж непривычной, обескураживающей оказалась реальность. Ход событий застал нас, как всегда, врасплох. Причем дважды.

До середины 80-х годов, когда Горбачев пришел к власти, даже весьма дальновидные политики не смели и подумать, что к концу десятилетия система, которая казалась столь незыблемой и которую они надеялись лишь как-то либерализовать (придать ей «человеческое лицо»), что эта система на наших глазах развалится на куски. Мало кто оказался готов к такой перспективе.

Второй раз история «обманула» нас осенью 91-го. Тогда, после легкой и казавшейся необратимой «августовской победы», многие ждали, что возрождение страны пойдет быстро и красиво. В сущности, ждали чуда. Такое бывало в России и прежде. В 17-м году («Вот раздавим помещиков и капиталистов...» и альтернативное: «Вот прогоним большевиков...»). В 45-м («Вот кончится война...»). В 56-м («Вот сбросим цепи сталинизма...»). Тогда, осенью 91-го,

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

чудилось, что наконец распахнуты врата в царство свободы и демократии. Но чуда не случилось. И сегодня некоторые из тех, кто разоблачал козни Лубянки, вместе с отставным генералом от КГБ А. Стерлиговым и «народным бунтарем» В. Анпиловым ратуют за свержение «оккупационного режима Ельцина».

Подобную метаморфозу претерпели, увы, многие тысячи россиян, не понимающих, что помимо ошибок вождей, искривляющих демократический процесс, существует объективная логика трансформации сложных социальных систем, которую не в состоянии опровергнуть даже самый благонамеренный лидер. Логика, предполагающая длительный, противоречивый, в чем-то неизбежно трагический путь от тоталитаризма к демократии.

Трудности, с которыми приходится сталкиваться бывшим советским людям, отнюдь не сводятся к их психологической «неготовности к свободе». Сегодня нам открывается страшная «тайна»: в массе своей мы не умеем мыслить свободно. Имманентно присущая нормальному человеку способность свободомыслия у нас нередко атрофирована.

Граждан воображаемого Единого Государства, описанного Евгением Замятиным в его знаменитом романе-антиутопии «Мы», «излечивали от фантазии» путем трехкратного «прижигания» головного мозга. В реальном тоталитарном обществе подобная идеологическая трепанация совершается повседневно. Результат – налицо. У многих, не исключая и демократов, выявляется стойкий рефлекс; хочет спеть – а из груди вырывается хрип, стон, крик, мат. Хочет протянуть собеседнику руку – а ладонь сжимается в кулак...

Свобода личности – способ существования

Свободомыслие – «привилегия» внутренне раскрепощенного человека, живущего в правовом обществе. Она не внедряется внешними силами в сознание и подсознание индивида, не навязывается ему под дулом пистолета, но естественным образом продуцируется самим субъектом в процессе взаимодействия с окружающей средой. В этом смысле, свободная мысль – самостоятельная, пусть даже достаточно банальная мысль.

Свободная мысль диалогична. Она выкристаллизовывается в процессе спонтанного общения с другими субъектами, с культурой, с природой, с самим собой, как отстраненным альтер эго. (Это, кстати, прекрасно показывает Платон: каждый участник его диалогов – это и он сам, и его равноправный собеседник, и альтер эго всех других участников платоновских интеллектуальных «пиров».)

Свободомыслие характеризует онтологический статус жизнеспособной общности, автономным элементом которой является индивид. Свобода – способ существования. Я свободен тогда, когда общаюсь со свободными людьми, ибо, как утверждал Сартр, моя свобода предполагает свободу других. Индивид как бы обменивается с ними своей свободой, дополняя, расширяя, корректируя ее благодаря их свободе, но при этом испытывая подобное же воздействие и с их стороны.

Свободная мысль не признает предписанных ей свыше пределов. Другое дело, что в дисциплинированном, нравственно ориентированном сознании рефлексия идет рука об руку с саморефлексией, с постоянной оценкой мыслимого как нравственно допустимого или недопустимого, «немыслимого». Истинная нравственность вообще начинается там, где что-то не делается не вследствие его принудительной недопустимости (запрета даже мыслить об этом), но вследствие осознания недопустимости содеяния помысленного. Таким образом, свободная мысль всегда упирается в какие-то культурные пределы, а пространство ее существования всегда очерчено определенными историческими рамками.

Наша неспособность мыслить свободно вызвана, конечно, не только психическими увечьями, нанесенными нам государством, и шоком от неожиданного столкновения со свободой. Социальное и политическое пространство, в которое заброшен российский гражданин, вообще плохо приспособлено для свободной личности.

То и другое возможно лишь в контексте гражданского общества, центром, осью которого является не государство, но человек, личность, сообщество равноправных граждан. Тоталитаризм целенаправленно разрушал даже слабые ростки гражданского общества. Он преуспел в том, о чем мечтал герой повести А. Платонова «Город Градов» большевик Шмаков, – в «обезличении человека с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». Этот обезличенный человек – «новый советский человек», появлением на свет которого так гордилась наша официальная пропаганда, все еще с нами, среди нас.

Свободомыслием обладает субъект, способный к самостоятельному культурному существованию. Но последнее дается как функция социального положения, обеспечивающего материальную независимость от государства, уверенность в своем будущем, в своем призвании. Не случайно дух свободомыслия овладевал в России XVIII-XIX веков прежде всего дворянством, а затем лицами свободных профессий, представителями демократически настроенной интеллигенции. У нас же корни свободной мысли изначально подру-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

бались тотальным превращением всех граждан в верноподданных государственных служащих. (Недавно, перелистывая книгу воспоминаний высокопоставленного чиновника уже горбачевских времен, наткнулся на любопытное признание: «Размышляя о превратностях жизни служивого человека, о необходимости кривить душой (это приходилось делать не так уж редко), лукавить, повторять чужую ложь, я, – пишет мемуарист, – сформулировал для себя печальный вывод: «Не может претендовать на интеллектуальную свободу человек, живущий на зарплату».)

Еще один тормоз на пути свободомыслия в новой России – полуразрушенный русский язык. На протяжении десятилетий он подвергался систематической целенаправленной репрессии со стороны господствующего режима. Его выхолащивали и клишировали. Одни слова и сочетания вовсе изгонялись из повседневного употребления или отодвигались на далекую периферию: «милосердие», «сострадание», «благотворительность» и т. п. Другие выносились, как пена, на поверхность: «соцсоревнование», «норма», «враги», «светлое будущее». Третьи подвергались спецобработке и получали официальную интерпретацию, отклонение от которой расценивалось как идеологический «побег»: «капитализм», «социализм», «коммунизм», «эксплуатация», «освобождение трудящихся», «народ», «правда». По этим и только по этим коридорам могла двигаться наша мысль, мысль миллионов – единая и общая, и потому – навязанная, чуждая. И это определяло не только ее внешнюю оболочку, но и само содержание.

Большевизированный русский язык однозначно ориентировал на стадное (именно стадное, не коллективное) существование, на бескомпромиссную борьбу до победного конца. От десятилетия к десятилетию мы «все теснее сплачивали свои ряды». Мы «все как один», «единодушно» осуждали сначала «врагов народа», а потом «жалких отщепенцев» – Пастернака, Солженицына, Сахарова... Мы не просто собирали урожай – мы вели «битву за хлеб». Мы гордились своими «завоеваниями». Мы сражались на «идеологическом фронте», уничтожали «врага», который «не сдавался», равно как и своих, если они «сдавались врагу», неважно при каких обстоятельствах.

В этом «упакованном» словесном мире, к сожалению, продолжаем мы все еще жить и по сей день. Он, правда, уже несколько размыт новыми ветрами. Но это касается в большей мере самого тоталитарного волапука, фабриковавшегося средствами массовой пропаганды, по существу, заменившими собой средства массовой информации. А вот изуверченный русский язык пока еще жив. Он привязывает наше мышление (и поведение) к старым стереотипам, не позволяет высказать то, что стучится в душу и просится наружу, но так и погибает

ет, не найдя словесной материи для самореализации, или, что еще хуже, получает извращенное выражение. Больше того, на смену тоталитарному волапоку приходит «демократический новояз».

Деформирован, увы, не только язык. Деформирована, репрессирована структура мировосприятия, его «органы»: глаз, ухо, художественный вкус. Мы по-прежнему не видим многих красок (выделяя преимущественно контрастирующие тона), не слышим многих звуков. Это и неудивительно: мы были запрограммированы на видение и слышание, призванные предотвратить в зародыше вольнодумство и инакомыслие, способность к самостоятельному, нетривиальному, «отклоняющемуся» мышлению.

Сегодня, пытаюсь отыскать ответ на вопрос, как преодолеть интеллектуально-духовный кризис, поразивший наше общество, пожалуй, с еще большей силой, нежели кризис экономический и политический, мы должны отдавать себе ясный отчет в том, что пока не произойдут фундаментальные изменения во всем контексте мыслительной деятельности человека, пока не будет раскрепощен психический аппарат его мировосприятия – до тех пор в стране не будет существовать адекватного свободомыслию социокультурного пространства. А это значит, что и сама свободная мысль будет оставаться зыбкой, ограниченной, условной.

В плену социальной мифологии

Наша массовая неподготовленность к свободомыслию заставляет наряду с другими мотивами весьма настороженно отнестись к призывам некоторых представителей новой власти к «заполнению» образовавшегося идейно-ценностного вакуума заимствованными у Запада и доморощенными либеральными ценностями и «измами». А затем, в духе лучших агитпроповских традиций, заняться их внедрением в головы растерянных россиян. Словом, дать народу новую путеводную звезду, поставить перед ним новые «исторические задачи», сплотить вокруг передовых сил и т. п.

Предпринять такие шаги, объясняют нам, тем более необходимо, что процесс идейного «обустройства» в России идет полным ходом. Церковь, массовые организации и движения, включая национал-патриотические и неокommунистические, включились в дело весьма активно, а «товар», которым они заполняют рынок, может, дескать, снова сбить россиян с «истинного пути».

Спешить, уверяют нас, надо еще и потому, что скоро пространство свободы снова начнет сужаться, пойдет отвердевание пока еще пластичных структур. Тогда изменить наметившиеся тенденции,

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

повлиять радикальным образом на сознание и политическую ориентацию граждан будет гораздо труднее, нежели сегодня. В этих суждениях – немалая доля истины: на наших глазах рождается новая постсоветская социальная мифология.

Коммунистическая пропаганда использовала понятие «миф» как метафору, как синоним идейного шулерства, сознательной подтасовки фактов с целью обмана людей. («Еще один миф буржуазной идеологии»...) Теперь же идет речь о социальном мифе в прямом значении этого слова. А именно как о типе социального сознания, форме духовного освоения реального мира, пронесенной человеком, хотя и в рационализированном виде, через всю свою историю.

В мифе как продукте спонтанного коллективного творчества (внедряемого, впрочем, видимыми и невидимыми властными силами) размыты грани между истинным и иллюзорным, объективным и субъективным, естественным и сверхъестественным, частным и всеобщим. В нем разрешены противоречия, над которыми в реальной жизни бьется разум. Миф как бы удваивает мир существования человека: мы живем одновременно и в реальном, и в ирреальном мире. Причем последний может восприниматься массой – в чем убеждает опыт советского коммунизма и германского национал-социализма – как более подлинный и истинный, чем мир реального бытия.

Чем были знакомые нам с детства герои Октябрьской революции, гражданской войны и первых пятилеток (стахановцы, папанинцы, позднее – космонавты); чем был сам Сталин, как не мифическими героями, стоящими к нам ближе, чем Геракл или Зевс для античных греков? Чем было «учение о социализме и коммунизме», как не модернизированным мифом о сотворении нового мира. Мифологизации подверглось и наше историческое прошлое – правда, там наряду с богами и народными героями действовали злые демоны.

Сегодня старые мифы разрушены или полуразрушены. Но их место занимает новая социальная мифология. Миф о социализме и коммунизме вытесняется мифом о рынке и демократии. Их фантастические образы, витающие над Россией, имеют мало общего с конкретной, жесткой, в одних условиях – эффективной, в других – нет, противоречивой системой отношений, ценностей, механизмов, какой в действительности является реальная демократия на Западе.

Нечто похожее происходит и с «капитализмом». Только теперь, познакомившись с настоящим капиталистическим (воспользуемся за неимением лучшего этим устоявшимся определением) обществом, советские граждане открывают для себя, как далеки от реальности были его образы, формировавшиеся в недавнем прошлом нашими газетами, журналами, кино, «научными» трактата-

ми. Но ведь не менее далеки от истины и новые образы «капиталистического общества» – теперь уже выдержанные в розово-сусальных, лубочных тонах.

В одном блоке с перечисленными формируется и миф о «Западе» как социокультурной и геополитической реальности, в которую нам так хотелось бы интегрироваться и которая служит для нас символом благотворного прогресса, рациональности, процветания, жизненной благоустроенности и т. п. В общем, вчера «Запад» был исчадием ада, сегодня он – земля обетованная.

Или взять российскую историю. Полистаем журналы и газеты, сходим в кино, посмотрим телевизор. Оказывается, Россия, «которую мы потеряли», была чуть ли не раем земным: прилежные пейзажи, широко-мыслящие промышленники, сплошные меценаты, верные слову купцы. А какое дворянство! Какие славные мещане! Какие политики состояли при дворе его Императорского Величества! Непонятно только, как в такой стране могла произойти революция – да не одна! – и откуда нахлынули те многомиллионные массы, которые пошли крушить все это добро, насиловать, истязать, расстреливать...

Мифологизации подвергается и недавнее советское прошлое. Теперь все чаще можно прочесть и услышать, что «при Брежнев» (а уж тем более «при Сталине»: отец ведь родной!) в стране царили закон и порядок, стабильность была непревзойденная, магазинные полки ломились от товара. А все соседи по планете относились к нам с таким уважением и почтением, что ни в сказке сказать... То, что уже с 70-х годов советская экономика вползала в кризис, а провинция жила по «талонам»; что права человека были для нас фикцией; что мировое сообщество не уважало, а боялось нас, как вооруженного до зубов динозавра с ядерной бомбой, – все это отступает на задний план, вытесняется из нашего сознания. В общем, идет нормальный процесс становления мифа о перестроечном Советском Союзе как утраченном Золотом веке.

Одновременно с формированием новой мифологии идет и возрождение утопии. Загнанное было в подполье целой армией невест откуда явившихся разоблачителей, набросившихся на нее (чуть ли не как на главную виновницу всех наших бед) в годы перестройки, утопическое сознание все смелее выходит на поверхность. Тем более что складывающаяся в стране ситуация благоприятствует этому как нельзя лучше.

Когда-то Федор Достоевский, размышляя о снах своих героев, писал: «Сны, кажется, стремится не рассудок, а желание... Перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце».

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

Здесь точно раскрыта суть утопизма – пусть на уровне метафоры: сознательная или неосознанная установка на произвольное конструирование социального идеала. Утопист строит свой проект умозрительным путем. Он руководствуется не императивами истории, не известными ему законами бытия и творчества, ограничивающими продуктивное воображение строгими рамками, но прежде всего велениями воли и сердца. Особенно когда реальность кажется ужасной и хочется укрыться от нее в каком-нибудь Золотом веке.

Как писал А.Ф. Лосев, характеризуя истоки утопизма Платона, великому мыслителю было «совершенно не за что ухватиться ни в общественной, ни в политической жизни... приходилось использовать ту область человеческого сознания, которая всегда приходит на выручку в моменты великих социальных катастроф. Эта область – мечта, фантазия, новый – и уже рационализированный – миф, утопия. В самом деле, куда было деваться такому человеку, как Платон, с его социально-политическим критицизмом, с обостренным чувством негодности современных порядков, при полном неведении будущих судеб своего народа и одновременно жажде немедленного переустройства всей жизни? Оставались только мечта и утопия. Оставался идеализм» [А.Ф. Лосев. Жизненный и творческий путь Платона // Платон. Сочинения. Т. 1. М., 1968. С. 24–25].

И хотя сегодня на российском небосклоне не просматривается фигур, даже близко подходящих к Платону, это не меняет сути дела. Масштаб иной, но тип мышления, тип реакции на социальную катастрофу тот же: бегство в утопию. Впрочем, кто знает, быть может, нынешние метания российского ума открывают новую эпоху идеализма, когда антропологическое и антропоцентрическое видение мира оттеснит на задний план онтологию и гносеологию как определяющие русла мировосприятия. А утопия как явление амбивалентное окажется не только формой бегства от реального бытия, но и способом прорыва в будущее, поиска новых измерений социума, скрытых от обыденного сознания под покровом рациональности (как это было в эпоху Возрождения), становления освобожденного от репрессии языка.

Но это в лучшем случае – дело будущего. А пока возрождение утопического сознания (хотя и в иных, чем прежде, воплощениях) свидетельствует лишь о болезненном состоянии российского общества. Правда, до цельных утопических проектов, тем более проектов официальных, скрепленных автографами земных небожителей («нынешнее поколение россиян будет жить при капитализме!»), дело пока не дошло. Однако, взглядевшись в программы, декларации, платформы и т. п. многочисленных партий, союзов, фронтов, наводнивших Россию, легко обнаруживаешь в них утопические эле-

менты. У одних – обещание скорого возрождения Советского Союза и социалистического строя, осчастливливающего граждан трехрублевой колбасой и прочими прелестями «развитого социализма». Другие утверждают, что пройдет совсем немного времени и Россия, влившись в «семью цивилизованных народов», встанет по уровню национального развития и благосостояния граждан вровень с такими странами, как США, Германия, Швеция. Третьи уверяют, что евразийская Россия в скором будущем поведет за собой человечество: впереди «эра Водолея»!

Можно ожидать, что многие из нарождающихся мифов и утопий вплетутся в ткань новых идеологий. Кое-кто из интеллектуалов всерьез занят «сваркой» идеологических конструкций, которые станут мощным оружием в политической борьбе. Их контуры просматриваются уже сегодня.

Мы наверняка будем иметь идеологию либерального типа, ориентированную на рынок, индивидуализм, частную собственность, общечеловеческие ценности, внешнеполитический интеграционизм и несущую на себе печать как интеллектуальных достижений «цивилизованных народов», так и российской западнической традиции.

Мы получим также национал-патриотическую, возможно, с православным оттенком, идеологию, делающую акцент на общинно-коллективистские ценности, уникальность России, державность и традицию славянофильства.

Нет уже сомнений и в том, что Россия находится накануне возрождения социалистических идеологий в их большевистской и социал-демократической версиях.

Это – ядро. А *ad marginem* будет, наверное, циркулировать еще немало мини-идеологий крайнего толка – легальных, полулегальных, а то и вовсе нелегальных, способных «забрызгать» в свои не очень плотные ряды какое-то количество голов, жаждущих получить простые ответы на сложные вопросы бытия и почувствовать на своем плече тяжелую руку «лидера» или «хозяина».

Идеология как светская религия

Так не поспешить ли нашим сторонникам реформ взять под свой контроль идеологический процесс в стране и направить его (во имя свободы и демократии, конечно!) по желаемому руслу? Не объявить ли крестовый поход против «чуждых подрывных идеологий» – тем более что идеология как таковая, по справедливому замечанию философа, «разрушает поле кристаллизации мысли», «не дает думать и не дает сказать»?

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

Нет, это не выход, И наш собственный исторический опыт, и опыт мировой согласно свидетельствуют: ориентация на подавление инакомыслия, на создание мнимо деидеологизированного, демифологизированного, деутопизированного общества заключает в себе репрессивное, антигуманное начало.

Антропологическое представление о современном человеке как о *Homo Sapiens* не может скрыть от нас то обстоятельство, что он был и остается существом рационально-иррациональным. Он удивительным образом сочетает в себе стремление к властвованию в процессе общения с другими людьми (политика), жажду постижения чистых истин о космосе, земном мире и о самом себе (наука) и потребность в таких ментальных конструкциях, которые служили бы ему надежной защитой его партикулярного интереса, права на власть и место в этом мире (идеология). Отсеките какую-то из этих потребностей – и вы нарушите хрупкий баланс, определяющий устойчивость фундамента экологии личности. Собственно говоря, тот социальный тип («социальный характер», по определению Э. Фромма), который нашел воплощение в так называемом советском человеке, как раз и явился продуктом нарушения этого баланса. Правда, то было нарушение в пользу идеологии. Но и нарушение в пользу «науки» (сциентизм) и/или «политики» (популизм) привело бы к не менее пагубным результатам.

Ни об одной из нынешних демократий, будь то Франция, Великобритания или США, нельзя сказать, что они деидеологизированы. Чего в этих странах действительно нет, так это официально навязываемых государственных идеологий. Напротив, в них преобладает атмосфера интеллектуально-культурного плюрализма и соперничества противостоящих течений и школ. А единственное основание для санкций – несоответствие действующему законодательству.

Еще одно наряду с плюрализмом эффективное средство защиты от тирании идеологии и превращенных форм общественного сознания – умение занять четкую рефлексивную позицию по отношению к интеллектуальным продуктам. Важно, чтобы все утопии, мифы, идеологии воспринимались не как очередное «ценное указание», которым надлежит неукоснительно руководствоваться в повседневной деятельности, не как откровение, которое интеллектуальная элита обязана распространять, а народ – послушно усваивать, но именно как идеи, которые можно принимать или отвергать как неистинные, верить им или не верить и т. п. В общем, дело в том, чтобы научиться жить с утопией, не живя по утопии.

Это совсем не простая для нас задача. Она требует развитого критического, то есть продуктивного сознания. У нас же пока явно преобладает сознание нигилистическое, проникнутое духом разру-

шения и отрицания. Но его не вытеснить искусственным путем. Надо дать поработать времени. А пока заняться решением насущных экономических, социальных, политических проблем.

Говорят, правда, что «гулять на свободе» нам осталось недолго. И что в недалеком будущем нас ожидает более или менее существенное сужение пространства свободы, в том числе и в сфере мысли. Такая возможность представляется вполне реальной. Однако не стоит драматизировать грядущие процессы. Сужение пространства свободы – один из естественных моментов его периодической «пульсации». Раздвинув на определенном этапе свои границы и предоставив субъекту возможность осуществить серьезные преобразования контекста его существования, это пространство начинает через какое-то время сжиматься, снова ставя человека в более жесткие рамки.

Этот процесс может иметь место в результате глубокого провала проводимых реформ и порожденного им хаоса, на смену которому приходит диктатура либо самих реформаторов-якобинцев, либо их противников-термидорианцев. Сужение пространства свободы может произойти также в результате стабилизации реформируемого общества, когда на смену разрушенной приходит новая система со своими нормами, границами, запретами. Не стоит забывать, что «открытость» демократического общества – понятие относительное. Ведь демократия, как и всякий политический строй, способна нормально функционировать лишь в ограниченном пространстве: ограниченном не только геополитическими рубежами, но и системой работающих законов и принципов права, нравственными нормами, нравами и обычаями, а также другими механизмами сдерживания.

Вопрос, следовательно, не в том, как вообще не допустить сужения пространства свободы, а как предотвратить его сжатие до неоправданно малых величин, когда для свободно мыслящих людей просто не останется места и они окажутся либо загнанными в «щели», либо репрессированными, либо вынужденными эмигрировать, то есть стать отверженными «инакомыслящими».

Вероятность подобного исхода в обществе, претерпевающем глубокие реформы, достаточно велика, чтобы говорить об этом всерьез. Расчет на то, что История сузит на данном этапе пространство свободы в более или менее точном соответствии с «объективной необходимостью» и прочими императивами, не основан ни на чем, кроме веры в Объективный разум. На самом же деле История не ведет меры, она слепа и неразумна. Она «работает» не только на человека, но и против него, вынуждая его порой делать то, что с точки зрения человеческого разума – единственно верифицируемой формы рациональности – вступает в противостояние не только с

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

интересами и потребностями человека, но и с логикой его объективного бытия. В то же время попытки ввести ход Истории в рациональные рамки, а проще говоря, осуществить очередной, успешный утопический эксперимент, могут в лучшем случае привести к случайному, частичному, весьма сомнительному во всех отношениях успеху. Гораздо чаще они оканчиваются провалом и дают отрицательный эффект. Зато человек всегда располагает минимумом свободы как выбора формы жертвоприношения. Другими словами, он всегда имеет возможность определить до известных пределов меру сужения пространства свободы и форму его «обустройства».

Но это невозможно сделать ни путем форсированного насыщения общества запрограммированной духовной продукцией, ни тем более путем усиления идеологической деятельности государства, в котором многие радикально-демократически ориентированные политики видят эффективный – и такой для всех россиян привычный! – выход из затруднительной ситуации.

Коварство идеи сильного государства

Нетрудно понять, почему надежды на успешное завершение демократических реформ в стране и защиту свободы, в том числе в интеллектуально-духовной сфере, связываются многими демократами прежде всего с деятельностью государства – в первую очередь президента, правительства и других исполнительных структур.

Россия всегда была страной с сильными этатистскими традициями, а советскому человеку внушали, что он «от колыбельных дней и до могилы» (*Ф. Тютчев*) находится на попечении государства. Впрочем, и сейчас представители государства, которые содержатся на средства налогоплательщиков, а по результатам своей деятельности являются в полном смысле нахлебниками общества, позволяют себе упрекать простых людей в «иждивенческих настроениях». И, как ни странно, многие верят этому, подобно тому как в патриархальном обществе наемный работник наивно полагал, будто хозяин, на которого он работал, и был кормильцем его семьи.

Обратить взоры к государству многих сейчас заставляет и политико-экономическая ситуация, складывающаяся в стране. Центробежные силы, разрывающие Россию на куски, беззаконие и коррупция, реально угрожающие жизни и свободе граждан, побуждают их все настойчивее требовать порядка и сильной власти. А сильная власть, по распространенному убеждению, – это сильное государство. Для нас еще и сильный вождь, хозяин. Портреты Сталина вздымаются над многотысячными митингами не потому, что генералис-

симус был добр, справедлив или гуманен, а потому, что умел заставить «уважать» закон, силу, наводил порядок. Стоит ли удивляться, что сегодня одни и те же люди требуют, чтобы российский президент одновременно применил силу... и гарантировал свободу?

Россия, несомненно, относится к числу стран, которые в силу геополитических, исторических и иных причин пока не могут существовать без сильного, деятельного государства. Однако силу государства нельзя отождествлять с его произволом и бессилием его граждан. Сила государства состоит в способности защищать интересы своего населения, заставить чиновников в центре и местные власти строго соблюдать законы. Надо, чтобы не законопослушные граждане, а преступники и коррумпированные элементы боялись правоохранительных и карательных органов. Граждане также вправе требовать от государства, чтобы оно гарантировало правовые нормы и материальные предпосылки для благосостояния общества и свободы личности. Прежде всего проводило экономическую реформу в интересах большинства населения. Во-вторых, чтобы оно разработало и последовательно осуществляло стратегию поддержки науки, образования и культуры, что делается сегодня во всех демократических странах. Очень важная область государственной деятельности – формирование юридической базы функционирования гражданского общества, разработка и «запуск» законов, надежно защищающих права человека. В этом плане большое значение могла бы иметь выработка демократической конституции, основанной на подлинном, а не декларативном разделении властей, как, впрочем, и других нормативных актов, отвечающих новым социальным реалиям.

Вместе с тем нам следовало бы как можно скорее отказаться от взгляда на государство как якобы главный гарант свободомыслия. Тем более – как на пастыря, призванного одарить общество новыми духовными ценностями, новой, на сей раз демократической идеологией. Дело в том, что государство, независимо от его политической сущности, в принципе не способно быть источником свободомыслия. Государство – управляющая, упорядочивающая система, приводимая в действие бюрократическим аппаратом. Государственным чиновникам нужен не свободный, автономный, самостоятельно мыслящий и, стало быть, склонный постоянно отклоняться от предписанных стандартов, а легко манипулируемый, массовый, предсказуемый в своих реакциях гражданин. Допускается, правда, причем больше на словах, что какой-то мерой свободы и какими-то первичными навыками свободомыслия последний, конечно, должен обладать. Но мера эта слишком мала, чтобы открыть широкий простор для свободного мышления. Впрочем, кому-кому, а россиянам

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

не надо объяснять, что значит жить под прессом предписанной им идеологии, официально санкционированной государством и потому охраняемой карательными органами как «национальное достояние» от всяких посягательств со стороны инакомыслия.

Демократия и государственная идеология не совместимы еще и потому, что последняя неизбежно приобретает официальный статус и в силу этого обстоятельства стремится стать своего рода светской религией, отрицающей веротерпимость. Иначе говоря, к ограничению влияния соперничающих идеологий, то есть к идеологическому монополизму, что противоречит самому духу демократии и свободы, предполагающим множественность позиций, мнений, оценок и т. п.

Вот почему надо не подталкивать государство на путь активного участия в «идеологическом строительстве», а, напротив, всячески удерживать его от подобного соблазна, ограничивать его идеологическую функцию. Даже если речь идет о правовом государстве, управляемом лидерами, демократические ориентации которых, казалось бы, не вызывают сомнений.

История предоставила России еще один шанс «отделить» государство от гражданского общества, изменить отношения зависимости между ними в пользу последнего. Это, конечно, не простая задача – особенно в эпоху, когда рост государственного экспансионизма принял характер глобальной тенденции, и особенно в России. Но если демократически ориентированные силы не воспользуются этим шансом, если мы снова кинемся – во имя прогресса, разумеется, – в удушающие объятия государства, то все разговоры о правах человека, свободе личности и свободомыслии скоро снова превратятся в такое же лицемерие, каким они были у нас на протяжении трех четвертей века.

Есть ли панацея от диктатуры?

Но если не государство, то кто же тогда способен осуществить демократическое обустройство социального пространства свободы, выступить в роли гаранта свободомыслия? В такой стране, как Россия, взор опять обращается в сторону уникального социального феномена – интеллигенции.

Речь идет об «особой общественной силе» (*Н. Михайловский*), «идейно-политической силе в русском историческом развитии», социальном «чувствилище» (*П. Струве*), рекрутируемом практически из всех общественных групп и занимающем, говоря словами того же Петра Струве, позицию «безрелигиозного» «противогосударственного отщепенства».

Именно это богоборчество, эта враждебность, скрытая и открытая, официальным властям (не обязательно, впрочем, выливавшаяся в отрицание самой идеи государственности) определила авангардное место интеллигенции в русском освободительном движении. Она пробуждала общественное сознание, выставляла на суд нравственности деятельность властей предрежащих, «бунтовала» народ, видя во всем этом свое общественное призвание, свою юридическую «миссию».

Вклад интеллигенции в русскую, в том числе большевистскую, революцию трудно переоценить. Но ее оппозиционность государству и церкви при одновременной отчужденности и отдаленности от «народа», по отношению к которому она всегда стремилась играть роль поводыря, ослабляла конструктивный потенциал интеллигенции, в том числе и в духовно-интеллектуальной сфере.

Большевики, реставрировав в процессе утверждения послеоктябрьских порядков самодержавие, «реставрировали» интеллигенцию, хотя делали все возможное для вытеснения ее рационально мыслящими профессионалами (в пределах своей области) с атрофированными совестью и чувством социального долга. Тоталитарный режим поставил интеллигенцию в трудное положение, вынудил ее изменить характер своей оппозиционности, принявшей в основном скрытый характер. Тем не менее интеллигенция выжила «как некая особая культурная категория» (*П. Струве*). Больше того, именно она в союзе с либерально ориентированной частью интеллектуальной элиты (включавшей просвещенных представителей номенклатуры) подготовила в идейном и духовном плане горбачевскую перестройку и последующие реформы. Сегодня среди российской интеллигенции идет размежевание и раскол. Кто-то из тех, кто приближал свободу, покинул навсегда этот бранный мир. Кто-то ушел во внутреннюю эмиграцию, решив, когда дело дошло, наконец, до реальной политики, не влезать в «эту грязь». Кто-то покинул пределы России в нервном ожидании правого переворота или «мещанском» (то есть вполне для человека естественном) стремлении уже сегодня «жить как люди». Кто-то, разочаровавшись в возрождаемой русской «демократии» и сохраняя верность антиофициальной традиции, примкнул к различным движениям, выступающим против новой власти. Но немалая часть интеллигенции продолжила борьбу за построение – именно «борьбу» и именно за «построение» – «подлинно демократического» будущего.

При этом и многие представители интеллигенции не только выступили в поддержку нового режима, но и вошли с ним в альянс (кто только не пребывал в бесчисленных президентских «советах» и прочих околосударственных органах!). И дело тут не только в

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

амбициях и карьерных ориентациях, которые – поскреби только! – и найдешь у многих нынешних интеллигентов. Их подчас подобострастное отношение к власти имущим, роняющее их престиж среди населения, в значительной мере объясняется тем, что интеллигенция увидела в новых властителях силу, посулившую ей свою готовность всерьез прислушаться к ее (интеллигенции) голосу и воплотить через государственные механизмы в жизнь ее идеалы свободы, добра, демократии. В этом и одна из главных причин, почему многие интеллигенты активно ратуют за усиление идеологической роли государства (прежде всего исполнительных структур во главе с президентом) и форсированное насыщение социально-культурного пространства, новыми государственными идеологемами. Больше того, иные даже уповают на диктатуру какого-нибудь «просвещенного и демократичного» российского Пиночета!

Однако, войдя в союз с властями и давая им интеллектуальную подпитку, а тем самым укрепляя государство, сама интеллигенция сильнее от этого не становится. Государство готово в любой момент разорвать наметившийся альянс, снова поставив ее в положение «отщепенства». Так что нет никаких оснований рассчитывать, что интеллигенция сможет – если необходимо, в борьбе с авторитарными поползновениями «верхов» и консерватизмом «низов» – эффективно отстаивать завоеванную свободу. Для этого у нее нет ни сил, ни объективных возможностей. От кого же в таком случае зависит будущее нашего свободомыслия?

История Европы и Северной Америки, как, впрочем, и ряда азиатских стран, давно дала ответ на этот вопрос. Свобода общества, в том числе свобода мысли, имеет шанс на выживание и закрепление в оптимальных границах в том случае, если в качестве основного ее гаранта выступает само общество. Точнее – гражданское общество как система внесударственных ассоциаций и институтов, спонтанно складывающихся в процессе взаимодействия между автономными гражданами и защищающих их общие интересы. Именно эти ассоциации и институты, включая семью, школу, прессу, церковь, производственные объединения, политические партии и другие общественные организации и движения, играют определяющую роль в формировании свободомыслящего и вместе с тем законопослушного, нравственного гражданина – главного действующего лица свободного демократического общества.

Государство и интеллигенция могут быть активными и продуктивными участниками этого процесса – каждый в своем амплуа. Для них всегда достаточно работы – тем более в переходный период, переживаемый ныне Россией. Но они работают на свободу лишь тогда, когда выступают в роли «пристяжных», помогая граждан-

скому обществу, усиливая его, но не направляя, не подминая под себя, не вытесняя. Освободительные реформы, как подтверждает опыт России, часто стимулируются, иницируются «сверху», со стороны государства. Но растет свобода «снизу» и закрепляется в обществе лишь тогда, когда становится прочной «на уровне корней травы», как образно говорят американцы.

Эластичная экономика и хрупкая свобода

Свобода социума – явление интегральное, она складывается из свободы экономической, политической и интеллектуально-духовной. Между ними нет жестких границ. Но нет и непосредственной взаимодетерминации, так что либерализации в экономике может сопутствовать ограничение свободы в других сферах. Наглядное тому подтверждение – современный Китай: рыночные реформы сопровождаются в этой стране сохранением контроля партии практически во всех областях общественной жизни.

По-иному обстоит дело в России. Если границы свободной мысли раздвинулись здесь весьма широко, то рамки экономической свободы расширились в гораздо меньшей степени. Новые формы собственности, новые экономические отношения только еще начинают зарождаться на российской земле, причем нередко в уродливой форме. Что же касается степени защищенности различных сфер свободы, то здесь картина обратная. Процессы, наметившиеся в экономической области (разгосударствление собственности, формирование многоукладного хозяйства, включающего и частный сектор, становление национального рынка) сегодня уже трудно, а по мнению ряда экономистов, просто невозможно обратить вспять. Так что даже установление в стране диктатуры вряд ли привело бы к свертыванию экономических реформ. Поэтому когда некоторые наши кандидаты в бонапарты и пиночеты уверяют, что в случае своего прихода к власти они будут поддерживать рынок и частную собственность, они, по-видимому, говорят правду. Но правду говорят они, видимо, и тогда, когда обещают возродить авторитарный политический строй. Так что в условиях диктатуры сферы политической и интеллектуально-духовной свободы были бы наверняка урезаны как представляющие для нее прямую опасность и, возможно, вновь доведены до «щельных» размеров. К такому выводу приводит анализ опыта многих стран, включая Чили и Ирак.

Получается, что интеллектуальная и духовная свобода, которую по праву считают одним из главных итогов горбачевской перестройки и ельцинского радикального переворота, до сих пор оста-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

ется непрочной, хрупкой, лишенной весомых гарантий. Для большинства российских жителей, измученных жизненными невзгодами, свободомыслие пока еще не представляет экзистенциальной ценности. И они вряд ли пойдут на баррикады за право мыслить и говорить свободно. И вряд ли пожертвуют даже соблазном материального благополучия ради свободы слова, если бы какой-нибудь «освободитель» России предложил ее гражданам такой выбор – ситуация отнюдь не чисто гипотетическая. Но правда и то, что многие «прагматически мыслящие» интеллектуалы далеки от понимания того, что свободная мысль есть не только экзистенциальная ценность. Как одна из высших форм реализации заложенного в человеке продуктивного потенциала, она есть еще и ценность объективно-материального порядка. Свободомыслие – неотъемлемая предпосылка развития науки как непосредственной производительной силы. В этой связи нелишне напомнить, что именно отсутствие свободы мысли в сфере экономической науки (как, впрочем, всего обществоведения) явилось одной из причин нашей теоретической неподготовленности к проведению радикальной экономической реформы, поразительных по некомпетентности импровизаций нашей экономической политики.

Закрепление социального пространства свободной мысли в оптимальных пределах связано, таким образом, с представлением о ней как неотъемлемом условии всякой свободы вообще. А это может быть только следствием естественно-исторического процесса, как поучал недавний классик. Свободомыслие и соответствующее ему поведение не могут быть воплощены в жизнь никакими декретами и никакими идеологиями; они в исторической перспективе связаны с изменением всего контекста наших нравов и обычаев.

Политическая культура россии сквозь призму *civic culture**

Преодоление Россией общего кризиса, который она переживает последние десять с лишним лет, предполагает устойчивую ориентацию общества на построение в стране демократической системы. Однако та немыслима без адекватной ей политической культуры. «Государственные деятели, стремящиеся создать политическую демократию, часто концентрируют свои усилия на учреждении формального набора демократических правительственных институтов и написании конституции. Они могут сосредоточивать усилия и на формировании политической партии, чтобы стимулировать участие масс. Но для развития стабильного и эффективного демократического правления требуется нечто большее, нежели определенные политические и управленческие структуры. Это развитие зависит от... политической культуры. Если она не способна поддерживать демократическую систему, шансы последней на успех невелики» [1, р. 498]. Эти слова Габриела Алмонда и Сидни Вербы, авторов широко известного исследования «Гражданская культура», стоявших у самых истоков политической культурологии, подтверждает и общественная жизнь современной России. Трудности становления демократии в нашей стране, будь то на структурном или функциональном, федеральном или региональном уровнях, во многом обусловлены именно отсутствием политической культуры демократического типа, ибо и наши политики, и рядовые граждане, и институты нередко действуют – в большинстве случаев неосознанно – в соответствии с императивами политической культуры, корни которой уходят в прошлое.

Конечно, советской политической культуры как целостной парадигмы больше не существует. Но ее распад и замещение новой – процесс длительный и противоречивый. Как будет он протекать, сколько времени займет, зависит по меньшей мере от четырех факторов:

- динамики смены поколений;
- характера политической социализации молодежных групп;
- направления и темпов развития новых экономических и политических отношений в стране;
- целенаправленного формирования политической культуры, соответствующей демократической политической системе.

А существует ли теоретическая модель (модели) такой культуры, и если да, то каковы ее (их) основные параметры? Как мог бы

* Pro et Contra. Т.7. Лето 2002. С. 7–22.

протекать процесс формирования политической культуры демократического типа в нынешнем российском обществе? Эти вопросы заслуживают серьезного рассмотрения. Однако прежде необходимо определить содержание концепта политической культуры, который до сих пор служит предметом дискуссий среди политологов, социологов, культурологов – зарубежных и отечественных.

Понятие и феномен

Прототипы феномена, названного в 50-х годах XX века «политической культурой», были известны еще в античности, а в XIX – начале XX столетия рассматривались в исследованиях, посвященных «национальному характеру». Да и само понятие «политическая культура» явилось на свет не вчера. В русской литературе мы находим его у Ленина, а еще раньше – у русского историка второй половины XIX – начала XX века Владимира Герье. Но первым, кто, как считают, употребил это понятие в конце XVIII столетия, был немецкий просветитель Иоганн Готфрид Гердер⁶².

Однако категориальный статус этот термин получил лишь во второй половине минувшего столетия, когда усилиями ряда исследователей, в первую очередь Габриела Алмонда и Сидни Вербы, а также Люсьена Пая, Уолтера Розенбаума, Денниса Каванаха, Даниэла Элазара, Карла фон Бойме и др., оно было введено в лексикон политической науки.

Примечательно, что толчком к исследованию феномена политической культуры послужило развернувшееся вскоре после окончания Второй мировой войны сравнительное изучение политических систем. Почему, спрашивали компаративисты, одни и те же политические институты и системы работают в разных странах по-разному, а некоторые, будучи перенесенными на другую почву (скажем, из Америки в Азию), не работают вообще? Вывод был однозначным: политические институты и системы функционируют должным образом только тогда, когда встроены в адекватный им культурный контекст, а действующие в их рамках субъекты обладают соответствующими культурными характеристиками.

Понятие «культура» многозначно, его истолковывают по-разному. Широко распространено, особенно в России, представление о культуре как совокупности высших достижений человечества в материальной или духовной сферах, как системе эталонных ценнос-

⁶² Как отмечает Арчи Браун [2, р. 9], первым на это обратил внимание Барнард [3, р. 379–397].

тей. Культура ассоциируется с некой вершиной, до которой надобно дорасти, или с планкой, до которой трудно дотянуться. Отсюда и частые призывы «повысить уровень» политической культуры, «овладеть ее достижениями». Отсюда и наивное представление, будто могут существовать общества, группы или индивиды, у которых вообще отсутствует какая бы то ни было политическая культура.

В современной социологии и политической науке доминирует совсем другая трактовка культуры, в том числе политической. Как, скажем, ставят вопрос Алмонд и Верба? По их словам, «понятие “политическая культура” указывает на специфические политические ориентации – установки (*attitudes*) по отношению к политической системе и ее различным частям и установки по отношению к собственной роли в системе... Это совокупность (*set*) ориентаций по отношению к особой совокупности (*special set*) социальных объектов и процессов» [1, р. 13]. «Когда мы говорим о политической культуре общества, – поясняют далее американские социологи, – мы имеем в виду политическую систему, интернализованную в знании, чувствах и оценках его членов» [1, р. 14].

В том же духе высказывался и другой крупный исследователь, Люсьен Пай, определявший политическую культуру как «совокупность установок, убеждений, чувств, которая задает порядок и придает значение политическому процессу и представляет собой основополагающие допущения и правила, управляющие поведением в политической системе. Она включает в себе как политические идеалы, так и действующие в государстве нормы. Политическая культура есть, таким образом, проявление в агрегированной форме психологических и субъективных измерений политики» [4, р. 218].

Сказано вполне определенно: политическая культура ограничивается сферой субъективно-психического. Что же касается политического поведения, то предполагалось (это опять-таки отчетливо вытекает из формулировки Пая), что оно вполне регулируется «установками, убеждениями и чувствами», зафиксированными политической культурой, и не выходит за их пределы. Но уже вскоре после выхода в свет «Гражданской культуры» и других публикаций, выдержанных в духе бихевиоралистской традиции, которая в то время господствовала в США, исследователи начали выдвигать идею о включении в политическую культуру «образцов» (*patterns*), или устойчивых, репрезентативных моделей поведения индивидов и групп, участвующих в политическом процессе⁶³.

⁶³ Бихевиоризм как направление в психологии не следует смешивать с бихевиорализмом как направлением в политической науке, не опирающимся на бихевиористские принципы.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

Как писал в этой связи польский социолог и политолог Ежи Вятр, «нельзя сводить понятие политической культуры исключительно к психическим состояниям. Нужно включить в него также определенные образцы поведения. Это соответствует общему пониманию культуры, а также той исследовательской интуиции, которая заставляет искать... устойчивые образцы поведения как важнейшие черты культуры, определяющие общественные и политические действия» [5, с. 260–261].

Эта вполне резонная идея принимала в расчет важное обстоятельство: сознание только отчасти фиксирует и контролирует поведение политических субъектов, и потому модели поведения и сознания не всегда совпадают, а последнее представляет собой самостоятельную феноменологическую сферу и самостоятельный предмет исследования.

Таким образом, к концу 80-х – началу 90-х годов в трактовке политической культуры складываются два основных направления. Одно ограничивает этот феномен сферой психического, другое же, наряду с «образцами» политического сознания, включает в него и «образцы» политического поведения людей. Исчерпывается ли тем самым все богатство проявлений культуры в сфере политического? Видимо, нет.

В 1990-м в книге о политической культуре современного американского общества я предложил более широкую интегральную (социетальную) трактовку политической культуры, которую, на мой взгляд, подтверждает политическая жизнь разных обществ [6–7]. Как модели политического поведения группы нельзя вывести из суммы моделей поведения составляющих ее индивидов, так и модели функционирования политической системы и составляющих ее институтов не могут быть выведены из моделей поведения индивидов и групп, действующих в рамках системы. Функционирование этой системы и образующих ее элементов подчиняется собственной внутренней логике и имеет собственные феноменологические проявления (определяемые в том числе действием коллективного бессознательного), которые можно обнаружить путем эмпирического исследования объекта.

Таким образом, если на индивидуальном и групповом уровнях политическая культура выступает как единство культуры политического сознания и поведения, то на уровне социетальном она должна быть дополнена новым интегральным элементом, а именно культурой функционирования политической системы и образующих ее институциональных структур.

Исходя из сказанного, *политическую культуру можно в самой общей форме охарактеризовать как систему исторически сложив-*

шихся, относительно устойчивых репрезентативных («образцовых») убеждений, представлений, установок сознания и моделей («образцов») поведения индивидов и групп, а также моделей функционирования политических институтов и образуемой ими системы, проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов политического процесса, определяющих ее основные направления и формы и тем самым обеспечивающих воспроизводство и дальнейшую эволюцию политической жизни на основе преемственности⁶⁴.

При этом следует иметь в виду, что любая политическая культура включает в себя не только «положительные», но и «отрицательные» черты, наблюдаемые в сознании и поведении субъектов политического процесса и принявшие устойчивый характер. Таковы, например, электоральный абсентеизм, политическая нетерпимость или ориентация на использование насильственных методов в борьбе за власть и т. п. Равным образом политическая культура включает в себя как нормативные модели сознания и поведения, нередко закрепляемые идеологией и моралью, так и реально действующие модели, порой противоречащие принятым моральным нормам и законам. Представим себе, пишет в своей книге «Политическая культура и лидерство в советской России» Роберт Такер (ссылаясь на Ричарда Феджина): в стране X большинство граждан убеждены, что правительственные чиновники, берущие взятки, поступают дурно, но те, несмотря на это, взятки все-таки берут. Что считать политической культурой данного общества: убеждение граждан или поведение чиновников? «И то и другое», – отвечают Феджин с Такером [8, р. 4], а вместе с ними и большинство политологов.

Переходя на уровень метафор, скажу, что политическая культура – своего рода матрица политической жизни, задающая относительно устойчивые формы сознанию и поведению отдельных граждан, групп и функционированию политических институтов общества. Эту культуру можно определить и как своеобразный политический генотип, представляющий собой «генетическую (наследственную) конституцию организма, совокупность всех наследственных задатков данной клетки или организма» [9, с. 126]. При этом генотип рассматривается не «как механический набор независимо функционирующих генов», а как «единая система генетических элементов, взаимодействующих на различных уровнях, контролирующая развитие, строение и жизнедеятельность организма» [9, с. 126]. Это, разумеется, лишь образ, призванный уточнить представление о политической (и не только политической) культуре.

⁶⁴ В самой сжатой и абстрактной форме культуру можно определить как *способ общественного самовоспроизводства человека и человечества*.

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

Модели «гражданской культуры»

Теоретические модели политической культуры многообразны. Есть ли среди них модель, адекватная политической системе демократии и способствующая поддержанию демократической стабильности?

Ныне практически общепризнано, что такая модель существует. В главных чертах ее впервые описали Алмонд и Верба как «гражданскую культуру». Они утверждали, что это не умозрительная конструкция, а действующая модель, воплощенная в политической культуре Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Напомню, что авторы выдвинули идею «гражданской культуры» в 60-е годы, в самый разгар холодной войны и битвы за Третий мир. Понятно, что их модель имела политическую и идеологическую подоплеку. Либеральная демократия была для Алмонда и Вербы образцовой политической системой, а Америка и ее политическая культура – эталонами демократии и демократической политической культуры. Отсюда следовал очевидный вывод: нации-государства, строящие демократическое общество и адекватную ему культуру, должны равняться на Америку и Англию.

Модель, предложенная авторами «Гражданской культуры», действительно воспроизводила некоторые существенные черты политической культуры США, но точным слепком с нее не была. В целом она соответствовала принципам веберовского «идеального типа», к которому прибегали как Алмонд с Вербой при конструировании других политико-культурных моделей (о них речь ниже), так и остальные, ныне многочисленные исследователи рассматриваемого феномена. И если модель гражданской культуры была принята значительной частью международного научного сообщества в качестве исследовательской парадигмы, пусть далеко не бесспорной, то именно потому, что выводила за пределы одной страны, одной национальной культуры и фиксировала устойчивые черты, типичные для политического сознания и поведения либерально-демократического общества, как такового.

«Подводя итоги, можно сказать, – писали Алмонд и Верба, – что самая поразительная черта гражданской культуры... ее смешанный характер. Это прежде всего смесь приходской, подданнической и гражданской ориентаций. Ориентация прихожанина на первичные отношения, пассивная политическая ориентация подданного и активность гражданина – все они сливаются воедино в гражданской культуре» [1, р. 492–493].

Ссылки американских исследователей на «прихожанина», «подданного» и «гражданина» не случайны. Дело в том, что Ал-

монд и Верба выделяют три идеальных (в веберовском смысле) типа политической культуры, свойственных различным этапам и уровням развития политико-культурных отношений. Для приходской политической культуры характерно, что политические функции и роли еще не отделились от экономических и религиозных, а люди имеют смутное представление о политике и в общем индифферентны к ней. Подданническая культура складывается при наличии более или менее дифференцированных политических функций, ролей и институтов. Для нее типично пассивное отношение к политической системе со стороны подданных, интересующихся в основном лишь практическими, важными для их повседневной жизни результатами деятельности властей. Наконец, для третьего типа (культура участия, или партиципаторная культура) характерен высокий уровень интереса граждан к политике, их хорошая информированность о политической жизни общества, а главное – активное участие в политическом процессе.

Казалось бы, именно этот последний тип и следует рассматривать как наиболее полное и последовательное выражение политической культуры демократического общества. Однако американские авторы следуют иной логике. Демократия, рассуждают они, – это «смешанная политическая система», исполненная внутренних противоречий. А значит, и адекватная ей политическая культура (*civic culture*) может быть только смешанной: в противном случае она не сможет включить граждан, придерживающихся разных культурных ориентаций, в политический процесс и обеспечить социальную стабильность.

Собственно говоря, гражданская культура – это даже не смесь, а баланс разных культур, своего рода американская система «сдержек и противовесов» (*checks and balances*), перенесенная из сферы властных отношений в сферу политической культуры. Это баланс между властью и ответственностью правящих элит, равно как и между политической активностью и пассивностью граждан. «От гражданина демократического общества требуются противоречащие друг другу устремления: он должен быть активным, но вместе с тем и пассивным; включенным (в политический процесс – Э.Б.), но не чрезмерно; влиятельным, но и почтительным (к властным институтам – Э.Б.)» [1, р. 478–479]. Другими словами, демократия поκειται на примирении крайностей и соблюдении меры в политике.

Чтобы правящие элиты хорошо делали свое дело и чувствовали ответственность перед обществом, гражданам надлежит держать их под контролем (в частности, посредством выборов), но при этом не посягать на их властные функции, успешное отправление которых требует профессиональной выучки и не под силу профанам.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

Граждане должны в той или иной форме «давить» на правительство, не допуская при этом «перегрева» политической машины и дестабилизации системы. Наконец, гражданам следует быть достаточно влиятельными, чтобы навязывать элитам ответственное поведение, но это влияние не должно мешать властям принимать необходимые, в том числе непопулярные, решения.

Когда общественная жизнь спокойна, рядовых граждан мало интересует, что делается в коридорах власти, так что государственные деятели довольно свободны в своих действиях. Зато при обострении ситуации, а тем более в условиях кризиса активность граждан и их давление на властные структуры возрастают. Стоит властям принять необходимые меры, как ситуация возвращается к норме и интерес рядовых граждан к политике снова падает. Как утверждают Алмонд и Верба, эти циклы, состоящие из «включения граждан, ответа элит и отхода граждан от политики», способны в тенденции упрочивать баланс противоположностей, необходимый для демократии.

Чтобы последняя функционировала эффективно, необходим и баланс между инструментальными, или прагматическими, как их называют американские авторы, и эмоциональными политическими ориентациями. Приверженность гражданина той или иной партии, политическому деятелю или системе не должна быть лишена эмоций. Как утверждает известный политолог и социолог Сеймур Мартин Липсет, если лояльность в отношении системы определяется сугубо прагматическими соображениями, она становится шаткой: неизбежные сбои в работе могут лишить ее поддержки со стороны граждан. К тому же свободная от эмоций политическая активность чревата цинизмом. Однако и чрезмерные эмоции вредят демократии. Они могут не только нарушить равновесие между активностью и пассивностью граждан (равно как и между политическими институтами), но и спровоцировать разрушительные массовые движения. Вывод: в интересах сохранения контроля граждан над политическими элитами и контролируемой ими системой «лояльность по отношению к ним не должна быть полной и безусловной», а участие в политике – «ни чисто инструментальным, ни эмоциональным».

Следующий «кит», на котором покоится политическая культура демократии, – баланс между политическим согласием и разногласиями, поддерживаемый как на уровне рядовых граждан, так и на уровне элит. Без согласия по ключевым вопросам невозможно мирное разрешение политических споров и успешное функционирование демократических институтов. Но последние не способны эффективно действовать и в том случае, если в обществе нет политических

разногласий: ведь демократия предполагает возможность выбора между альтернативами. К тому же отсутствие разногласий, а значит, и оппозиции существенно затрудняет контроль над элитами и притупляет у них чувство ответственности перед обществом. Нужно лишь следить, чтобы разногласия не зашли за опасную черту.

В итоге, заключают Алмонд и Верба, в демократическом обществе складывается довольно сложная и вместе с тем динамичная система сбалансированных политико-культурных ориентаций. «Тут налицо политическая активность, но она не столь велика, чтобы подорвать власть правительства; налицо вовлеченность (граждан в политику – Э.Б.) и преданность (системе и элитам – Э.Б.), но в умеренной степени; имеются политические разногласия, но их держат под контролем. К тому же политические ориентации, образующие гражданскую культуру, тесно увязаны с общими социальными и межличностными ориентациями. В рамках гражданской культуры нормы межличностных отношений, общего доверия и доверительного отношения к своему социальному окружению пронизывают политические установки и смягчают их» [1, р. 493].

Система демократических балансов формируется во многом стихийно: за счет непоследовательности установок, которых придерживаются граждане (а массовое политическое сознание всегда непоследовательно), несоответствия между установками сознания и реальным поведением, индивидуальных различий между людьми и их интересами...

Многообразие единства, единство многообразия

Сравнительный анализ политических культур современных демократий показывает, что модель гражданской культуры, предложенная Алмондом и Вербой, сочетает в себе инвариантные и варианты элементы. В каком-то отношении она остается примерно той же – во всех своих проявлениях, во всех странах и регионах. Это относится к балансу противоположных ориентаций и к фундаментальным чертам (ценностям), без которых нет демократии как политического режима, построенного на принципе равноправного участия всех граждан в управлении государством и принятии жизненно важных для них решений.

Фундаментальной чертой политической культуры демократии следует считать толерантность граждан и государства по отношению к оппонентам и оппозиционным силам – постольку, поскольку их действия не выходят за рамки закона. Оппозицию независимо от того, существует она в качестве формальной или же неформаль-

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

ной, неинституционализированной структуры, общество считает легитимной политической силой, неотъемлемым элементом демократической системы.

Политическая культура демократии включает в себя и такую черту, как плюрализм мнений и позиций, проявляющийся в признании многопартийной системы и множественности идеологий, кроме тех, которые противоречат принципам гуманизма и конституции страны.

Еще одно общее свойство – массовое тяготение граждан к политическому и идеологическому центру. Даже в периоды обострения политических противоречий и подъема массовых движений численность радикалов остается в европейских демократиях и США небольшой. То же касается и ориентации граждан на использование насильственных методов для разрешения внутривнутриполитических противоречий и конфликтов.

Политическая культура демократии немыслима без законопослушания граждан независимо от занимаемого ими положения: в демократическом государстве закон обязателен для всех. Однако ориентация на соблюдение закона принимает устойчивый и массовый характер только при условии уважительного отношения как общественности, так и государства к суду и независимого положения последнего в системе органов государственной власти.

Вместе с тем гражданская культура, как и разновидности политической демократии, варьируются от одной страны к другой. Это логично. Если современная демократия многообразна, то многообразной должна быть и соответствующая ей политическая культура. Поэтому популярный среди отечественных исследователей вопрос «Может ли в России сложиться гражданская культура?» следовало бы дополнить не менее важными вопросами «Какого рода гражданская культура нужна России для устойчивого демократического развития?» и «Какого рода демократическая культура может сложиться в нашей стране?»

Беря за основу модели гражданской культуры вариант, предложенный Алмондом и Вербой, следует помнить, что он (как и их общая концепция политической культуры) нуждается в коррекции, позволяющей преодолеть рамки бихевиоралистской традиции, в русле которой данный вариант сформировался.

Эту модель необходимо вывести на индивидуальный уровень и рассмотреть не только как систему балансов политических ориентаций и поведенческих стереотипов индивидов и групп. В структурном отношении гражданская культура складывается как сочетание (баланс) характерных для той или иной национальной культурной традиции вариантов, то есть отличающихся друг

от друга, архетипов и инвариантных общедемократических ориентаций и ценностей, присущих любой гражданской культуре.

Однако гражданская культура – это не просто смесь, баланс разных типов политических культур и культурных традиций. Она воплощает классический принцип единства многообразия, обеспечивающий устойчивость политической системы, в которой действуют разнонаправленные политические силы, сталкиваются разные позиции, установки и т. п. Эта модель ценна тем, что носит не исключительный, а включительный характер, обеспечивая взаимоуравновешивающее (хотя и не обязательно равное, пропорциональное) участие в политическом процессе всех акторов политической сцены.

Старое вино в новых мехах

Политико-культурные изменения, которые произошли, происходят и, по всей видимости, будут и впредь происходить в постсоветской России, дают основания полагать, что отечественная гражданская культура будет, как и ее западные аналоги, носить смешанный, более или менее сбалансированный характер. Это предопределено уже тем обстоятельством, что она формируется на основе, как минимум, трех источников.

Первый и главный из них – современная отечественная политическая практика, отливающаяся как в нормативные акты, часть из которых приобретает со временем легитимный характер, так и в неформализованные обычаи и социально-политические практики.

Второй источник – зарубежные опыт и политическая культура, главным образом западная. Сегодня заимствование и освоение европейско-американских «образцов» идет хаотично и бессистемно, вслепую. Время будет корректировать этот процесс, «отбирая», как это уже не раз случалось начиная с петровских времен, то, что подходит России. Что именно привьется и прорастет на нашей евроазиатской почве, покажет время. Резонно, однако, предположить, что, как бы ни складывались в дальнейшем отношения России с Западом, тот и впредь останется для нас источником формирующейся гражданской культуры.

Наконец, третий ее источник – национальная традиция. Политическая культура любого общества, тем более обладающего многовековыми устойчивыми традициями, развивается на основе преемственности. Так было и в России. При всех видимых отличиях советской политической культуры от дореволюционной первая естественным образом наследовала вторую. Больше того, некоторые элементы советской культуры были превращенной формой tradi-

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

ционной культуры, адаптированной к условиям XX века – подобно тому, как сам Советский Союз был адекватной условиям времени формой существования Российской империи. Как не без оснований заметил Такер, «сколь бы ни была революция новаторской в культурном отношении (в смысле создания новых институтов, убеждений, ритуалов, идеалов и символов), национальный культурный этос продолжает свое существование многими путями, причем в одних сферах жизни устойчивее, чем в других. Со временем происходит адаптация, посредством которой элементы дореволюционного культурного прошлого нации ассимилируются в новую революционную культуру, которая таким образом принимает форму амальгамы старого и нового» [8, р. VII–VIII].

Крушение советского строя, сопровождавшееся демонстративно нигилистическим отношением новых российских лидеров к национальному прошлому, в том числе политико-культурному, казалось, должно было бы способствовать быстрой трансформации сознания бывших советских граждан, освобождению его от старых стереотипов.

И поначалу, когда российское (а по сути, все еще советское) общество оказалось во власти либерально-демократической риторики, могло показаться, что с «проклятым прошлым» скоро будет раз и навсегда покончено и обновленная Россия, «войдя в семью цивилизованных народов», быстро освоит и усвоит западные базовые ценности и идеалы, впитает либерально-демократическую гражданскую культуру.

Однако этого не произошло. Вторая либеральная волна схлынула быстрее, чем можно было предполагать, не оставив глубоких следов в российском общественном сознании. Более того, в последние годы мы видим, как сквозь новый, только формирующийся и пока очень тонкий политико-культурный слой прорастают архетипы российской культуры – как в своей традиционной (дореволюционной), так и в модернизированной (советской) форме. Процесс этот естественен, закономерен и, надо полагать, устойчив и долгосрочен – даже при условии, что политическая и культурная вестернизация (либерализация) России будет нарастать.

Для традиционной российской политической культуры характерна ярко выраженная этатистская ориентация; государство воспринимается как нечто гораздо большее, нежели «ночной сторож» (идеал либералов), то есть чисто политический институт с ограниченными функциями и задачами. В России государство воспринимается как становой хребет цивилизации, гарант целостности и существования общества, устроитель жизни, в том числе экономической. Такое восприятие отражало, пусть в несколько гипертро-

фированной форме, реальную роль государства в стране со специфическими геополитическими, географическими условиями и отсутствием гражданского общества.

Этатистская ориентация проявилась со временем и в советской политической культуре. Правда, в первые послереволюционные годы, когда большевики жили надеждами на близкую мировую революцию и скорое отмирание государства, в их среде господствовали антиэтатистские настроения (отвечавшие глубоко укорененному в российском протестном сознании стремлению к «воле» – жизни, основанной на безгосударственном начале). Однако со второй половины 20-х годов, когда стало очевидным, что до коммунизма не рукой подать и что мировая революция откладывается на неопределенный срок, ситуация стала быстро меняться. Теперь преемникам Ленина приходилось думать о закреплении победы социализма «в одной отдельно взятой стране», а значит, и об укреплении государства. Большевики делали все возможное, чтобы этатистская ориентация стала одним из фундаментальных устоев советского политического сознания и советской политической культуры. И, надо заметить, преуспели в этом отношении, вылепив из советского человека твердого государственника, а заодно и патерналиста, который видел в государстве, слившемся с коммунистической партией, пастыря – пусть порой жестокого и нерадивого, но пастыря, который печется (обязан печься!) о каждом отдельном человеке «от колыбельных дней и до могилы» (Федор Тютчев) и в чью пользу надлежит отчуждать свою политическую и гражданскую волю.

Крушению советского режима, а также играм нового российского руководства и части элит в либерализм сопутствовала жесткая критика не только «советского тоталитарного государства», но и государства как института, которое по делу и без него противопоставляли рынку. Казалось, этатистская традиция вскоре будет раз и навсегда похоронена. Однако, как выяснилось, то была очередная иллюзия.

За последние несколько лет обозначился твердый и последовательный курс федеральных органов на укрепление государства, а заодно и на усиление функций и роли федерального Центра (знаменитая «властная вертикаль»), сдавшего свои позиции в первой половине 90-х, когда регионам предлагалось брать столько суверенитета, сколько они способны «проглотить».

Меняется не только политика. Меняется и общественное сознание, в котором, как показывают опросы общественного мнения, усиливаются этатистские и нейтралистские ориентации. В том же направлении трансформируются и модели функционирования социально-политических институтов. Все или почти все устали от вла-

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

стного «разброда и шатаний», хотят порядка, связывая решение этой проблемы с укреплением государства, повышением роли федерального Центра, ростом авторитета президента и правительства.

Но дело не ограничивается воспроизводством присущих традиционной российской и советской политической культуре установок на этатизм, централизм и патернализм. Индивидуализация общественной жизни, резкое социальное (особенно имущественное) расслоение вызвали массовую ответную реакцию: в российском обществе, особенно в регионах, усилились коллективистские и уравнилельные настроения.

Не все перечисленные ориентации и установки пользуются поддержкой сверху, но сути дела это не меняет. Они живут в массовом сознании, проявляясь в тысяче мелочей. Простой человек уповает на главу государства, от которого, как и прежде, ждут не только «ценных указаний», но и предметной помощи, считая его последней инстанцией на трудном пути поисков «правды». Люди не умеют и не хотят вести индивидуальное хозяйство, завидуют, а нередко и ненавидят богатых и удачливых, потенциально готовы бунтовать против них. Трудовая этика, столь характерная для протестантизма, развита слабо. Даже в критических ситуациях рядовые граждане оказываются неспособными к самоорганизации и т. д.

Порой приходится слышать, что все эти «архаичные» модели сознания и поведения характерны прежде всего для пожилых людей и потому исчезнут или отойдут на периферию со сменой поколений. Разумеется, на изменение состава и приоритетов политико-культурных ориентаций такая смена влияет, но архетипы национальной культуры она затрагивает в основном только по касательной. Слишком уж глубоко укоренены они в медленно меняющихся механизмах воспроизводства национального бытия.

Повестка дня на сегодня и завтра

Очевидно, что ни этатизм, ни коллективизм, ни уравнилельность сами по себе не способствуют становлению демократических порядков и гражданской культуры в России. Напротив, у многих эти ориентации ассоциируются (насколько обоснованно – другой вопрос) с авторитаризмом, социализмом и даже тоталитаризмом. Однако если эти установки существуют как массовые ориентации, не поддающиеся насильственному вытеснению из общественного сознания и поведения в силу их функциональной значимости, то следует попытаться «вписать», «встроить» их в формирующуюся политическую культуру. Причем сделать это надо так, чтобы они

стали органическим элементом национальной гражданской культуры и начали работать на демократию. А для этого их необходимо дополнить и уравновесить (преобразовав тем самым в функциональном отношении – хотя бы частично) альтернативными установками, сложившимися в русле отечественной и зарубежной демократической традиции.

В самом деле, какой бы политический режим ни установился в России, в силу объективных обстоятельств (геополитических, географических, экономических и пр.) она будет испытывать потребность в сильном, то есть дееспособном, эффективном, государстве. Это не может не сказываться на политической культуре. Однако в демократическом обществе власть государства ограничивают, сдерживают и контролируют граждане, которые действуют в рамках гражданского общества, защищающего частные интересы, индивидуальные и групповые. Такой партикуляризм также должен находить отражение в политико-культурных ориентациях. Вопрос, следовательно, в том, чтобы сформировать у россиян контрэтатистскую установку, направленную не на разрушение государства как политического института (антиэтатизм), а на ограничение его экспансионистских поползновений, на избавление людей от патерналистских упований и способствующую развитию их способности к саморегулированию и самоорганизации.

Необходимость сохранения целостности российского государства и общества подталкивает к централизации политического руководства и административного управления. Эта тенденция внутренне присуща любому политическому режиму (в том числе демократическому), складывающемуся на территории столь огромной, этнически, географически и культурно разнородной страны, как Россия.

Однако в отличие от авторитарных, а тем более тоталитарных режимов демократические предполагают ограничение централизма и дополнение (уравновешивание) его системой региональных и низовых органов государственной власти, а также институтов местного самоуправления. Это особенно актуально для государств с федеративным устройством и слабыми демократическими традициями. Тут России мог бы помочь не только опыт западных демократий, но и творческое использование национального наследия, прежде всего земств, на чем давно настаивает Александр Солженицын.

Коллективное (соборное) начало – неотъемлемый компонент российской цивилизации, а коллективизм – традиционный элемент национальной политической культуры. Однако ни в одном обществе, будь то Соединенные Штаты Америки, Россия или даже Китай, не может идти речь о демократии без уважения к индивиду, к его частной жизни, без признания его права на приватность – зо-

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

ну, в которую не позволено вторгаться ни другому индивиду, ни коллективу, ни государству (за исключением случаев, оговоренных законом). Между тем в России с личностью не считаются и не признают ее право на приватность. Изменения в этой области, закрепленные в законе, морали и общественном сознании, тоже важное условие становления гражданской культуры.

И еще один момент. Опыт многих устойчивых демократий – от монархической Великобритании до президентской Америки – убеждает, что уважение и даже любовь к главе государства, лидеру нации отнюдь не препятствуют нормальному функционированию демократии. При том, однако, непременном условии, что этого руководителя не обожествляют, не ставят выше закона, не наделяют властью, выходящей за пределы его должностных полномочий. Российское общество с его вождистскими традициями нуждается в развитии у граждан уважения к закону как обязательной для всех норме и в десакрализации образа правителя: он не «помазанник Божий», стоящий над обществом, а его представитель, получающий полномочия из рук граждан и возвращающий их по требованию избирателей.

Конечно, задача формирования в России гражданской культуры не может быть решена посредством искусственного синтеза элементов традиционной российской культуры и культуры демократической, доминирующей в странах Западной Европы и Америки. Вообще, как справедливо отмечали еще Алмонд и Верба, «не существует простой формулы развития политической культуры, способствующей поддержанию демократии» [1, р. 501]. И все же общество способно более или менее эффективно и целенаправленно содействовать становлению такой культуры. Для этого имеются, как минимум, два пути.

Первый: формирование социополитической, экономической и общекультурной среды, благоприятствующей вызреванию демократических принципов. Применительно к современной России речь должна, очевидно, идти прежде всего о рынке (как универсальном механизме общественного регулирования, выходящего за пределы экономической сферы) и гражданском обществе, свободном от назойливой опеки со стороны государства. На этом поприще могли бы проявить себя и возмужать политические партии, объединения, а также СМИ и деловые круги.

Второй путь: политическая социализация подрастающих поколений, обучение граждан. Тут многое зависит от школы. Однако привить людям демократические ценности и установки с помощью одного лишь целенаправленного обучения невозможно. Гражданская культура «передается в ходе сложного процесса, который

включает в себя обучение во многих социальных институтах – в семье, группе сверстников, школе, на рабочем месте, равно как и в политической системе, как таковой» [1, р. 499]. Помимо того что молодые люди усваивают политические ориентации путем направленного обучения, «они также обучаются, соприкасаясь с политическим опытом, который не рассчитан на то, чтобы на нем учились политике, как это случается, когда ребенок слышит, как его родители обсуждают политические вопросы, или наблюдает за тем, как действует политическая система. Формирование политических ориентаций может быть и неявным, и неполитическим по своему характеру, как это бывает, когда индивид получает представление о власти на основе собственного участия в делах семьи либо школы или начинает судить о том, заслуживают люди доверия или нет, на основе ранних контактов со взрослыми» [1, р. 499].

Так шаг за шагом складывается политическая культура индивида, группы, поколения, общества.

Как показал опыт многих стран, в частности послевоенной Германии, на становление гражданской культуры уходят долгие годы. А если становление демократического общества сопровождается кризисными процессами, неизбежно отбрасывающими его назад, то и десятилетия. Однако выбора у России нет: без гражданской культуры ей не стать великим обществом.

1. Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, 1963.
2. Political Culture and Communist Studies / A. Brawn (ed.). N.Y., 1984.
3. Barnard J.M. Culture and Political Development: Herder's Suggestive Insights // American Political Science Rev. 1969. Vol. LXIII. No. 2.
4. Pye L. Political Culture // Intern. Encyclopedia of Social Science. Vol. 12. N.Y., 1968.
5. Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979.
6. Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. М., 1990.
7. Баталов Э.Я. Политическая культура как социальный феномен // Вестник Моск. ун-та. 1991. Сер. 12. № 5.
8. Tucker R. Political Culture and Leadership in Soviet Russia. N.Y.; L., 1987.
9. Биологический энциклопедический словарь. М., 1986.

Идея демократии в Америке XX века*

Последние десятилетия XX века были восприняты многими как *глобальный триумф демократии*. Никогда еще так много стран мира не объявляли себя ее приверженцами. Никогда еще слово «демократия» не пользовалось такой популярностью и не вбирало в себя такого множества смыслов, становясь фактически синонимом тотального блага.

Теперь мы видим, что этот триумф был во многом иллюзорным. Демократия вступила в полосу *глобального кризиса*, порожденного кумулятивным эффектом процессов становления постиндустриального общества, глобализации и перехода к новому мировому порядку. Нынешний кризис пока еще не столь глубок и драматичен, как кризис, поразивший демократию в 1920–1930-х годах, но перспективы его неясны, как неясны контуры того режима, который может воцариться в мире в недалеком будущем.

В этой ситуации интересно проследить *логику эволюции современной демократической идеи*. А для этого имеет смысл окинуть взором путь, пройденный ею в минувшем веке в США. Путь, свидетельствующий о том, что даже в условиях одной из самых развитых (хотя и отнюдь не образцовых) демократий жизнь демократической идеи сопряжена с внутренней борьбой, что она может переживать кризисы. Наконец, что условием ее жизнеспособности служит постоянное самообновление.

Становление традиции

Характер эволюции демократической идеи в США XX века был обусловлен не только спецификой исторической обстановки, существовавшей в стране и мире. Он во многом предопределялся идейно-политической традицией, сложившейся в Соединенных Штатах к началу минувшего столетия. Ее фундамент начал закладываться в 70–80-е годы XVIII века, когда появились Декларация независимости, «Федералист», Конституция страны и ряд других документов и сочинений, во многом предопределивших рамки и направления политического философствования заокеанских мыслителей.

Идея *власти народа* пронизывает всю американскую политическую мысль эпохи революции и становления США как суверенного государства. «Если какой-либо государственный строй нару-

* США ♦ Канада: экономика, политика, культура. 2006. № 2. С. 3–26.

шает эти права (которыми наделены все люди – Э.Б.), то народ вправе изменить его...». «Мы, представители Соединенных Штатов Америки... именем и властью доброго народа наших колоний торжественно и во всеуслышание объявляем...». Это из Декларации независимости. «Мы, народ Соединенных Штатов...». А это первые слова Конституции США. Джордж Вашингтон в инаугурационной речи говорит о чести возглавить «правительство, учрежденное... самим народом...» [1, с. 39]. Джон Адамс, вступая в должность президента США, возносит хвалу «народу Америки», который в условиях «опасного кризиса... не утратил присущих ему здравого смысла, присутствия духа, решительности и чистоты помыслов» [1, с. 47]. Томас Джефферсон говорит, что ревностная забота о «праве народа на выбор – мягкое и надежное средство устранения злоупотреблений, которые отсекаются мечом революции в случае недоступности мирных средств» (т.е. напоминает о праве народа на революцию – Э.Б.) [1, с. 58].

Но вот что любопытно: ни в Декларации независимости, ни в Конституции США мы не встретим слова «демократия». И никто из «отцов-основателей», воспевавших «народ», не называл себя «демократом». «Мы все, – говорил Джефферсон, выступая как от имени своих сторонников, так и от имени оппонентов, – республиканцы, мы все – федералисты» [1, с. 56].

Это показательная самоидентификация. «“Отцы-основатели”, создавшие Американский союз, – замечает один из исследователей, – с большим подозрением относились к слову “демократия”. Для них оно означало разновидность прямого самоуправления, имевшего практический смысл лишь в небольших общинах и высмеянного классическими критиками вроде Платона как управление мудрыми, осуществляемое невеждами или власть вожделения над разумом. Они предпочитали слово “республика”, которое также означает “правление народа” (буквально – “общественное дело”), но не несет с собой такого уничижительного смысла, как демократия. Республика понималась как альтернатива монархии, в которой ни одна из групп, ни даже большинство народа (демос, как говорили греки) не занимали господствующего положения и в которой благожелательное правление осуществлялось теми, кто преуспел в гражданских добродетелях» [2, р. 26].

В самом деле, в статье десятой «Федералиста» Дж. Мэдисон поясняет, что под демократией (или, как он сам говорит, «чистой демократией») он понимает «общество, состоящее из небольшого числа граждан, собирающихся вместе и лично осуществляющих правление...». Отличительной же чертой республики как «системы правления, осуществляющей представительную власть», является «деле-

гирование функции правления... небольшому числу граждан, избираемых остальными», причем власть в республике распространяется на «большее число граждан и более обширную часть страны...»

В силу этих различий демократия, согласно Мэдисону, оказывается гораздо более уязвимым и менее стабильным строем, нежели республика: «демократии всегда являли собой зрелище разгула страстей и раздоров, всегда оказывались несовместимыми с правом личности на безопасность или владение собственностью; в общем и целом они существовали недолго и умирали насильственной смертью» [3, с. 30]. Иное дело республика: тут «общественные взгляды совершенствуются и расширяется общественный кругозор, поскольку эти взгляды просеиваются через выборный орган, состоящий из граждан, чья мудрость позволяет наилучшим образом определить истинные интересы страны и чей патриотизм и стремление к справедливости с наибольшей вероятностью не допустят принесения их в жертву сиюминутным или свекорыстным соображениям» [3, с. 30].

Большинство историков демократии, и в частности Роберт Даль, сходятся в том, что «предложенное Мэдисоном различие (между демократией и республикой – Э.Б.) не имело реальной исторической основы: ни в Древнем Риме, ни, к примеру, в Венеции не существовало “представительной системы”. На самом деле ранние республики почти полностью соответствовали мэдисоновскому определению демократии» [4, с. 65].

В позиции Мэдисона и других авторов «Федералиста» отчетливо просматривается не только желание успокоить крупных собственников, опасавшихся «тирании большинства», и заверить их, что никакой имущественной уравниловки не будет, но и страх перед массой, перед «властью толпы» (*mob rule*) [5, р. 5]. Именно вопрос о роли масс в государственном управлении, их способности к такому управлению вызвал раскол среди американских демократов конца XVIII века и привел к формированию *двух линий, двух традиций в демократической политике и политической мысли США*. Линий – их иногда называют «джефферсоновской» и «мэдисоновской», или «федералистской», – которые пронизывают всю историю американской демократии и демократологии⁶⁵.

Джефферсон мечтал о создании «небольших местных (окружных) республик, граждане которых принимают регулярное участие в общественной жизни, наряду с системой представительства,

⁶⁵ Поскольку к настоящему времени в политическую науку прочно вошло слово «кратология» (учение о власти, рассуждения о власти), автор этих строк счел возможным ввести и слово «демократология» как синоним выражений «учение о демократии», «рассуждения о демократии» и т.п.

которая вырастает из демократии на местах и характеризуется природной аристократией мудрости и добродетели...» [6, с. 151]. Он не отрицал важной роли элиты в управлении обществом. Но он говорил о представителях естественной аристократии, способных наилучшим образом позаботиться об общем благе. При этом Джефферсон не забывал о защите законных прав меньшинства, какие бы социальные группы оно ни представляло: «...меньшинство в такой же мере обладает равными правами, которые справедливый закон должен защищать и нарушение которых должно считаться притеснением» [1, с. 55–56].

Федералистская концепция демократии предполагает иное качество элиты, иные способы ее рекрутирования и иное положение граждан в обществе. Властные функции этих граждан (фактически отождествляемых с непросвещенной, грубой, склонной к насилию и разрушению массой) ограничиваются на практике тем, что в ходе (предположительно) свободных, регулярных и далеко не всеобщих⁶⁶ выборов они формируют органы власти, осуществляющие реальное повседневное, не контролируемое даже электоратом управление страной. При этом в число управляющих попадают не представители естественной аристократии, наделенные превосходящими нравственными качествами, а удачливые эгоисты-собственники, одерживающие верх в жесткой конкурентной борьбе⁶⁷.

Нужно ли говорить, что ускоренное движение американского общества по пути капитализма изначально предопределяло исход спора между джефферсоновцами и федералистами в пользу последних? И тем не менее дискуссии о демократии, развертывавшиеся в США на протяжении XIX и XX веков, снова и снова подтверждали: *дух и идея джефферсоновской демократии продолжают жить в душах американцев, проявляясь в форме альтернативных концепций народовластия.*

Политическая практика конца XVIII – начала XIX века постепенно рассеивает страх перед демократией. Президентство Эндрю Джексона показало, пишет историк Р. Гэбриел, что приход к власти простого человека не только не пагубен, но, напротив, благотворен для нации [9, р. 12]. Это вело и к реабилитации понятия «демо-

⁶⁶ В Соединенных Штатах избирательных прав на протяжении длительного времени были лишены рабы, индейцы, женщины и значительная часть мужского белого населения [7].

⁶⁷ А. Гамильтон полагал, что в борьбе за власть в США «должна победить торговая и финансовая буржуазия как группа, наиболее одержимая собственническим стремлением... Править должна та власть, в руках которой находится кошелек, — резюмировал свои аргументы лидер федералистов» [8, с. 16].

кратия», т.е. признанию ее соответствующей природе, потребностям и интересам американского общества. Не перестав быть синонимом «республики»⁶⁸, «демократия» вышла из-за ее спины и обрела полновесное, полноценное, широкое звучание, что и зафиксировал Алексис де Токвиль в своей великой книге [10].

Примерно к середине XIX века в стране складывается совокупность представлений, которую Р. Гэбриел называет «американской демократической верой» и влияние которой прослеживается на протяжении всей дальнейшей истории страны.

Это, во-первых, глубокое убеждение в существовании *объективного абсолютного фундаментального закона, определяющего основные параметры жизни общества (в том числе политической) и индивида*. Именно из такого убеждения, подчеркивает историк, выросло популярное среди американцев представление о том, что при демократии правят не люди, а законы.

Во-вторых, представление о *свободном индивиде как центре социума и опоре демократических порядков*. Общество воспринимается как совокупность независимых индивидов, опирающихся на самих себя и подчиняющихся императивам фундаментального закона. В этом отношении либерализм и демократия органически дополняли и подкрепляли друг друга, создавая основу так называемой *либеральной демократии*.

В-третьих, «*доктрина миссии Америки*»: Бог даровал ей свободу, чтобы она даровала ее остальному миру.

Эти принципы действительно раскрывают многие стороны представления американцев о демократическом обществе в США. Многие, но не все. Токвиль начинает свое описание заокеанской демократии с черты, поразившей его более всего и составлявшей, по его разумению, суть демократии. И это не верховенство закона, не миссионерская одержимость и даже не свобода. Это *равенство условий* существования людей, в нем автор «Демократии в Америке» увидел «исходную первопричину, из которой, по всей видимости, происходило каждое конкретное явление общественной жизни американцев...» [10, с. 27].

⁶⁸ Как пишут видные историки Дж. Бернс, Дж. Пелтасон и Т. Кронин, «американскую политическую систему можно назвать *либо конституционной республикой, либо конституционной демократией*». И далее: «Демократию или республику мы здесь понимаем как систему правления, при которой те, кто наделен властью принимать решения, обладающие силой закона, обретают и удерживают эту власть либо непосредственно, либо опосредованно в результате победы на свободных выборах, к участию в которых допущено большое количество взрослых граждан» [5, р. 5, (курсив мой — Э.Б.)].

«Мы живем в эпоху великой демократической революции, — писал Токвиль, — и та самая демократия, которая господствовала в американском обществе, стремительно идет к власти в Европе» [10, с. 27]⁶⁹. Ожидания оправдались лишь отчасти. Великой европейской демократической революции в то время не произошло, а когда она все же победила в некоторых странах Старого Света, идея равенства хотя и стала частью демократического кредо, но так и не смогла занять в нем такого же места, какое занимала за океаном.

Американцы не представляли себе демократии без равенства (в первой половине XIX века оно ограничивалось равенством условий), как не представляли они ее себе и без *свободы*, будь то свобода выбора, свобода принятия решений или, скажем, свобода распоряжения своей собственностью (включающей, согласно Локку, и собственную личность). Но свобода и равенство — понятия противоречивые, а в своей крайней форме — взаимоисключающие, порожающие напряженность внутри демократического сообщества. М. Лернер, исследовавший феномен американской демократии в контексте североамериканской цивилизации, рассматривал *свободу и равенство* как «два полюса демократической идеи», между которыми «*всегда существовала внутренняя напряженность*» (курсив мой — Э.Б.) [11, р.362]. Эта напряженность тоже стала существенным элементом американской демократической традиции.

От расцвета — к кризису

Конец XIX — начало XX века отмечены в истории американской политической мысли прогрессирующим ростом интереса к феномену демократии и более углубленным его исследованием. Этот интерес был вызван в первую очередь успешным развитием демократических институтов во многих странах мира. Как писал историк Эдвард Бернс, «ни один другой политический идеал не казался более прочно укорененным в начале XX века, чем демократия.

⁶⁹ М. Лернер, подтверждая ценность идеи равенства, писал век с лишним спустя: «...демократическая идея есть идея эгалитаризма... она делает акцент на правлении большинства. Она являет собой картину освобожденного демоса, всего народа, стремящегося... сделать социальное равенство предпосылкой правления. Она переносит акцент с узкополитического — голосования и конституционных гарантий — на экономическую и классовую систему. Она подчеркивает условия достижения рядовым человеком возможностей получения образования и обеспечения жизни независимо от конфессиональной веры, этнической группы и социального уровня» [11, р. 362–363].

Большинством буржуазных либералов, интеллектуалов и социалистов он рассматривался как евангелие. ...В Соединенных Штатах это продвижение (продвижение демократии – Э.Б.) достигло наибольшего прогресса...» [12, р. 3].

Росту интереса к феномену демократии способствовали и другие причины, в том числе дальнейшая массовизация общества, требовавшая совершенствования механизмов государственного управления, а также социальные, экономические и политические проблемы, которые накопились в стране к началу XX века и, как казалось передовым умам того времени, могли быть разрешены именно на путях дальнейшего развития демократии.

Эволюция заокеанской демократологии в первой четверти XX века была тесно связана с прогрессивным (прогрессистским) движением. Критика существующей политической системы и идейного наследия, доставшегося от «отцов-основателей», и предложения по совершенствованию демократических институтов звучат со страниц работ таких известных в то время авторов, как профессор Колумбийского университета Дж. Смит; профессор, а с 1909 г. – президент Гарвардского университета А. Лоуэлл; известный историк профессор Ч. Бирд; популярный публицист и политолог У. Уэйл и другие.

Основная масса прогрессистов отождествляла демократию прежде всего с *системой власти, основанной на правлении большинства*. Такое понимание демократии было созвучно «идее о том, что глас народа есть глас Божий» [12, р. 4]. Воля народа, представляемого его большинством, суверенна, большинство всегда право, и только оно вправе выносить вердикт относительно политического курса, проводимого властями, и решений, принимаемых ими. Такая позиция (сложившаяся не без влияния со стороны популистов, и в частности У. Брайана⁷⁰) расходилась, как легко заметить, с джефферсоновским требованием защиты прав меньшинства и, по существу, подтверждала неоднократно высказывавшиеся опасения о возможности тирании большинства.

Специфика прогрессистского понимания демократии нашла отражение и в работах упомянутых выше теоретиков. Дж. Смит в книге «Дух американского правительства» подвергает критике

⁷⁰ По У. Брайану, требования большинства, каковы бы они ни были, должны рассматриваться как стандарт политического и морального права. Выступая перед избирателями штата Небраска по вопросу о свободной чеканке серебряных денег – требования, весьма популярного в США начала XX века, он говорил так: «Я ничего не смыслю в серебряных деньгах, но их хочет народ Небраски, поэтому их хочу и я. Что касается аргументов, то я подыщу их потом» [13, т. 2, с. 38].

как недостаточно демократические принципы политической организации общества, зафиксированные в Конституции США [14]. В критическом по отношению к «отцам-основателям» духе было выдержано получившее широкую известность исследование Ч. Бирда «Экономическая интерпретация Конституции Соединенных Штатов», впервые увидевшее свет в 1913 г., но с тех пор не раз переиздававшееся. Воздавая должное создателям этого документа, равно как и авторам «Федералиста», Бирд вместе с тем настаивал, что «отцы-основатели» стремились защитить интересы частных собственников, преградить путь к избирательным урнам значительной части населения, а в итоге «отбить натиск уравнилельной демократии» [15].

Книги Смита и Бирда побуждали думающих американцев по-новому взглянуть и на основополагающие документы американской демократии (срывая с них покров «святости»), и на первых американских демократов. Причем сам этот новый взгляд был порожден той критической, настоятельно требовавшей демократических перемен ситуацией, которая сложилась в США в годы подъема прогрессистского движения. Смит и Бирд были ангажированы эпохой и выполняли ее социальный заказ.

Та же миссия легла на плечи У. Уэйла и А. Лоуэлла. В своей «Новой демократии», опубликованной, как и труд Ч. Бирда, в 1913 г., Уэйл утверждал, что существующая в стране демократическая система нуждается в серьезном обновлении, ибо действующая государственная машина – не что иное, как орудие в руках элиты, оттеснившей народ от власти [16]. Реформаторский дух пронизывал и книгу Лоуэлла. Он, правда, весьма позитивно оценивал конституцию страны, однако это не помешало ему занять критическую позицию в отношении действующих властных институтов. Утверждая, что права и свободы человека не имеют прямого отношения к демократии как таковой, Лоуэлл определял последнюю как «народное правление, осуществление власти массой народа (*mass of the people*)» [17, р. 57]. В типичном для прогрессистов духе он отстаивал идею суверенитета большинства, однако делал при этом существенные оговорки, смягчавшие радикальный («якобинский», по выражению некоторых исследователей) мажоритаризм.

Во-первых, полагал автор книги, это должно быть эффективное большинство, которое не просто преобладает численно, но включает в себя граждан, разделяющих общие интересы и имеющих общие представления о целях и средствах правления. Во-вторых, правительство эффективного большинства должно широко использовать экспертов, управленцев-профессионалов, которые, не определяя политический курс страны, будут помогать осуществлять его долж-

ным образом. В обоснование этого тезиса Лоуэлл сформулировал своего рода афоризм: «Там, где требуется умение – назначай, а где требуется представительство – выбирай» [17, р. 260–261].

Свои надежды на осуществление демократических реформ многие прогрессисты связывали с государством. В подтверждение этого историки обычно ссылаются на книгу «Перспективы американской жизни», вышедшую в 1909 г. из-под пера редактора «Нью Рипаблик», публициста и политического аналитика Г. Кроули, вызвавшую большой общественный резонанс. Нельзя, настаивал он, будущее страны «оставлять на волю случая... Эта проблема принадлежит американской национальной демократии, и ее решение должно быть достигнуто главным образом путем официального национального действия» [18, р. 24]. Позитивное государство должно прийти на смену государству *лэссэ фэр*, публичный интерес – возвыситься над частным, целенаправленное планирование – заменить стихийное развитие событий. И эта коррекция должна осуществляться при участии государства. «Планирующий орган демократического государства, – пояснял Г. Кроули в своей новой книге «Прогрессивная демократия», опубликованной в 1914 г., – создан для действия... Его планы простираются вперед настолько, насколько позволяют или диктуют условия. Он изменяет свои планы так часто, как того требуют условия» [19, р. 370–371]. И при этом каждый раз проверяет их, что называется, на зуб.

Признавая роль науки и социального эксперимента в развитии демократии, Кроули вместе с тем предостерегал против превращения демократов в рабов науки: «демократия никогда не может позволить науке определять свою фундаментальную цель, поскольку целостность этой цели зависит в конечном счете от освящения воли (*consecration of the will*)» [19, р. 404].

Заметную роль в развитии прогрессистской демократической мысли историки отводят видному политику и публицисту Р. Лафоллету. Он не был теоретиком, но в его многочисленных речах, статьях, программных документах, создававшихся при его участии, содержались идеи, направленные на демократическое реформирование общества. Пример тому – разработанная под его руководством Декларация принципов, провозглашенных созданной в январе 1911 г. Национальной прогрессивной республиканской лигой. «Лига ставила своей целью избрание настоящего народного правительства, для чего следовало добиваться демократизации избирательной системы: введения прямых выборов должностных лиц, вплоть до сенаторов США, прямых выборов делегатов на национальные съезды с возможностью для них выразить свое личное отношение к кандидатам в президенты и вице-президенты, введе-

ния законов о праве на инициативу, референдум и отзыв депутатов, а также о борьбе с коррупцией» [20, с. 90]⁷¹.

Исследуя эволюцию демократической идеи в Америке начала XX века, нельзя не упомянуть о профессоре Вудро Вильсоне, ставшем в 1913 г. 28-м президентом США. Программа, с которой он шел на выборы и которую называл «новой свободой» или «новой демократией» (в противовес «новому национализму» Теодора Рузвельта), включала многие требования прогрессистов. Вильсон «поддержал... прогрессистские законодательные акты о прямых выборах на первичных собраниях, о наказании за политическую коррупцию и о компенсации рабочим, пострадавшим на производстве... Платформа, принятая демократической партией, содержала все требования, выдвигаемые прогрессистами в штатах: снижение тарифов, антитрестовское законодательство, банковская реформа, подоходный налог, контроль над железнодорожными компаниями, кредит фермерам» и ряд других [13, т. 2, с. 288].

Но «демократия Вильсона, – писал Э. Бернс, – в некоторых отношениях разительно отличалась от демократии Лафоллета... Он отводил государству значительно более ограниченную роль... Будучи сторонником прогрессивного подоходного налога и оправдывая его как средство ограничения крупных состояний, Вильсон никогда не выступал в защиту государственной собственности в той или иной ее форме... Что касается чисто политических реформ, то тут он также был более консервативен – поддерживал прямые первичные выборы, но проявлял мало интереса к инициативе, референдуму и [досрочному] отзыву [выборных должностных лиц] и никоим образом не относился столь же остро критически к власти судов. Еще более значительным было различие в отношении к народным выборам (*popular election*). Если Лафоллет настаивал на прямых выборах народом как можно большего числа официальных лиц, то Вильсон высказывался за короткий избирательный бюллетень...» [12, р. 17].

Но 28-й президент США был еще, напомним, профессиональным политическим исследователем, автором многих публикаций, посвященных проблеме демократии, которую он характеризовал

⁷¹ Еще одно выражение идейно-политической позиции Лафоллета – подготовленная к съезду Республиканской партии платформа, стержнем которой «была та ее часть, где излагались предложения об ограничении власти “денежного мешка”, контроле над банками, о введении законодательства, которое бы способствовало восстановлению свободной конкуренции. Лафоллет собрал, видимо, все требования прогрессистов в разных штатах, боровшихся за демократизацию общества, включая введение права женщин на участие в выборах, и, что интересно, – против империалистической внешней политики США» [20, с. 97–98].

как «наиболее здоровую и жизнеспособную разновидность правления, когда-либо практиковавшуюся в мире» [21, р. 16]. Правда, его трактовка носила, по словам одного из критиков, дуалистический характер. Вильсон признавал за народом право на власть (осуществляемую через своих представителей), а значит, и на контроль над правительством. Но при этом он утверждал, что народ обладает ограниченной политической компетентностью, связывая это прежде всего с тем, что простой (средний) человек руководствуется «предвзятыми мнениями, т.е. предрассудками», которые скрывают от его взора истинное положение вещей. Поэтому демократические институты и политики должны не просто учитывать требования народа, но воспитывать граждан, просвещать и обучать их, выступая в качестве силы, формирующей общественное сознание и отклоняющей неразумные требования народа.

В оправдание своей позиции Вильсон избрал путь, которым в дальнейшем следовали многие политики, ратовавшие за ограниченную или, правильнее сказать, регулируемую демократию: он настаивал на *разграничении политики и администрирования*. Если народ имеет право на участие в политике, то решение административных вопросов он должен предоставить профессионалам и не пытаться вмешиваться в дела, в которых не смыслит. Оставался, однако, не решенным вопрос о границах между политикой и администрированием, и это развязывало руки всем, кто хотел по тем или иным причинам уклониться от давления низов.

Период конца 20-х – начала 30-х годов XX века стал рубежным как в истории американской демократии, так и в истории американской демократической мысли: и та и другая вступали в полосу кризиса, который был частью мирового кризиса демократических институтов и идей.

Американцев не мог не тревожить демократический откат в ряде стран Европы, особенно в Италии и Германии. Еще большее беспокойство вызывал у них на первых порах «Новый курс» Франклина Рузвельта. Кто-то видел в нем путь к фашизму, кто-то – пролог к коммунизму в Америке. Но и те, и другие полагали, что стратегия Рузвельта подрывала основы демократии. Сегодня уже очевидно, что это не так. Но очевидно и то, что американские демократические институты и демократическая мысль получили в те годы серьезную встряску. Рузвельт, как замечает историк М. Фриш, подверг американскую политическую традицию «очень глубокой реинтерпретации, ибо нет сомнений, что государство благосостояния не соответствует некоторым характеристикам традиционной американской демократии. Но... это не было изменением, затрагивавшим *корни системы*» (курсив мой – Э.Б.) [22, р. 320–321].

Добившись «сохранения либеральных демократических институтов в период кризиса» [22, р. 319], Рузвельт своими реформами помог американским теоретикам обогатить представление о либерализме и демократии. Выяснилось, что либеральные, по сути, принципы допускают некоторое ограничение рыночной стихии, а демократия не исключает расширения масштабов государства, повышения его роли в обществе и осуществления государственными органами (прежде всего исполнительными) регулирующих и дисциплинирующих функций. Иначе говоря, Рузвельт показал, что сильное, деятельное государство и сильный властный президент отвечают демократическим принципам, если то, что делает власть, отвечает не только объективным интересам народа, но и его воле и осуществляется с его согласия.

Однако осознание этого пришло позднее. А в 1930-е годы многим казалось, что американская демократия не только пребывает в состоянии кризиса (что соответствовало действительности), но и стоит перед угрозой своего исчезновения (что действительности не соответствовало). Это не могло не накладывать отпечатка на американскую демократологию второй четверти XX века. Меняется ее содержание, форма и методологическая основа. Меняется состав исследователей демократии. Среди них больше нет видных политических деятелей калибра Джефферсона, Мэдисона, Вильсона или Линкольна⁷². На первый план выходят представители академической среды – университетские профессора, а позднее сотрудники многочисленных исследовательских фондов и разного рода «фабрик мысли», что было связано во многом с новыми тенденциями в американской политической науке и прежде всего с переводом ее на эмпирические рельсы и началом так называемой *бихевиоралистской* революции. Бихевиоралисты (не смешивать с бихевиористами как представителями соответствующего течения в психологии) исходили из представления о том, что получить наиболее полную, достоверную и проверяемую картину политической жизни общества можно, исследуя эмпирическим путем поведение людей (отсюда и «бихевиорализм» – от английского *behaviour*, поведение), в котором обнаруживаются сходные черты. Это, естественно, затронуло и демократологию.

Демократия как многомерный, но целостный феномен как бы расщепляется на образующие ее элементы (состав и поведение элек-

⁷² Даже те, кто высоко оценивает Франклина Рузвельта как политика, не признают в нём теоретика. По словам М. Фриша, «успешное овладение ситуацией в годы “Великой депрессии” ... требовало необычайно практического ума и умеренности. Рузвельт обладал этими качествами. Но это не значит, что он обладал мудростью теоретика» [22, р. 319].

тората, различные формы политического участия, функционирование институтов власти, деятельность политических партий и других институтов гражданского общества и т.п.), которые становятся объектом самостоятельного изучения, опирающегося на более или менее солидную эмпирическую основу. Подобного рода исследования развернулись широким фронтом после Второй мировой войны. Но начало им было положено еще в 20-х – начале 30-х годов прошлого века, и роль первопроходцев принадлежала здесь группе ученых, представлявших так называемую Чикагскую научную школу.

Пионеры из Чикагской школы

Основателем и душой содружества исследователей, сложившегося в начале 1920-х годов при Чикагском университете и просуществовавшего до конца 1930-х годов, был Ч. Мерриам, собравший вокруг себя талантливых молодых ученых, среди которых выделялись Г. Госнелл, К. Райт, Л. Уайт и, конечно, Г. Лассуэлл.

И в работах, непосредственно посвященных демократии (например, «О повестке дня демократии», «Новая демократия и новый деспотизм»), и в других своих сочинениях, Мерриам проводил мысль о том, что демократия есть не просто форма правления, но и средство достижения высших идеалов человечества. При этом он – вполне в духе времени – увязывал повышение эффективности функционирования демократической системы с усовершенствованием научного управления последней. «Свобода и эффективность, – утверждал он, – не противостоят друг другу, а дополняют друг друга» [23, р. 5]. Пути повышения эффективности демократических институтов Мерриам видел, в частности, в ограничении полномочий законодательной власти (за ней должно быть оставлено право определения политической стратегии и решения наиболее крупных вопросов) и в более широкой опоре институтов исполнительной власти на профессионалов. Соединение демократии с наукой – вот мощная сила, которая позволит Америке решить все стоящие перед ней проблемы.

Значительно дальше идет Г. Лассуэлл, причем к исследованию феномена демократии он подходит не только как бихевиоралист, но и как психоаналитик, чего не делал до него никто. Лассуэлл рассматривает политическую реальность в качестве арены стихийного столкновения необузданных страстей и индивидуальных проявлений «воли к власти», в основе которых лежат иррациональные мотивы и стремление компенсировать собственную ущербность – телесную и духовную. Отсюда и задача, стоящая перед политической

наукой, и в частности перед демократологией: упорядочить и рационализировать политическую реальность, для чего необходимо способствовать укреплению рационального начала.

Подобно своему великому предшественнику М. Веберу и ряду других представителей политической науки, Лассуэлл смотрит на политику через призму власти. При этом последняя трактуется как возможность принимать социально значимые решения, связанные с распределением ресурсов и ценностей в обществе и контролировать их исполнение. «Кто что когда и как получает – таков коренной вопрос при анализе политических действий и политического процесса», – утверждает Лассуэлл [24, р. 3]. Участие во властном процессе и есть демократия.

В высказываниях американского автора, относящихся к 1930-м годам (когда он опубликовал основные произведения, заложившие основы его научной позиции), звучит отчетливо выраженная тревога за судьбу демократии, что и понятно – на эти годы пришелся первый мировой кризис демократических институтов и идей. Все это и предопределило во многом характер вопросов, на которые Лассуэлл пытался найти ответ. Например, каковы институциональные, процессуальные и психологические основания демократии? Как обеспечить поддержку этих оснований и кто бы мог взять на себя выполнение этой миссии?

Среди институциональных факторов демократии Лассуэлл называет систему сдержек и противовесов (как она зафиксирована в Конституции США), а также институты социального контроля, обеспечивающие справедливый доступ к ресурсам и ценностям, от которых зависит власть. К ним он добавляет определенные стандарты образования и поведения граждан, обеспечивающие ответственное отношение к использованию власти.

Поддерживается демократия и соответствующей политикой, которая снижает уровень социальной и политической напряженности в обществе и обеспечивает более или менее безболезненное приспособление людей к изменяющимся условиям жизни. Исследованию путей и форм осуществления этой политики Лассуэлл посвящает ряд работ, и прежде всего свою знаменитую книгу «Психопатология и политика» (1930) [25].

Американский ученый отвергает традиционное представление, согласно которому «предпосылка демократии заключается в том, что каждый человек наилучшим образом судит о собственном интересе». Отвергает он и другое «поспешное допущение» теоретиков демократии, согласно которому «социальная гармония зависит от обсуждения, а само обсуждение – от формальной консультации со всеми теми, чьи интересы оказываются затронутыми социаль-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

ной политикой». Для Лассуэлла цель демократической политики – «не столько в том, чтобы разрешать конфликты, сколько в том, чтобы предотвращать их, и не столько в том, чтобы служить предохранительным клапаном социального протеста, сколько в том, чтобы направлять социальную энергию на устранение повторного возникновения источников напряжения в обществе».

Иначе говоря, нужна «политика превентивных действий», а ее невозможно проводить ни путем дискуссий (они зачастую не устраняют трудности, а усложняют и усугубляют их), ни тем более с помощью диктатуры. Людей, говорит Лассуэлл, на протяжении долгого времени вводили в заблуждение, терминологически противопоставляя демократию диктатуре и аристократии. «Наша задача состоит в том, чтобы руководствоваться истиной относительно условий гармоничных человеческих отношений, и открытие этой истины есть цель специализированного исследования; это не монополия народа как народа или правителя как правителя» [25, р. 194–198].

В этих высказываниях – ключ к пониманию предлагаемой Лассуэллом модели демократического управления обществом. Ни автономно действующие граждане, ни диктаторы, ни демократически ориентированные политики не в состоянии самостоятельно добиться гармонизации общественных отношений. На помощь народу и власти должны прийти специалисты в области политической науки, которые, не претендуя на самостоятельное принятие политических решений, направят умы государственных деятелей в нужное русло⁷³, помогут осуществить социальную терапию посредством усиления своего «эго» как у рядовых представителей общест-венности, так и у официальных лиц. Это достигается, в частности, за счет рационализации потока информации, на основе которой выносятся моральные суждения и принимаются политические решения, а также посредством просвещения граждан.

Лассуэлл не призывал к передаче власти элитам. Напротив, он не раз публично выражал опасения, что доминирование в обществе закрытых каст, обладающих мощными властными ресурсами и склонных к осуществлению насилия, может подорвать основы демократии и привести к созданию «гарнизонного государства». Политических экспертов, помогающих оздоровить общество, рационализировать властные отношения, он к такого рода ка-

⁷³ «Политика превентивных действий не зависит от серии изменений в организации правления. Она зависит от переориентации умов тех, кто размышляет о центральных проблемах, стоящих перед обществом...» [25, р. 198]. Как тут не вспомнить профессора Преображенского из «Собачьего сердца» М. Булгакова, настаивавшего на необходимости первым делом устранить «разруху» в человеческих головах...

стам не относил. И все же отрицательное отношение Лассуэлла к способности рядовых (да, в сущности, и не только рядовых) граждан принимать рациональные решения относительно собственной судьбы, недоверие к здравому смыслу, который столь высоко ценили многие американские демократы, дает основание видеть в авторе «Психопатологии и политики» человека, который в какой-то мере предвосхитил «ревизионистскую» линию в отношении классических концепций демократии и выступил в роли проповедника ее элитарного варианта. Не случайно некоторые тезисы Й. Шумпетера (о нем речь ниже) удивительным образом перекликаются с тезисами Лассуэлла.

В этом отношении, да и не только, крупнейший из исследователей Чикагской школы опередил свое время. Но пройдет 15–20 лет и американская демократология (и вся американская политическая наука) повернется как в сторону эмпирических исследований, так и в сторону бихевиорализма, в сторону элит. И это произойдет еще при жизни Лассуэлла, но его научное «акме» будет к этому времени уже позади.

В защиту гуманистической демократии

Надо, однако, заметить, что американской демократологии, как и политической науке в целом, всегда был присущ более или менее отчетливо выраженный теоретический и методологический плюрализм. Так было и в 30–40-е годы XX века, отмеченные постепенным усилением позиций эмпириков-бихевиоралистов. Наиболее крупным из противостоявших им в то время исследователей был Дж. Дьюи. За свою долгую жизнь этот человек, на протяжении ряда десятилетий считавшийся «американским философом номер один», написал сотни работ. И проблемы демократии занимали в них одно из главных мест.

Дж. Дьюи всегда отстаивал широкий подход к этой теме. В книге «Демократия и образование» (1916), одной из своих фундаментальных работ, он писал: «Демократия – нечто большее, чем просто определенная форма правления. *Прежде всего* (курсив мой – Э.Б.), это форма совместной жизни, форма взаимообмена опытом» [26, с. 85]. Наверное, представитель афинского демоса, живший две с половиной тысячи лет назад, не нашел бы в этой формулировке ничего оригинального. Но в условиях, когда многие стремились редуцировать демократию до ее политической составляющей, а последнюю – до электорального процесса, такой подход выглядел нетипичным.

Американский мыслитель не отрицает различий между «демократией как социальной идеей и политической демократией как системой правления». Последняя включает в себя «способ правления, конкретную практику отбора чиновников и регулирование поведения их как официальных лиц». Но при этом Дьюи подчеркивает, что, хотя первое и второе следует анализировать «по отдельности», нельзя упускать из вида, «что между тем и другим имеется связь. Идея остается пустой и бесплодной, если не получает соответствующего воплощения в человеческих отношениях» [27, с. 61, 105].

Воздавая хвалу демократии как эффективной системе политического управления обществом, Дьюи особо отмечает ее социально-гуманистический потенциал. «При демократии в обществе постоянно растет число людей, готовых согласовывать свои действия с действиями других и учитывать чужие интересы, определяя цель и направление своих собственных. Все это способствует разрушению барьеров класса, расы и национальной территории, которые не дают людям осознать до конца смысл своих действий» [26, с. 85]⁷⁴.

Демократия предполагает равенство людей, но это равенство, настаивает Дьюи, не должно истолковываться механически, как «математическая эквивалентность». Мир демократического равенства – это мир, в котором существование каждого человека измеряется собственной мерой. «Если демократическое равенство может быть истолковано как индивидуальность, то нет ничего неестественного в понимании братства как континуальности (*continuity*), т.е. как безграничной ассоциации и взаимодействия». Демократия имеет дело не с гениями и лидерами, а с рядовыми «ассоциированными индивидами», которые, взаимодействуя друг с другом, делают каким-то образом свою жизнь более яркой (*distinctive*) [29, p. 169].

Характеризуя политическую демократию как «всемирно избираемую власть», Дьюи отвергает ее элитистские концепции, не соглашаясь с лежащим в их основании тезисом о некомпетентности масс. Во-первых, говорит он, не следует думать, что люди, попадающие во власть, непременно превосходят остальных по своим качествам. «Отбор правителей» – дело во многом случайное. Во-вторых, индустриальное общество, неизбежно усиливая взаимодействие и взаимозависимость его членов, все больше приобретает «кооперативный» характер, оно повышает роль, в том числе и политическую, каждого члена общества, независимо от его социального

⁷⁴ Дьюи не забывает добавить (для Америки это весьма существенно), что демократия есть дело богоугодное, ибо она являет собой земное воплощение божественного замысла: ведь это не просто форма правления, а еще и форма справедливого обустройства социального мира [28, p. 4].

статуса и профессии. «В качестве гражданина, обладающего избирательным правом, каждая из этих личностей (речь идет о совокупности личностей, составляющих общество – Э.Б.) является агентом общества. В своих волеизъявлениях он – такой же представитель интересов общества, как сенатор или шериф» [29, р. 56, 85]. Не согласен Дьюи и с тем, что всеобщее участие граждан в политическом управлении (не обязательно предполагающее прямую демократию) невозможно в современном государстве из-за его больших размеров. Отчужденность граждан друг от друга и от власти может быть преодолена – в частности, путем демократического образования и воспитания при одновременном реформировании существующих политических и экономических отношений.

И еще один момент, которому Дьюи придает большое значение, что, впрочем, характерно для американского менталитета. Речь идет о здравом смысле, которым, как предполагается, наделен практически каждый человек и который открывает ему доступ к пониманию и правильному решению политических вопросов.

Не обошел американский мыслитель и большой для многих, но только не для него самого вопрос о соотношении равенства и свободы. Равенство и свобода, по его мнению, совместимы, более того, равенство (возможностей) есть неременное условие свободы. Добиться же его можно при содействии... государства. Философ высказывается в поддержку «Нового курса», в котором видит не наступление на свободу, а адекватный новой социально-политической обстановке способ ее защиты.

Дьюи (отвергавший естественно-правовую теорию) постоянно подчеркивает – демократические институты рождаются не из демократической идеи и не из абстрактного права. «Политическая демократия возникла в виде некоего совокупного результата огромного множества ответных приспособлений к бесчисленным ситуациям, ни одна из которых не была похожа на другую – и, тем не менее, все они привели к единому результату». Тем самым Дьюи обращает внимание на естественность демократии, ее глубинную укорененность в современном ему обществе. Он как бы говорит ее противникам: вы хотите объявить войну демократии – тогда вам придется объявить войну истории, а возможно, и божественному промыслу: ведь демократия – дело еще и богоугодное. Больше того, согласно Дьюи, демократическое движение пока не вступило в свою завершающую стадию: «демократическое общество во многом еще находится в зачаточном, неорганизованном состоянии» [27, с. 63, 80].

Ученый убежден – возникнув как порождение демократического движения, демократическая идея сама становится практической силой. «[Демократические] теории явились отображением это-

го [демократического] движения в мышлении; появившись же на свет, они также вступили в игру и дали практический результат» [27, с. 63]. Ну а если демократическая система оказывается в состоянии кризиса, носители демократической идеи обязаны способствовать его преодолению. Теория должна воплотиться в новой, современной практике.

Рассматривая уважение права другого на социальный эксперимент как одно из неотъемлемых условий демократии, Дьюи говорил (1920-е годы) о необходимости терпимого отношения к тому, что происходило в советской России. «Поскольку мы верим в демократию, мы должны уважать право русского народа на проведение собственных экспериментов и извлечение из них уроков» [30, р. 315–316]. Больше того, в течение ряда лет он считал этот «эксперимент» самым интересным в мире. Однако спустя десять лет его отношение к Советскому Союзу стало резко критическим. В теоретическом плане это нашло отражение в тезисе, который он высказывал и ранее, но который в контексте событий, происходивших в Европе в 1930-х годах, приобрел новое звучание: *подлинно демократические цели могут быть достигнуты только демократическими методами*.

Дьюи был едва ли не последним крупным американским теоретиком первой половины XX века, который верил в осуществимость демократического идеала и для которого этот идеал, выдержанный в гуманистическом духе, выходил далеко за пределы совокупности политических процедур, обеспечивающих приемлемое функционирование существующих механизмов власти. На фоне молодых, напористых эмпириков-бихевиоралистов семидесятилетний Дьюи выглядел старомодным идеалистом, утратившим чувство реальности. И дальнейший ход событий, казалось, подтверждал правильность подобного впечатления. О Дьюи – политическом мыслителе забыли (историки политической мысли не в счет) на десятилетия. Но, как теперь выясняется, не навсегда.

Появление некоторое время тому назад публикаций крупнейшего современного американского философа Ричарда Рорти [31] и молодого, но уже успевшего заявить о себе политолога Джона Стурра [32], в которых они обращаются к Дьюи как источнику интеллектуального и политического вдохновения – это еще, быть может, и не свидетельство возвращения бывшего «философа номер один», но явный сигнал того, что заокеанское общество нуждается в более широком, основанном на гуманизме взгляде на демократию. «Америке конца двадцатого века, – пишет Рорти, – не хватает как вдохновляющих образов, так и вдохновляющих историй» [31, с. 12] – и предлагает обратить взоры к... Джону Дьюи. Однако вернемся на полвека назад.

«Ревизионисты» против «ортодоксов»

Вторая мировая война завершилась победой демократических сил и ценностей, что способствовало преодолению кризиса демократии (в том числе и на идейно-теоретическом уровне) в Европе и США. На протяжении всей второй половины XX века заокеанские обществоведы сохраняли неизменный интерес к проблемам демократии. Этому способствовал ряд обстоятельств.

Во-первых, более глубокое понимание демократии позволяло полнее осмыслить трагический опыт тоталитаризма. Потребность же в таком осмыслении ощущалась за океаном тем острее, что многие крупные американские политологи (Х. Арендт, Г. Маркузе, Т. Адорно и др.), принадлежали к когорте эмигрантов, столкнувшихся в свое время с тоталитарными режимами и испытывали потребность рассчитаться (в теории) со своим трагическим прошлым. Важно было также понять, что необходимо делать, чтобы воспрепятствовать появлению новых тоталитарных режимов.

Во-вторых, в условиях превращения политической науки в непосредственную политическую силу обострялась потребность в углубленном исследовании механизмов государственного управления и стабилизации социальных отношений, складывавшихся на стадии позднего индустриального, а затем и постиндустриального общества, формировавшегося в США.

В-третьих, поскольку противостояние двух систем отождествлялось Западом с противоборством между демократией и тоталитаризмом, демократия как модель политического устройства общества и образа жизни становилась оружием в идеологической борьбе с коммунизмом. А это порождало потребность в пропагандистской продукции, рассчитанной на внешнее потребление.

В этих условиях понятие «демократия» становится одним из самых популярных в политическом лексиконе, а границы его смысла оказываются настолько размытыми, что далеко не всегда ясно, в каком значении оно употребляется в том или ином тексте. Быть может, еще и по этой причине ни новые левые конца 60-х – начала 70-х годов XX века, ни пришедшие им на смену новые правые, ни стоявшие вне идейных лагерей социальные критики не выступали против демократии как таковой. Напротив, они упрекали власти и элиты в «отступлении от демократии», «извращении демократии» и т.п. Были, конечно, и те, кто отвергал либо демократию вообще, либо те ее формы, которые утвердились в американском обществе, однако все эти критики находились в положении маргиналов и голос их звучал негромко.

Развитие демократической мысли в послевоенной Америке происходило в основном в рамках политической науки. Существенный вклад в него внесли многие видные исследователи. Это крупнейший экономист и политолог Й. Шумпетер, автор книги «Капитализм, социализм и демократия», получившей всемирную известность. Это Р. Даль, более полувека отдавший исследованию демократии. Это Г. Алмонд и С. Верба, авторы знаменитой «Гражданской культуры». Это Х. Арендт, Д. Трумен, Зб. Бжезинский, И. Валлерстайн, Д. Истон, Г. Маркузе, Л. Пай, Н. Чомский, С. Хантингтон. А рядом с ними – представители среднего и младшего поколений, среди которых выделяются такие фигуры, как А. Лейпхарт, Дж. Сартори, М. Дойл, Б. Рассет.

В каких же направлениях развивалась американская эмпирическая и теоретическая демократология в послевоенные десятилетия? Продолжалось исследование *сущности демократии* как феномена современной общественно-политической жизни, определение (на основе новых данных эмпирических исследований и опыта, накопленного Америкой и Европой) ее сферы и границ, и в конечном счете вырабатывалось *современное представление о демократии*. В тесной увязке с этой проблемой изучался вопрос о *субъекте власти и форме народовластия*, адекватных условиям современного общества. Если демократия есть власть демоса, то кто входит в этот самый демос и по каким критериям; как демос должен отправлять свою власть – действуя непосредственно (прямая демократия) или через своих представителей (репрезентативная демократия); кто входит в их число и как осуществляется их отбор?

Большое внимание уделялось рассмотрению *демократического процесса*. Исследовалась деятельность органов государственной власти и управления на всех уровнях – от местного до федерального, взаимодействие властных институтов, методы определения эффективности этой деятельности и т.п. Становление социального государства (государства благосостояния) выдвинуло перед учеными массу новых проблем – в частности проблему границ ответственности государства перед гражданами и границ требований граждан к государству, которые (границы) предотвратили бы, с одной стороны, его перенапряжение, с другой – игнорирование интересов граждан. В обоих случаях это было бы чревато дестабилизацией демократии.

Исследовалась, естественно, и проблематика *демократического участия*, т.е. вовлеченности граждан в демократический процесс, чему в Соединенных Штатах всегда придавали большое значение. При этом, пожалуй, одним из самых острых был вопрос о со-

отношении индивидуальных и коллективных действий. В сущности, речь шла о роли гражданского общества как института демократии и об отношениях между гражданским обществом (как целого или отдельных его элементов) и государством.

По всем этим вопросам шли дебаты – порой острые, сталкивались разные позиции, на основе которых сложилось несколько интерпретаций (теорий) демократии, сохраняющих силу по сей день. Особо следует отметить дискуссию о сущности демократии и субъектах демократической власти. Именно в ее рамках Шумпетер и его сторонники (впоследствии их стали называть ревизионистами) выступили против постулатов классической демократической теории, господствовавшей (хотя порой это и оспаривалось) вплоть до середины XX столетия.

Вот что писал в 1991 г. С. Хантингтон, принявший сторону ревизионистов: «В середине XX века в ходе дебатов о смысле слова “демократия” выделились три основных подхода. Демократия как форма правления стала определяться исходя либо из источников власти правительства, либо из целей, которым правительство служит, либо из процедур его образования... Шумпетер вскрыл недостатки “классической теории демократии”, определявшей последнюю в таких выражениях, как “воля народа” (источник) и “общее благо” (цель). Успешно развенчав подобный подход, он выдвинул “другую теорию демократии”. “Демократический метод, – писал он, – это такое институциональное устройство для принятия политических решений, при котором отдельные индивиды обретают власть принимать решения в результате конкурентной борьбы за голоса людей”.

После Второй мировой войны некоторое время шли дебаты между теми, кто стоял на своем, определяя демократию в классическом духе по источнику или цели, и растущим числом теоретиков, принявших на вооружение процедурное понятие демократии по методу Шумпетера. К 1970-м годам дебаты закончились, и Шумпетер победил» [33, с. 16].

С. Хантингтон обрисовал в сжатой форме некоторые реальные контуры картины, сложившейся в послевоенной американской демократологии. Но при этом он вольно или невольно затушевал или исказил некоторые важные элементы, что тоже характеризует ситуацию, в которой шла борьба вокруг интерпретации понятия «демократия».

Начать с того, что классическая теория демократии не ограничивает последнюю формой политического правления. В Древней Греции демократия представляла собой, если можно так сказать, способ существования полиса. Теоретики демократии нового времени тоже смотрели на нее достаточно широко. Дьюи,

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

убежденный сторонник классической теории, трактовал демократию, напомним, как образ жизни. Ревизионисты же сознательно низводили демократию до «формы правления». И это не было случайностью.

Свою концепцию они строили, исходя из представлений об определенных качествах демоса. Разве, вопрошали они, политический опыт первой половины XX века, и в частности опыт Италии и Германии, где фашисты и нацисты пришли к власти при активной поддержке народа, не свидетельствует о том, что демос политически некомпетентен, иррационален (падок на мифы и утопии), нетерпим (не только в политическом, но также в религиозном и расово-этническом отношениях), безынициативен и не способен на самостоятельные конструктивные действия? И не следует ли отсюда, что народ нуждается в компетентном, разумном, инициативном поводе?ре?

И разве, с другой стороны, не свидетельствует опыт таких стабильных демократий, как Соединенные Штаты или Великобритания, что подобные поводыри – именуются ли они депутатами, сенаторами, конгрессменами или как-то еще – налицо и что власть давно уже находится в их руках, причем власть, вверенная им народом посредством конкурентных выборов?

Таким образом, обнаруживалась скандальная ситуация: оказывается в странах, называющих себя демократическими, никакой власти демоса на самом деле не существует. Властные полномочия рядовых граждан обретают реальность (да и то ограниченную) лишь в тот момент, когда им раз в несколько лет вручают избирательный бюллетень и перестают быть реальностью через мгновение, когда они расстаются с этим бюллетенем, бросая его в урну для голосования. После этого вся власть – власть неконтролируемая – переходит в руки «избранных народа», действующих исключительно по собственному усмотрению.

Что было делать в этой ситуации? Одно из двух: 1) либо честно констатировать смерть демократии как власти народа, ее несовместимость с условиями времени и существование в Америке и Европе каких угодно, но только не демократических режимов и, быть может, призвать общественность к изменению ситуации и созданию условий, позволяющих демосу обрести необходимые для властвования качества, а в итоге и власть; 2) либо предложить неклассическую («процедурную») концепцию демократии.

Шумпетер пошел по второму пути. Он не верил в демос. Но он не хотел устраивать публичные похороны демократии. Напротив, он решил ее спасти путем отождествления сложившихся в Европе и Америке моделей властных отношений с демократией, благо, что

властные органы избирались там народом. Отсюда и сведение демократии к процедуре избрания лидеров на конкурентной основе.

Примечательно, что, обосновывая свою позицию, ревизионисты обвиняли классиков в том, что те не делают необходимых различий между нормативными спекуляциями и научными эмпирическими исследованиями, т.е., проще говоря, между идеалом и реальностью и судят о наличии или отсутствии демократии по степени соответствия реального положения вещей умозрительному идеалу. Научная же теория демократии, настаивали они, должна являть собой систему эмпирически верифицируемых пропозиций, имеющих целью предсказывать поведение операционально определяемых переменных. Это была типично бихевиоралистская позиция, чего ревизионисты, собственно, и не скрывали и что отражало дух времени.

За годы, минувшие с тех пор, как Шумпетер обнародовал свою теорию, число его сторонников увеличилось. А многие теории демократии, сконструированные в США на протяжении второй половины XX века (Дж. Сартори, А. Лейпхарт) несут на себе более или менее отчетливую печать процедурно-элитистского подхода. Но сохраняют свои позиции и приверженцы классической теории (Р. Рорти, Дж. Стур), выступающие против сведения демократии к форме правления, да еще в ее процедурном измерении. Удерживают определенные позиции и сторонники *партиципаторной демократии* (демократии участия). Ее теоретики (К. Пейтман, Дж. Циммерман, Дж. Фишкин) ратуют за «реабилитацию» рядовых граждан как компетентных субъектов политики и настаивают на их способности и праве непосредственно участвовать в принятии решений (не только политических), влияющих на их жизнь.

Таким образом, к концу XX века *мейнстрим американской демократической мысли составляли три течения: классическая демократия, ревизионизм и партиципаторная демократия*. Они в чем-то изменились по сравнению с прошлым, но суть их осталась прежней. Прежними остались и позиции немногочисленных левых из коммунистических, социалистических и анархистских групп, а также независимые одиночки вроде Н. Чомского, которые никогда не исчезали с американской идейно-политической сцены. Они утверждали, что американское государство, обнаруживая свою неспособность удовлетворить требования трудящихся, теряет легитимность; что социальное (имущественное, статусное, расовое, национальное, гендерное) неравенство сводит на нет декларируемое политическое равенство; что агрессивная внешняя политика США разрушает внутреннюю демократию и т.д. Но, по сути, они не изобретали ничего принципиально отличного от того, что когда-то

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

уже предлагалось в Америке «отцами-основателями», классиками, популистами либо прогрессистами.

При более внимательном же рассмотрении, за всеми этими позициями (включая ревизионистскую, которая на самом деле воспроизводит позицию хорошо известного демократического элитизма), мы видим все те же два противоборствующих подхода к интерпретации демократии, которые в принципиальных чертах сложились еще в период формирования Соединенных Штатов. Конечно, никто из американских демократов второй половины XX века не вспоминал об аграрной Америке и не ратовал за всеобщую прямую демократию. Но идея включения – в той или иной форме – простого человека в демократический процесс продолжает жить в умах и сердцах американцев. Как продолжает жить идея передачи властных полномочий в руки компетентных, энергичных профессионалов, управляющих (если несколько переиначить формулу Линкольна) от имени народа, но при этом стоящих над народом и вне народа.

Мечты о глобальной демократизации

Ну а что интересовало американских демократологов конца XX века? Обсуждался неизменно острый, но и традиционный для США вопрос о социальном, политическом и экономическом *равенстве*⁷⁵. Относительно новым тут, пожалуй, следует считать то, что проблема политического равенства расовых и этнических общностей частично трансформируется в проблему равенства культурного, что нашло отражение в так называемых культурных войнах 1980–1990-х годов. Другой относительно новый поворот – рассмотрение темы о равенстве женщин не через узкий «женский вопрос», а через призму гендерной проблемы, где вопрос о положении женщин вводится в более широкий контекст положения полов в обществе [35].

⁷⁵ В теоретическом плане эта проблема наиболее глубоко рассматривается в работах Р. Дворкина, «Ни одно правительство, — настаивает американский исследователь, — не является легитимным, если оно не проявляет равной заботы о судьбе всех граждан, над которыми оно претендует властвовать и лояльности которых оно требует. Равная забота — суверенная добродетель политической общности — без нее правление есть всего лишь тирания...» Равная забота «требует, чтобы правительство исходило из такой формы материального равенства, которую я называю равенством ресурсов, хотя в равной мере допустимы и другие названия» [34, р. 1, 3].

Продолжались дискуссии о *функциях и масштабах социального государства и его роли в демократическом процессе* [36]. При этом одни видели в системе социального обеспечения необходимое условие существования демократических порядков в стране, тогда как другие рассматривали ее как скрытое, а то и неприкрытое покушение на демократию⁷⁶.

Не потерял актуальности вопрос о *формах и пределах государственного регулирования рынка*, который, выступая в качестве одного из фундаментальных институтов, гарантирующих личную свободу, остается при этом совершенно глухим к социальному и экономическому неравенству – индивидуальному, групповому и региональному (со всеми вытекающими отсюда катастрофическими для современной демократии последствиями) [38].

Продолжала обсуждаться проблема *свободы* (как предпосылки демократии), приобретшая особую остроту в условиях, когда беспрецедентная научно-техническая вооруженность властных институтов открывает столь же беспрецедентные возможности манипулирования сознанием и поведением людей на индивидуальном, групповом и социетальном уровнях [39]. Осознание этого факта, равно как и некоторые внутриполитические процессы – вмешательство общественности в личную жизнь президента Клинтона, усиление контроля силовых структур над жизнью граждан – вызвали новое обострение неизменно актуальной для американского общества проблемы *приватности и прав человека*.

Появились и стали предметом обсуждения совершенно новые проблемы, порожденные радикальной перестройкой мира и возникновением такой угрозы, как международный терроризм. И хотя число серьезных научных публикаций, рассматривающих *перспективы демократии в условиях террористической угрозы* невелико [40–41], к настоящему времени уже успел обозначиться ряд позиций по этому вопросу. В сжатом виде их можно сформулировать следующим образом: 1) терроризм – одна из главных угроз демократии как таковой и американской демократии в частности; 2) нельзя исключать, что под предлогом укрепления национальной

⁷⁶ «Социальная политика (*welfare policies*) критикуется либертаристами как незаконное вторжение государства в сферу [отношений] собственности и личной свободы; неоконсерваторами – как поощрение зависимости, а значит и увековечение тех самых зол, которым они намеревались противодействовать; эгалитаристами – как патернализм и дегуманизация; традиционными левыми – как социальное умиротворение, маскируемое под гуманитарную политику; последователями Фуко – как одно из проявлений скрытого распространения социальной дисциплины на [все сферы] современной жизни» [37, р. 38].

безопасности власти могут повести наступление на права и свободы граждан, вынудив их обменять свободу на безопасность; 3) борьба с терроризмом с помощью одних лишь силовых и, по сути, антидемократических методов не может привести к победе над ним.

И все же лидирующие позиции в американской демократологии конца XX – начала XXI века заняла другая проблема – проблема *демократизации мира и демократического транзита*.

Америка, как уже говорилось, всегда считала, что на ней лежит великая миссия осчастливливания мира – в том числе посредством повсеместного насаждения демократических порядков. Но давала о себе знать и политическая сторона дела: в переходе «остального мира» на демократические рельсы Америка видела одно из условий обеспечения собственной безопасности. Как писал Хантингтон, «будущее свободы, стабильности, мира и Соединенных Штатов в определенной степени зависит от будущего демократии» [33, с. 41].

Это связывалось, в частности, с тем обстоятельством, что с 80-х годов XX века в Америке начала складываться так называемая *теория демократического мира* («*демократии друг с другом не воюют*»), представленная работами М. Дойла, Б. Рассета и ряда других крупных теоретиков-международников. Получалось, что глобальная демократизация открывает путь к реализации давней мечты человечества – утверждению мира во всем мире.

Исследуя историю и логику становления демократических режимов в различных частях мира, американские аналитики (Ф. Шмиттер, Л. Уайтхед, Л. Даймонд, Х. Линц, С. Липсет, С. Хантингтон и др. [42-48]) особое внимание уделяли процессам, которые протекали в рамках последней, третьей, волны демократизации, начавшейся в 1970-х годах. Иначе говоря, их больше всего интересовал происходящий в рамках этой «волны» *процесс перехода* к демократии или, как стали позднее говорить, *демократический транзит*: его механизмы, динамика, стадийность.

В 1990-х годах сложилась так называемая *парадигма транзита* [49]. Было разработано несколько ее версий. Однако большинство исследователей рассматривали транзит как процесс, включающий в себя три стадии (фазы): либерализацию, демократизацию и консолидацию. При этом они исходили из представления, что страна, порывающая с диктатурой, непременно становится на путь перехода к демократии. А важнейшей предпосылкой и базовым элементом демократизации считались свободные соревновательные выборы. Уровень экономического развития страны, ее историческое прошлое, социокультурные традиции учитывались как факторы второстепенной важности, нейтрализуемые инерцией демократического движения.

Новый кризис демократии

Сегодня уже очевидно, что *надежды на демократический транзит оправдались лишь в малой мере*. Для одних стран демократия оказалась невозможной и нежелательной, хотя поначалу все выглядело иначе, для других – желательной, но, как выяснилось, труднодостижимой в нынешних условиях. Это отчетливо видно на примере государств, родившихся на бывшем советском пространстве, включая те из них, где произошли «революция роз» и «оранжевая революция». Беру эти слова в кавычки, ибо только извращенный ум может называть демократическими революциями олигархические государственные перевороты. А велики ли успехи демократии в Азии, Африке, на Ближнем Востоке? Планы оперативной демократизации Афганистана и Ирака провалились. Да и вся стратегия демократизации «большого Ближнего Востока», выношенная администрацией Дж. У. Буша, выглядит в свете опыта последних лет ненаучной фантастикой.

Явные признаки *структурного и функционального кризиса существующей социально-политической системы* обнаруживаются ныне и в «старых» демократических странах. Можно по-разному истолковывать причины социального взрыва, потрясшего Францию осенью 2005 г. Но то, что он свидетельствует о низком уровне легитимности властей (по крайней мере, среди части населения), о невключенности многих людей в систему властных отношений, об отсутствии эффективных демократических механизмов регулирования социальных противоречий в постиндустриальном обществе, о невозможности «низов» достучаться до «верхов» и быть услышанными ими, – в этом нет сомнений. И подобного рода положение вещей характерно для многих европейских стран, свидетельство чему – активизация правых сил, готовых пустить под нож демократические институты и поддерживаемых при этом немалой частью населения.

В США ситуация несколько иная, но и там наблюдаются явные признаки кризиса демократии. Избранные властями методы борьбы с международным терроризмом уже привели к уменьшению транспарентности в деятельности многих государственных органов. Судьбоносные решения, сказывающиеся на жизни всех граждан (например, вторжение в Ирак) принимаются узким кругом лиц втайне от избирателей, которым подсовывается ложная информация. Это лишь усиливает *отчужденность народа от власти и власти от народа*. «Мы, – пишет Дж. Стур, – ...пришли к исключению людей из процесса эффективного принятия решений относительно их собственной жизни по политическим, экономическим, образовательным, экологическим, эстетическим и религиозным основаниям» [50, с. 14–15].

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

Демократия, сводимая к процедуре голосования, приводит к власти явное меньшинство, не способное, а по большей части просто не желающее учитывать интересы большинства и фактически не подконтрольное ему, но при этом обычно испытывающее зависимость от денежного мешка. Одновременно с этим *возрастает властное влияние институтов, никем не избранных, никому не подотчетных и фактически не несущих никакой ответственности перед обществом*. Как пишет политолог Ф. Закария, «по всем вопросам... хорошо организованные группы интересов – независимо от того, насколько малы соответствующие группы избирателей, – могут заставить правительство подчиниться их пожеланиям» [51, с. 8].

Все чаще говорится, особенно в последнее время, и об *архаичности некоторых демократических институтов, сложившихся в США*, их несоответствии требованиям времени. По словам того же Стура, «некогда эффективные исторические средства догматически преподносятся в качестве вечных целей – целей, стоящих над требованиями поступательного переустройства общества» [50, с. 14–15]. Как это выглядит на практике, американцы и мир увидели в 2000 г.: избрание президента США коллегией выборщиков обернулось тем, что хозяином Белого дома стал кандидат, беспорность победы которого, как утверждали многие эксперты, вызвала немалые сомнения.

Естественный спутник кризиса демократических институтов – *кризис демократического сознания, демократических ценностей, демократической идеи*. Ни у европейцев, ни у американцев, ни у кого-то другого нет сегодня внятных ответов на острые вопросы относительно организации демократической жизни в стране и мире в новых условиях. Убедительное тому подтверждение – отчетливо обнаружившаяся в последние годы несостоятельность идеи демократического транзита. Как справедливо замечает Т. Кэрозерс, «парадигма транзита была до какой-то степени полезной в период важных и зачастую неожиданных сдвигов, происходивших в мире (в 1980-х и отчасти в 1990-х годах – Э.Б.). Но становится все более ясным, что реальность больше не соответствует этой модели» [49, р. 6].

Еще одно свидетельство кризиса демократической идеи – *отсутствие представлений о путях сохранения демократии* в условиях ужесточения (а оно будет, по всей видимости, нарастать) принимаемых государством мер по укреплению национальной и международной безопасности. Необходимость такого укрепления связывают прежде всего с угрозой международного терроризма. Однако, как выясняется, ни одно государство, включая США, не знает, как можно укреплять свою национальную безопасность, не ограничивая при этом права и свободы граждан. Существуют ли совмести-

мые с сохранением демократических прав и свобод пути борьбы против терроризма? Или же обязательной платой за безопасность (да и то относительную) является их неизбежное ограничение? Если да, то сколь велика эта плата и каковы должны быть ее формы и границы? Пока все эти и другие вопросы остаются без внятных ответов.

Не решен весьма актуальный вопрос о *соотношении демократии и порядка в современных международных отношениях*. Могут ли последние строиться на демократических началах? Если да, то как должны выглядеть институты, принципы и ценности международной демократии? Кто в новых условиях должен быть носителем политического суверенитета? Такая неопределенность развывает руки тем, кто делает ставку на грубую силу, на войну.

Без внятных ответов, скорректированных с поправкой на новые обстоятельства, остаются и многие старые большие вопросы. Не настало ли время модернизировать существующую в США избирательную систему, и если да, то как и когда это делать? Каким образом ограничить монополизацию политической власти отдельными институтами и группами – легитимными и нелегитимными? Как умерить (коль скоро предотвратить это невозможно) воздействие денежного мешка на институты демократии?

Конечно, глубинные причины нынешнего кризиса демократии – будь то на теоретическом или практическом уровнях – коренятся в характере переживаемой эпохи. Как показывает история, какие-то времена оказываются для демократии «хорошими», а какие-то – «плохими». И тем не менее одна из причин нынешнего кризиса – *это отсутствие демократического идеала, соответствующего императивам новой эпохи*. Идеала не как образца недостижимого совершенства, а как реализуемой модели, организующей и направляющей общественную жизнь и вместе с тем включающей в себя определенную «сверхзадачу». Как заметил когда-то Дж. Дьюи, «необходимо снова и снова изучать саму идею, сам смысл демократии. Демократию надо постоянно открывать и переоткрывать заново...» [52, р. 182]. Задача тем более актуальная, что переполнение понятия «демократия» разными смыслами (неоправданное отождествление его со «свободой», «хорошим правлением», «абсолютным благом» и т.п.) парадоксальным образом делает это понятие практически бессмысленным и «аналитически бесполезным» [51 с. 8].

* * *

Нынешний кризис демократии пока еще не очень глубок, а значит, и преодолим без чрезвычайных жертв. Но многие даже не замечают (не хотят замечать) его, продолжая распевать песни о демократическом триумфе. Это опасная позиция, способная привести к даль-

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

нейшему углублению и ужесточению кризиса. Куда мудрее было бы взглянуть правде в глаза и подумать о том, как скорректировать (реформировать) существующие и выстроить новые (в том числе международные) демократические институты, отвечающие вызовам времени, и как могла бы и должна была бы выглядеть демократия в США и других странах мира в обозримой исторической перспективе.

1. Инаугурационные речи президентов США, М., 2001.
2. Lakoff S. Democracy. Boulder (Col.), 1996.
3. История США: Хрестоматия / Сост. Э.А. Иванян. М., 2005.
4. Даль Р. О демократии. М., 2000.
5. Burns J., Peltason J., Cronin T. Government by the People. Englewood Cliffs (N.J.), 1981.
6. Шелдон Г. Политическая философия Томаса Джефферсона. М., 2001.
7. Согрин В.В. Политическая история США. М., 2001.
8. Покровский Н. Джефферсон вчера, сегодня и всегда: Вступительная статья // Шелдон Г. Политическая философия Томаса Джефферсона. М., 2001.
9. Gabriel R. The Course of American Democratic Thought. N.Y., 1986.
10. Токвиль А. Демократия в Америке. М., 1994.
11. Lerner M. America as a Civilization. N.Y., 1957.
12. Burns E. Ideas in Conflict. The Political Theories of Contemporary World. N.Y., 1960.
13. История США: В 4 т. Т. 2. М., 1985.
14. Smith J. The Spirit of American Government. N.Y., 1907.
15. Beard Ch. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. N.Y., 1913 (2 изд. 1935; 3 изд. 1965).
16. Weyl W. The New Democracy. N.Y., 1913.
17. Lowell A. Public Opinion and Popular Government. N.Y., 1913.
18. Croly H. The Promise of American Life. N.Y., 1909.
19. Croly H. Progressive Democracy. N.Y., 1914.
20. Белявская И.А. Роберт М. Лафоллет: цена независимости (1855—1925). Ч. 1. М., 1995.
21. Wilson's Ideals / Ed. by S. Padover. Wash., D.C., 1942.
22. American Political Thought: The Philosophic Dimension of American Statesmanship / Ed. by M. Frisch and R. Stevens. Itasca (Ill.), 1983 (1st ed. 1971).
23. Merriam Ch. On the Agenda of Democracy. Cambridge (Mass.), 1941.
24. Lasswell H. A Study of Power. Glencoe (Ill.), 1950.
25. Lasswell H. Psychopathology and Politics. Chicago; L., 1986.
26. Дьюи Дж. Демократия и образование. М., 2000.
27. Дьюи Дж. Общество и его проблемы. М., 2002.
28. Dewey J. Christianity and Democracy: Address before the Students of Christian Association of the University of Michigan (May 1894) // The Early Works of John Dewey. Carbondale, 1971.

Свобода, демократия, культура

29. Dewey J. Philosophy and Democracy // The American Intellectual Tradition. Vol. 2. N.Y., 1997.
30. Dewey J. Middle Works. Vol. 13. Carbondale, 1997.
31. Рорти Р. Обретая нашу страну: политика левых в Америке XX века. М., 1998.
32. Стур Дж. Открывая демократию заново // Полис. 2003. № 5-6.
33. Хантингтон С. Третья волна. М., 2003.
34. Dworkin R. Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality. Cambridge (Mass.), 2000.
35. Race, Class, and Gender: an Anthology / Comp. by M. Andersen, P. Collins. Belmont, 1980.
36. Democracy and the Welfare State / Ed. by A. Gutman. Princeton, 1988.
37. Galston W. Political Theory in the 1980s: Perplexity Amidst Diversity // Political Science. The State of the Discipline II. Wash., D.C., 1993.
38. Markets and Justice: Nomos XXXI / Ed. by J. Chapman and R. Pennock. N.Y., 1989.
39. Bluhm A. Force or Freedom? The Paradox in Modern Political Thought. New Haven, 1984.
40. Stuhr J. Democracy in the Face of Terrorism // Kettering Review. Vol. 20, Winter 2002.
41. Meissner D. After the Attacks: Protecting Borders and Liberties // Carnegie Endowment. Policy Brief. November 2001.
42. Transitions from Authoritarian Rule / Ed. by G. O'Donnell, Ph. Schmitter, L. Whitehead. 4 vols. Baltimore (Md.), 1986.
43. O'Donnell G. and Schmitter Ph. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore (Md.), 1986.
44. Democracies in Developing Countries / Ed. by L. Diamond, J. Linz, S. Lipset. 3 vols. Boulder (Colo.), 1988.
45. Rustow D. Transitions to Democracy – Toward a Dynamic Model // Comparative Politics, 1970, vol. 2-3. (Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытка динамической модели // Полис. 1996. № 5).
46. Di Palma G. To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions. Berkeley, 1991.
47. Rueschmeyer D., Stephens E., Stephens J. Capitalist Development and Democracy. Chicago, 1992.
48. Handbook of Democracy and Governance Program Indicators. Wash., D.C., August 1998.
49. Carothers T. The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. Jan. 2002.
50. Стур Дж. Открывая демократию заново // Полис. 2003. № 5.
51. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М., 2004.
52. Dewey J. The Later Works. 1925-1953. Vol. 11. Carbondale, 1981.

Глобальный кризис демократии?*

Современная демократия переживает кризис. Возможно, кризис глобальный. Он не столь глубок и драматичен, как, скажем, кризис 20–30-х годов минувшего столетия, когда к власти пришли фашисты в Италии, нацисты – в Германии и большевики – в России. Тем не менее кризисные явления и процессы налицо, причем во многих регионах и странах...

Утверждение это может показаться тем более странным, что с конца 1980-х годов, а точнее, со времени распада мировой социалистической системы и Советского Союза, вошел в моду и стал восприниматься чуть ли не как трюизм тезис о всемирном торжестве не только либеральной, но и демократической идеи. И не только идеи.

О безоговорочной победе демократии говорили и политики, и пропагандисты, и политические исследователи, в том числе весьма серьезные. «В течение последних 50 лет мир стал свидетелем небывалых в истории политических перемен. Все политические системы, альтернативные демократии, либо исчезли вовсе, превратившись в диковинных ископаемых, либо удалились с политической арены, надеясь отсидеться в своих последних твердых» [1, с. 7]. Так писал в 1998 году крупнейший американский социолог, автор фундаментальных работ по демократии Роберт Даль. Так думало и большинство новых политических лидеров бывших социалистических стран, включая Россию, которая в начале 1990-х буквально бредила демократией.

Но прошло несколько лет, и эйфория сменилась тревогой: теперь все чаще говорят и пишут – и на Западе, и в России, – что с демократией не все так гладко, как казалось лет десять – двенадцать назад и, возможно, будет еще хуже. При этом признаки ее кризиса обнаруживают не только в тех странах, где демократия сделала лишь первые шаги, но и там, где ее корни глубоко ушли в почву. Это, кстати сказать, признавал тот же Роберт Даль: «Даже в странах с давними и глубоко укорененными демократическими традициями демократия, по мнению многих наблюдателей, переживает кризис или, по крайней мере, понесла значительный ущерб...» [1, с. 8–9].

В истории демократии кризисы случались не единожды, тем более что история эта носила *прерывистый характер и была лишена поступательности*. Возникнув в древнегреческих полисах в V веке до н. э. и просуществовав (Греция и республиканский Рим) почти десять столетий, демократия оказалась *политически невостребован-*

* Свободная мысль-XXI. 2005. №2. С. 13–24.

ной средневековым обществом и исчезла как массовое явление более чем на тысячу лет. Ее возрождение в Европе в качестве такового было связано со становлением капитализма, испытывавшего по мере своего развития все более настоятельную потребность в демократии как *форме и способе организации и поддержания властных отношений, адекватных духу и принципам либерализма laissez faire*.

Эта потребность сохранялась на протяжении всей истории капитализма, хотя развивалась современная демократия, как и сам капитализм, неравномерно, а в процессе ее развертывания в пространстве и времени возникали перерывы и «откаты» назад. Последний такой «откат» – у нас перед глазами.

Новый кризис демократии прослеживается уже на концептуально-теоретическом уровне. Число публикаций, в том числе научных, посвященных феномену демократии, неуклонно растет. А между тем содержание и смыслы этого понятия становятся все более туманными. «Демократия, – пишет один из видных ее исследователей Аренд Лейпхарт, – это понятие, которое решительно не поддается определению» [2, с. 38]. Ему вторит Маттеи Доган из французского Национального центра научных исследований: «В настоящее время слово “демократия” без предшествующего определения в большинстве случаев оказывается обманчивым» [3, с. 135]. В том же духе высказываются другие представители политической науки. Нет согласия в понимании демократии и на уровне массового сознания – в том числе и в России.

Подобного рода разногласия связана в немалой степени со *смысловой перегрузкой* понятия «демократия». Политические, социальные и экономические успехи наиболее развитых демократических стран (сопровождавшиеся их усиленным восхвалением и самовосхвалением) привели к тому, что демократия стала неоправданно отождествляться со свободой, благосостоянием, справедливостью, «хорошим правлением» и т. д., то есть рассматриваться как *синоним блага*, ключ к процветанию страны. В итоге понятие демократии утратило свой истинный смысл и стало, по словам американского политолога Фарида Закарии, «аналитически бесполезным» [4, с. 8].

В предлагаемых заметках мы (следуя линии, которой придерживаются многие исследователи) рассматриваем демократию как *форму и способ организации власти (властных отношений)*, в основе которых лежит самоуправление граждан. Говоря конкретнее, демократия есть такая форма организации властных отношений, при которой граждане могут *участвовать в принятии властных решений либо непосредственно (прямая демократия), либо через свободно избранных ими представителей (репрезен-*

тативная демократия), но при этом обладают возможностью оказывать действенное давление на последних и осуществлять контроль за их деятельностью.

Не будучи тождественной свободе, равенству и другим ценностям того же ряда, демократия вместе с тем оказывается действенной лишь при наличии определенных *условий и предпосылок*. Это *равенство граждан* (выступающих в качестве субъектов демократии) *перед законом и их уважение к закону*, прежде всего к Конституции или ее эквиваленту. Это свобода, а точнее – *наличие в обществе гражданских прав и свобод*. Это *уважение и защита прав меньшинства*. Это политическая, религиозная и культурная *толерантность*. Очевидно и то, что полноценная демократия возможна лишь при достижении обществом определенного (какого именно – вопрос дискуссионный) *уровня экономического и социального развития*.

Пожалуй, наиболее ярко и наглядно кризис современной демократии на концептуально-теоретическом уровне проявляется в кризисе так называемой *транзитологии* – совокупности концепций перехода (транзита) отдельных стран и групп стран от недемократического состояния к демократическому. Сложившаяся на Западе в 1980-х – начале 1990-х годов так называемая парадигма транзита предполагала, что он включает в себя ряд последовательных стадий. Это либерализация недемократического режима, затем его демократизация и наконец консолидация, в процессе которой политические, в первую очередь институциональные, формы наполняются демократическим содержанием. При этом предполагалось, что любая страна, порывающая с диктатурой, непременно становится на путь перехода к демократии. Особая роль в этом процессе отводилась институту свободных соревновательных выборов как необходимой предпосылке и вместе с тем базовому элементу демократизации. Что касается уровня экономического развития страны, ее исторического прошлого, социокультурных традиций, этнического состава населения, то они рассматривались как второстепенные факторы транзита, нейтрализуемые мощной инерцией движения страны к демократии.

Сегодня уже очевидно, что *парадигма транзита не выдержала испытания временем*. Как пишет (обобщая этот вывод) в своей статье «Конец парадигмы транзита» Томас Кэрозерс, она «была до известной степени полезной в период важных и зачастую неожиданных политических сдвигов, происходивших в мире (в 1980-х и отчасти в 1990-х годах – Э. Б.). Но становится все более очевидным, что реальность больше не соответствует этой модели» [5, р. 7]. «Неточным и дезориентирующим» оказался тезис о том, что страны, порвавшие с режимом диктатуры, твердо держат курс на демократию:

многие из тех, кто поначалу встал на путь демократических преобразований, в дальнейшем соскальзывали с него. Не оправдало себя и предположение о последовательном прохождении в процессе перехода всех стадий демократизации. Иллюзорным оказалось представление об определяющей роли выборов в процессе перехода к демократии. И напротив, выяснилось, что такие факторы, как уровень экономического развития и прежний политический опыт, играют весьма существенную роль. Наконец, стало очевидным, заключает Кэрозерс, что построение демократической государственности – проблема гораздо более сложная, чем казалось в годы подъема «третьей волны» демократизации [5, р. 14–17; 6, с. 26].

Но за кризисом парадигмы транзита стоит кризис самого процесса транзита. Из примерно сотни стран, считавшихся находящимися в состоянии перехода, только около двадцати могут похвалиться реальными успехами в демократическом строительстве. Остальные пребывают в «политической серой зоне». Во многих из этих стран, правда, приняты конституции, проводятся регулярные выборы, имеются оппозиционные партии, другие институты гражданского общества. Однако они слабо отражают реальные интересы граждан, а уровень политического участия последних за пределами электоральной сферы весьма низок; правительственные чиновники находятся не в ладах с законом; легитимность выборов вызывает сомнения; уровень доверия граждан к государственным институтам невысок, а функционируют эти институты плохо. Это и есть, заключает Кэрозерс, «конец» парадигмы транзита...

Одним из последних по времени и, возможно, самых наглядных подтверждений кризиса стратегии форсированной демократизации мира стал провал политики США и их союзников в отношении Афганистана и Ирака. Какие-то внешние атрибуты демократии там могут и появиться, а что-то уже появилось, хотя и в пародийной форме. Но нет никаких убедительных свидетельств того, что демократические ценности стали привлекательными для основной массы афганцев и иракцев или что в этих странах созданы необходимые условия для становления демократических институтов.

Не менее убедительное свидетельство провала стратегии транзита – процессы, происходившие на постсоветском пространстве, включая Россию. Бывшие среднеазиатские республики установили в своих странах авторитарные режимы, в некоторых случаях – более жесткие, чем поздний советский режим. Россия встала на путь демократических преобразований, но проводились они столь поспешно, хаотично, бессистемно и при столь сильной криминальной составляющей, что, с одной стороны, дискредитировали в глазах многих россиян саму идею демократии, а с другой – породили нега-

тивные политические тенденции, потребовавшие серьезной коррекции. Коррекции, которая, как это часто случается у нас в стране, сопровождалась и сопровождается неоправданными «перехлестами».

Так или иначе кризис демократии в России налицо. Он проявляется в *кризисе демократического сознания*, когда у политических лидеров нет четкого, конкретного и, что не менее важно, реалистического представления о том, какие демократические преобразования можно и нужно проводить в стране и как это следует делать, а большинство граждан имеет не то что смутные, а прямо-таки извращенные представления о демократии⁷⁷ и с готовностью поддерживает авторитарных лидеров и авторитарную политику.

Кризис демократии – *в необеспеченности равноправия и равенства сторон, состязающихся друг с другом в борьбе за властные мандаты*. Использование «грязных» избирательных технологий давно уже стало притчей во языцех. И борьба на выборах, особенно региональных, – это зачастую борьба не между группами граждан, партиями (в большинстве своем неустоявшимися и хилыми) и даже не между элитами, а между денежными мешками, порой с криминальным клеймом. Конечно, отказ гражданам регионов в праве избирать своих губернаторов – это отступление от демократии. Но не стоит ли за этим шагом отказ от механизма, который давно уже обнаружил свою неэффективность, чтобы не сказать контрпродуктивность?

Кризис демократии – *в скептическом отношении граждан к институту выборов (абсентеизм); их недоверии к кандидатам, участвующим в борьбе за власть*, о чем свидетельствует, в частности, неизменно высокий процент голосования «против всех». А властный мандат нередко получают политики, заручившиеся поддержкой чуть более 10–15 процентов избирателей.

Кризис демократии – *в невысоком уровне доверия граждан к избранным властям* (единственное и потому неутешительное исключение – президент). Говорю «неутешительное», поскольку концентрация доверия на одном-единственном человеке, как бы хорош он сам по себе ни был, – это плохо для демократии, в основе которой лежит принцип плюрализма и состязательности.

⁷⁷ Согласно опросам общественного мнения, проведенным в феврале 2004 года Центром Юрия Левады, российские граждане, отвечая на вопрос «Что означает демократия?», называли «свободу слова, печати, религии» (44 процента); «экономическое процветание страны» (31 процент); «строгое соблюдение законов» (24 процента); «порядок и стабильность» (29 процентов); «возможность делать, что хочешь» (6 процентов) и т.п. Только 18 процентов (!) ответили, что демократия – это «выборы руководителей государства», и только 6 процентов увязали демократию с «защитой прав меньшинства» [7].

Кризис демократии – *в отсутствии эффективных рычагов контроля граждан над деятельностью избранных ими властей* – местных, региональных и тем более федеральных. Наступление на прессу, которым были отмечены в России последние несколько лет, – это, конечно, не наступление на демократию. Это наступление на свободу. Но свобода, повторим, – необходимое условие демократии, и ее ограничение неизбежно сказывается на состоянии последней.

Проявляется кризис российской демократии и в характере распределения властных полномочий между законодательными, исполнительными и судебными органами, и в отношении к ним со стороны общества. *Реальная способность принимать судьбоносные властные решения фактически сосредоточивается в руках исполнительных органов*, причем нередко властные функции присваиваются администраторами, обязанность которых – организация исполнения принятых политиками решений. Серьезную озабоченность вызывает и положение в обществе судебной власти, неангажированность которой (вспомним расхожие суждения о «басманном правосудии») постоянно ставится под сомнение.

Свежее свидетельство кризиса демократии на постсоветском пространстве – попытки государственного переворота в Грузии и на Украине. В первом случае такая попытка, как известно, увенчалась успехом. Каков будет финал событий на Украине, покажет время. Однако уже сегодня очевидно, что демократические (конституционные) механизмы и методы смены власти, закрепленные в законодательстве обеих стран, ни в Грузии, ни на Украине не работали.

Очевидно и другое (это подтвердил годичный опыт деятельности новых грузинских властей): государственные перевороты, пусть даже антиавторитарные, не ведут к установлению в стране демократического режима. Способ производства продукта определяет его качественные характеристики не только в экономике, но и в политике. Так что все «извиняющие» объяснения вроде того, что насилие над «антидемократическим» порядком было совершено во имя установления «подлинно демократического» режима, всерьез приниматься не могут.

События в Грузии и на Украине продемонстрировали готовность значительной части населения этих стран поддержать насильственные, антиконституционные действия оппозиции – убедительное свидетельство широкого распространения в них революционно-бунтарского сознания, которое по самой своей природе глубоко антидемократично.

И еще один момент. Политические наблюдатели приводят данные, свидетельствующие о прямой причастности Запада к действиям грузинских и украинских путчистов. А до этого было еще вме-

шательство – вооруженное вмешательство – Соединенных Штатов и их союзников в дела Югославии. Было вооруженное вторжение в Ирак. Было еще немало акций, свидетельствующих об устойчивой ориентации некоторой части западных элит на недемократические методы проведения внешней политики и защиты интересов Запада любыми (!) методами.

Существенные и притом ставшие устойчивыми сбои в работе демократических механизмов и изменения в состоянии демократического сознания обнаруживаются и в «старых демократиях». Это признают и западные аналитики, отмечающие *невысокий уровень политического участия граждан, сговор государства с корпорациями, усугубляющееся реальное (а иногда и формальное) неравенство граждан, покушение на их права, низкое качество разработки и принятия политических решений, несовершенство механизмов управления обществом, падение уровня легитимности власти и т.п.*

Все чаще говорится в последнее время – особенно применительно к США – и об архаичности некоторых демократических институтов, сложившихся еще в прошлом веке или и того раньше. По словам Джона Стюра, профессора Вандербильтского университета, «некогда эффективные исторические средства догматически преподносятся в качестве вечных целей – целей, стоящих над требованиями поступательного переустройства общества» [8, с. 14–15]. Что это значит на практике, весь мир увидел в 2000 году: избрание президента США коллегией выборщиков обернулось тем, то в Белый дом въехал политический деятель, получивший, как утверждают эксперты, фактически меньше голосов избирателей, чем его конкурент.

Но, пожалуй, главное (и во многом обобщающее) свидетельство кризиса западной демократии – это *отчуждение власти от народа и народа от власти*. «Мы, – замечает Стур, – ...пришли к исключению людей из процесса эффективного принятия решений относительно их собственной жизни по политическим, экономическим, образовательным, экологическим, эстетическим и религиозным основаниям» [8, с. 14–15]. Демократия, сводимая к процедуре голосования, *приводит к власти меньшинство, зачастую не желающее, а нередко и не способное учитывать интересы большинства и практически не подконтрольное ему*. Более того, *возрастает властное влияние институтов* (прежде всего в лице групп интересов), *никем не избираемых и никому не подотчетных даже формально*. «По всем вопросам...хорошо организованные группы интересов – независимо от того, насколько малы соответствующие группы избирателей, – могут заставить правительство подчиниться их пожеланиям. Реформы, предназначенные для того, чтобы

привести к власти большинство, породили власть меньшинства» [4, с. 183]. Аналогичную картину можно наблюдать и в Европе – с той лишь, пожалуй, разницей, что борьба групп интересов принимает там более четкий партийный оттенок.

Но и в Америке, и в Европе роль денежного мешка в процессе принятия властных решений оказывается чрезмерной. Это проявляется даже на уровне прямой демократии. «Изначально задуманная для того, чтобы избавить государственную политику от чрезмерного воздействия на нее крупного бизнеса, прямая демократия превратилась в арену, где в игру могут вступить только наиболее состоятельные граждане и группы влияния» [4, с. 213].

Могут заметить, что выборы в «старых» демократиях проходят, как правило, с меньшими подтасовками, чем в демократиях «новых»; что властные механизмы работают в них с меньшими сбоями; что избирательные кампании в них менее коррумпированы и т.п. В общем – что кризис западной демократии не сравнить с его проявлениями за пределами Северной Америки и Европы. Но разве американцам и европейцам легче от того, что другим еще хуже?

Отсюда и позиция избирателей, которые «все меньше склонны доверять избранным ими лидерам, политическим партиям, государственным чиновникам, считая, что те не могут достойно или хотя бы успешно справляться с такими проблемами, как постоянная безработица, бедность, преступность, социальное обеспечение неминуемых, иммиграция, налогообложение, коррупция» [1, с. 8]⁷⁸.

Тревожные явления, свидетельствующие о кризисе демократии, наблюдаются в последние годы в электоральном поведении граждан ряда европейских стран – Франции, Германии, Австрии, ряда других. Недовольство складывающимся положением вещей (приток гастарбайтеров, увеличение числа иммигрантов из стран «третьего мира», постепенно меняющих культурный облик «белых» демократий; материальные затруднения, связанные с кризисом социального государства, и т. п.) толкают часть населения на путь *протестного голосования в пользу крайне правых, откровенно антидемократических сил*.

Нельзя не упомянуть и о таком проявлении кризиса демократии, как ее *неспособность эффективно противостоять новым угрозам – прежде всего так называемому международному терроризму*.

⁷⁸ Так, согласно многочисленным опросам службы Гэллага, численность граждан, согласных с тем, что «правительству в Вашингтоне можно доверять, поскольку оно всегда или в большинстве случаев поступает правильно», уменьшилось с более чем 70 процентов в начале 60-х годов прошлого века до примерно 30 процентов в конце прошлого – начале нынешнего столетия.

Естественная реакция государства на проявления последнего – укрепление национальной безопасности. Однако, как выясняется, ни одно демократическое государство и ни одно демократическое правительство в мире не умеют обеспечивать безопасность иначе, как за счет *фактического ограничения прав и свобод своих граждан*. (По этому пути пошли после трагедии 11 сентября Соединенные Штаты, по этому пути идут Россия и другие страны.) Резкое повышение уровня секретности и закрытости деятельности правительственных учреждений, рост числа не контролируемых снизу (а иногда и сверху) тайных политических операций, проводимых дома и за границей, фактически блокируют или ограничивают возможность постоянного и эффективного гражданского контроля над деятельностью многих органов власти.

Причины нынешнего кризиса демократии многообразны и в конкретном своем проявлении варьируются от региона к региону и от страны к стране. Но есть и общие, базовые причины, связанные с природой демократии, характером современной эпохи и особенностями демократической практики.

Одна из таких причин – *неадекватная интерпретация феномена демократии*, проявляющаяся, как отмечалось выше, в смысловой перегрузке этого понятия, неоправданном отождествлении демократии с общим благом. Такого рода интерпретации порождают завышенные ожидания: с демократией связывают надежды, осуществление которых она просто не в состоянии обеспечить, а это ведет к неизбежному разочарованию в демократии, а нередко и разрыву с демократическими институтами и принципами, что особенно характерно для «транзитников».

Как и любая другая система властных отношений, *демократия обладает ограниченными политическими возможностями* и оказывается действенной далеко не во всех ситуациях и не при всех обстоятельствах. Так, еще в 1970-х годах исследователи пришли к выводу о неэффективности демократических выборов в расколотых обществах с устойчивыми религиозными и этническими границами. Плохо работают демократические механизмы и в чрезвычайных ситуациях (войны, социальные взрывы, катастрофы и т.п.). Не случайно в конституциях демократических государств предусматривается возможность введения чрезвычайного положения, суть которого – в известном ограничении демократии. Между тем конец минувшего – начало нынешнего столетий отмечены стойким увеличением – в глобальном масштабе – числа чрезвычайных и кризисных ситуаций, которые становятся чем-то привычным и обыденным. Особую тревогу в связи с этим вызывает появление международного терроризма как перманентной угрозы всем демо-

кратическим странам, демократии как таковой. Если последняя не отыщет путей повышения своей способности к самовоспроизводству в условиях постоянной внешней (а где-то и внутренней) опасности, ее ждут нелегкие времена.

Еще одна причина нынешнего кризиса демократии – *попытки форсированной глобализации последней и насаждения ее там, где для этого отсутствуют необходимые предпосылки*. Конечно, вопрос о «стартовом минимуме» условий демократизации всегда вызывал большие затруднения, но его (вспомним о парадигме транзита) зачастую даже и не задавали, наивно полагая, что главное – начать, «ввязаться в бой», а там уже энергия и инерция самого процесса демократизации сметут, мол, все преграды на ее пути.

В числе причин кризиса демократии – *и отсутствие опыта и навыков ее построения, равно как и повседневного управления демократическими механизмами*. Лидерам бывших советских республик, имевшим, как правило, смутное представление о демократии, но видевшим в ней ключ к решению всех проблем, приходилось заниматься политической импровизацией, уводившей подчас далеко в сторону от поставленной цели. Впрочем, в подобной ситуации находились и многие другие «транзитники».

В связи с этим следует сказать и о таком мощном тормозе демократизации общества и функционирования демократической системы, как *отсутствие демократической политической культуры*. Еще много лет назад Г. Алмонд и С. Верба предупреждали: «Для развития стабильного и эффективного демократического правления требуется нечто большее, нежели определенные политические и управленческие структуры. Это развитие зависит от... политической культуры. Если она не способна поддерживать демократическую систему, шансы последней на успех невелики» [9, р. 498].

Ни в России, ни на постсоветском пространстве в целом, ни в большинстве стран «серой зоны» демократической политической культуры не было и нет. И ничего удивительного: для ее формирования нужны годы и годы целенаправленных усилий. К тому же мало просто создать такую культуру: необходимо постоянно заботиться о ее *воспроизводстве* – как и о воспроизводстве демократической системы в целом и ее адаптации к новым условиям. Этого не было ни в России, ни в Европе, ни в Америке...

Кризис, переживаемый демократией, – не крах, не гибель, но именно кризис: болезненное состояние, сопровождающееся частичной дисфункцией и возникшее как следствие исторического перехода от одной эпохи к другой. И хотя ближайшие десятилетия обещают быть жесткими, наполненными тяжелой борьбой за власть внутри отдельных стран и за ресурсы и геополитические плацдар-

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

мы – на международной арене, у демократии есть шансы на преодоление нынешнего состояния, тем более что она значительно моложе демократии античной и далеко не исчерпала свой потенциал. Во всяком случае, пока существует капитализм, будет существовать и демократия, ибо это, говоря словами поэта, «близнецы-братья».

Современная состязательная демократия, предполагающая конкурентные выборы должностных лиц и конкурентное замещение руководящих постов, вполне согласуется с принципами капитализма как конкурентной рыночной системы. Более того, непрерывным условием нормального функционирования развитого рынка экономических товаров, капиталов и услуг является параллельное функционирование рынка политических товаров, капиталов и услуг в форме состязательной демократии.

Развитие общества в XX веке сопровождалось возрастанием социальной и политической роли масс как трансгрупповых общностей [10], эффективное управление которыми может осуществляться либо путем государственного подавления и манипулирования сверху, либо путем вовлечения их в политико-рыночный процесс (точнее, создания возможностей для такого вовлечения) и открытия для отдельных их представителей доступа во власть, включая ее высшие эшелоны. Представители масс получают возможность попытаться вполне законным путем, конкурируя друг с другом на выборах, «купить» властный мандат. Это не может не привлекать на сторону демократии представителей самых разных социально-профессиональных групп, рассчитывающих получить личный доступ во власть или обеспечить в ней групповое представительство.

В том же направлении действуют бюрократизация и сциентизация современного капиталистического общества. Гигантский рост бюрократического аппарата ведет к созданию сотен тысяч «теплых местечек», которые могут быть получены политиками и обсуживающими их специалистами преимущественно демократическим (состязательным) путем.

Коротко говоря, в условиях капитализма, где политические отношения превращаются в одну из разновидностей (хотя и разновидностей специфических) рыночных отношений, демократия выступает в качестве механизма их регулирования, который может переживать кризисы, но в целом сохраняет свою значимость до тех пор, пока существует спрос на политическую и административную власть как товар.

Шанс на выживание и дальнейшее развитие дает демократии и современный либерализм. В Европе и Америке (а затем в ряде стран Азии, например в Индии) путь к политической демократии пролегал через распространение в обществе либеральных ценнос-

тей. И хотя у современного либерализма нет оснований праздновать вселенскую победу (предсказанную некогда Фукуямой), он пока еще сохраняется – прежде всего в форме экономического либерализма – во многих странах и регионах современного мира, естественным образом расчищая путь к демократии.

Многое, конечно, будет зависеть от того, как ее сторонники распорядятся шансами, предоставляемыми историей. Сегодня часто ссылаются на известное (хотя и не всегда точно цитируемое⁷⁹) высказывание Уинстона Черчилля о том, что демократия хотя и не без изъянов, однако ничего лучшего человечество не придумало. Но кто сказал, что институт демократии не подлежит совершенствованию и что не надо пытаться уменьшить эти изъяны (устранить их вовсе, слава богу, не удастся никогда) и сделать демократические институты более адекватными императивам эпохи?

Много лет назад Джон Дьюи произнес замечательные слова: «Необходимо снова и снова изучать саму идею, сам смысл демократии. Демократию надо постоянно открывать и переоткрывать заново... Если демократия не движется вперед, если пытается остаться неизменной, она вступает на путь регресса, ведущий к ее угасанию» [12, р. 182]. Только последовав этому совету, можно рассчитывать на преодоление нынешнего кризиса демократии и последующее повышение ее эффективности как формы и метода народного самоуправления.

Сказанное относится и к России. Правда, переживаемый ею кризис демократии многие рассматривают как свидетельство несовместимости последней с традициями российской истории и российским менталитетом. Как заметила недавно губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, «по менталитету русскому человеку нужен барин, царь, президент... Словом, единоначалие» [13, с. 16]. Матвиенко «озвучила» то, о чем на самом деле думают многие наши соотечественники, но сказать вслух не решаются. А думают они так потому, что постоянно сталкиваются с инертностью мышления, гражданской пассивностью, ленью, безынициативностью, с патерналистской, а то и просто рабской психологией.

Изменить это нелегко. Есть и другие препятствия на пути демократизации, включая политику Запада в отношении России и ставшие постоянными угрозы со стороны международного терроризма. И тем не менее, если наша страна хочет решить стоящие перед ней проблемы и находиться в числе ведущих держав мира, ей придется идти по пути развития институтов либеральной демократии. Только таким образом может быть высвобождена столь необходимая для

⁷⁹ Об этой неточности см.: [11].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

подъема страны энергия созидания, дремлющая в народе. Только с помощью демократических механизмов могут быть обеспечены динамичная и регулярная смена лидеров и обновление политических элит, предохраняющие общество от застоя и «заболачивания» (что стало одной из причин гибели советского социализма).

Вопрос в том, как строить демократию в России и как конкретно должна она выглядеть. Печальный опыт 1990-х годов показал, что механическое использование западного политического опыта, равно как и скоропалительная и «сплошная демократизация», происходившие практически параллельно «сплошной приватизации», только дискредитировали демократию и отдалили от нее. Значит, надо думать, как исправить положение, не бояться и не стесняться искать (пусть порой методом проб и ошибок) какие-то новые модели, тактические и стратегические ходы. Но при этом не превращать всю страну в одно огромное поле для экспериментов. И не беспокоиться о том, «что станет говорить княгиня Марья Алексевна»...

1. Даль Р. О демократии. М., 2000.
2. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. М., 1997.
3. Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.
4. Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. М., 2004.
5. Carothers T. The End of the Transition Paradigm // Journal of Democracy. Vol. 13. Jan. 2002. № 1.
6. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003.
7. Levada Y.A.. What the Polls Tell Us // Journal of Democracy. Vol. 15. July 2004. №3.
8. Стур Дж. Открывая демократию заново // Полис. 2003. № 5.
9. Almond G., Verba S. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, 1963.
10. Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. Гл. III. М., 1990.
11. Баталов Э.Я. Демократия и война // Свободная мысль-XXI. 2004. № 7.
12. Dewey J. The Later Works: 1925-1953. Vol. 11. Carbondale, 1981—1990.
13. Итоги. 2004. 26 окт.

ФИЛОСОФИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

«Новый мировой порядок»: к методологии анализа*

Проблема «нового мирового порядка», «современного глобального порядка», «порядка в современной глобальной политике», а по сути – мирового политического порядка начала XXI в. стала в последние годы одной из самых злободневных и широко обсуждаемых политико-теоретических проблем. Причин для дискуссий немало. В их числе – неодинаковая интерпретация одних и тех же понятий, и прежде всего – ключевого понятия «порядок». Путаницу вносит и некорректное употребление ряда других терминов, особенно концепта «полюс» и производных от него. Дает о себе знать и различие культурных, цивилизационных, географических и геополитических «оптик». Добавим к этому неизбежную идеологическую насыщенность и экзистенциальную пропитанность самых объективных – по рациональным намерениям их создателей – теорий.

Впрочем, исследование топологических и экзистенциальных причин теоретических и политических разногласий – предмет отдельного разговора. А в предлагаемых заметках речь пойдет о принципах подхода к феномену мирового порядка. При этом мы попытаемся раскрыть содержание самих понятий «порядок», «политический порядок» и «политический миропорядок», а также выскажем некоторые соображения о теоретической модели миропорядка начала XXI в.

Многие современные концепции мирового развития и нового миропорядка выдержаны в *эсхатологическом духе*. Человечество, говорят нам, подошло к «последней черте» – по крайней мере, в пределах исторического цикла. Силы «добра», воплощенные в капитализме, демократии и либерализме, одержали *окончательную победу* над силами «зла», воплощением которых служили социализм (коммунизм), тоталитаризм и марксизм. Наступил «*конец истории*» [1], долгожданная эра господства Америки как «первой, единственной и *последней* истинно мировой сверхдержавы» (курсив мой – Э.Б.) [2, с. 254].

* Полис. 2003. № 5. С. 25–37.

Звучат и алармистские ноты, тоже, как известно, характерные для эсхатологических построений. Яркое подтверждение тому – статья С.Хантингтона «Столкновение цивилизаций?» (а потом и одноименная книга – уже без вопросительного знака). Грядущий мир автор рассматривает как арену столкновения западной, конфуцианской, японской, исламской, православно-славянской и африканской цивилизаций – столкновения, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств способно поставить человечество на грань катастрофы [3]. Тревогой проникнута книга американского историка П.Кеннеди «Вступая в двадцать первый век» [4]. Серьезную озабоченность вызывает будущее человечества у К.Коукера, утверждающего, что «западный мир... потерял ощущение цели и... создается впечатление, что он вступил в сумеречную пору своего существования» [5, с. 8]. П.Бьюкенен говорит уже не о «сумерках», а о «смерти» Запада. «Запад умирает, – пишет он. – Народы Запада перестали воспроизводить себя, население западных стран стремительно сокращается... Нынешний кризис грозит уничтожить западную цивилизацию... Католики, протестанты, православные – все участвуют в грандиозной похоронной процессии западной цивилизации» [6, с. 22].

После событий 11 сентября – даты, которая воспринимается как рубежная, подтверждающая «прозрения» С.Хантингтона о «столкновении цивилизаций», – эсхатологические мотивы появились в работах многих других авторов [см., напр. 7]. Эти настроения в какой-то степени провоцируются реальными процессами. Человечество впервые встречает новый век и новый миллениум на грани жизни и смерти: гигантские запасы термоядерного, химического и бактериологического оружия способны в одночасье истребить все живое и превратить Землю в пустыню.

Угрозы, подстерегавшие человечество в XX в., не только сохранились в новом столетии, но приобрели еще более злобный характер. К ним добавились новые – международный терроризм, увеличение числа и рост интенсивности межэтнических конфликтов, возникновение новых типов войн, напоминающих партизанские, но значительно более разрушительных; наконец, растущая виртуализация среды обитания человека. Вызывает тревогу и низкий уровень управляемости существующей мировой системой, а главное – качество этого управления.

Дополнительная причина широкого распространения эсхатологических настроений связана со спецификой восприятия человеком исторического времени в «пограничных» (или «канунических») ситуациях, когда один порядок – век, тысячелетие – сменяется другим. Такой переход – всегда *переход границы* (нередко

окрашиваемой культурной традицией в сакральные тона), отделяющей один экзистенциальный цикл от другого. Он формирует «кануническое» сознание, рождающее массу ожиданий, надежд и еще больше – фобий.

Как свидетельствует исторический опыт, казалось бы, таившие смертельную угрозу недуги в большинстве случаев успешно преодолевались. И немалая часть того, что сегодня воспринимается кануническим сознанием как мртогенное, вряд ли окажется таковым в ближайшей – или отдаленной – перспективе. Поэтому нужно с большой осторожностью относиться к тем концепциям мирового развития, которые предрекают скорое наступление «концов», будь они радостными или печальными. Мы живем в эпоху катастроф, резких исторических сдвигов, социальных и политических поворотов и переворотов. Но не всякая катастрофа прерывает существование системы, в рамках которой происходит. Вместе с тем человечеству едва ли удастся в обозримом будущем покончить с обрушившимися на него проблемами. Словом, нас ожидают не «конец истории» и не «конец света», а новые катастрофы и новые испытания.

Однако дело не только в эсхатологических преувеличениях. Многие модели нового мирового порядка строятся на постулатах, которые, на наш взгляд, не являются ни теоретически состоятельными, ни политически релевантными. Таков, прежде всего, постулат о *полюсной структуре* нового мирового порядка. Споры идут о том, будет ли последний «однополюсным», «биполярным» или «многополюсным»; какое количество «полюсов» следует признать оптимальным; каковы реальная, возможная и оптимальная структуры «полюсов» и наиболее вероятная динамика перехода от одной «полюсной» модели к другой, «Полюсное» видение укоренилось в сознании аналитиков и политиков, включая российских, и постоянно воспроизводится как само собой разумеющееся в документах, фиксирующих состояние международных отношений. Дискуссии ведутся лишь о том, следует ли мириться с якобы уже сложившимся «однополюсным» порядком (единственный полюс – США) или же надо стремиться построению «многополюсного» мира, в котором сила Америки и ее союзников уравновешивалась бы другими странами (группами стран).

Не совсем корректным представляется также постулат о *капиталистической основе* нового мирового порядка, хотя все без исключения бывшие социалистические страны дружно заявили о намерении развивать капиталистические отношения как единственно способные обеспечить высокий уровень экономического развития и материальную базу демократии. Уязвим и постулат о *либе-*

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

ральной природе политических ценностей, образующих фундамент нового миропорядка, и либеральном характере социально-политических ориентаций, определяющих поведение большинства индивидуальных (нации-государства) и групповых (международные организации) акторов, действующих на мировой арене. Уместно напомнить, что концепция «конца истории», выдвинутая в 1989 г. Ф.Фукуямой и наделавшая столько шума в академических и околоакадемических кругах, исходила именно из представлений о полной и окончательной победе либеральной идеи как высшего воплощения свободы, которой больше нет альтернативы.

Наконец, серьезные сомнения вызывает тезис о глобальном лидерстве США в рамках нового мирового порядка, получивший широкое распространение среди аналитиков. Даже те, кто признает, что Америка после окончания холодной войны утратила роль мирового лидера, убеждены, что США должны вести за собой человечество. Нынешний мир, утверждает, в частности, Г.Киссинджер, отчаянно нуждается в просвещенном руководстве, прежде всего – нравственном, и Америке предстоит выполнить эту миссию [8, с. 326; см. также 9].

Все названные постулаты трактуют отдельные черты «текущего момента» (к тому же тенденциозно истолкованные) как устойчивые стратегические тенденции, генерирующие новый мировой порядок и определяющие его долгосрочные характеристики. При этом игнорируются тенденции и процессы, зафиксированные еще в конце прошлого века в концепциях «постиндустриального», «информационного» и «глобального общества» – концепциях, которые подводят к выводу, что время классических миросистемных структур приближается к концу и наступает эпоха неклассических релятивистских миросистем и миропорядков, не укладывающихся в привычные идентификационные схемы XIX и XX вв. Сегодня эти системы и порядки могут быть описаны лишь как *вероятностные*, ибо определяющие их тенденции проявились к настоящему времени с разной – зачастую невысокой – степенью отчетливости. Тем не менее, информация, доступная исследователю, позволяет высказать ряд гипотетических суждений о некоторых *базовых принципах* нового миропорядка, точнее – одного из возможных (и, на наш взгляд, наиболее вероятного) порядков, который может принять зримые очертания в ближайшие десять-пятнадцать лет. Но прежде необходимо охарактеризовать, хотя бы в самых общих чертах, само понятие «*мировой порядок*».

В современной литературе по международным отношениям понятие «мировой порядок» встречается особенно часто. И это объяснимо. Как справедливо замечает профессор Джорджтаунского уни-

верситета Дж.Айкенберри, «центральной проблемой международных отношений является проблема порядка – как он устроен, как разрушается и как восстанавливается» [10, р. 22]. Но, чтобы подойти во всеоружии к рассмотрению «порядка в мировой политике», надо мысленно пройти по цепочке понятий: «порядок» – «социальный порядок» – «политический порядок». Ибо только располагая ответом на общий, абстрактный (философский) вопрос: «что есть порядок вообще, *порядок как таковой?*»⁸⁰, мы сможем составить представление о том, что такое *порядок в мировой политике, мировой порядок, глобальный порядок, международный порядок*.

О «порядке» писали такие крупные социологи и социальные психологи, как Ч.Кули, Р.Мертон, Л.Козер, Д.Ронг⁸¹. Касались этого вопроса и некоторые международники – в частности, С.Хоффман и Я.Тинберген [15–16]. В 1960 – 1970-х годах над проблемой «нового мирового порядка» бились гуманисты-радикалы – Р.Фолк, С.Мендловиц и др., подчеркивавшие, что рассматривают «порядок» как «установление» (arrangement), воплощающее «систему социальных и политических отношений» [17, с. 2]. Но, пожалуй, наибольший вклад в разработку концептуального аппарата, необходимого для исследования проблемы, внес Х.Булл, автор теперь уже классической книги «Анархическое общество. Исследование порядка в мировой политике» [18].

Обосновывая свои взгляды, он проходит по той самой «цепочке», о которой говорилось выше. По его мнению, «сказать о некото-

⁸⁰ Ни в одном отечественном справочнике по философии мы не обнаружим статьи «Порядок». Нет таковой и в большинстве зарубежных изданий, за исключением немецких. В «Философском словаре» под редакцией Г.Шмидта, вышедшем в Штутгарте в 1957 г., читаем: «Порядок (Ordnung) – ясная и четкая организация какой-либо сферы деятельности (в отношении человеческого существования, например, его позитивные нравственные свойства). Математический порядок – группировка всего многообразия величин в соответствии с математическими закономерностями. Политический порядок – установление жизненных отношений в зависимости от характера народа. Порядок как метафизический принцип имеет место уже в древнейшей космологии (слово «космос» для греков и означало «порядок»). Убедительнейший пример порядка – естественный порядок в том виде, как он воплощается в организме (целесообразном единстве многообразия). Категории бытия, «слои» бытия и законы природы постигаемы как принципы порядка (особенно отчетливо выявляющиеся в константах)» [11, с. 464].

⁸¹ Согласно Ч.Кули, социальный порядок можно представить «в виде множества сотрудничающих целостностей разного рода, каждая из которых содержит в себе конфликтующие элементы, поверх которых существует некоторого рода гармония ввиду того, что возможен конфликт с другими целостностями» [цит. по: 12, с. 37; см. также 13–14].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

ром количестве вещей, что вместе они образуют порядок, – это значит сказать, в самой простой и самой общей форме, что они соотносятся друг с другом определенным образом, что их отношения не носят чисто случайного характера, а построены в соответствии с некоторым отчетливо выраженным образцом (*discernable pattern*). Так, ряд книг, стоящих на полке, являют собой порядок, чего нельзя сказать о грудке книг на полу» [18, р. 3].

Булл в общем прав: порядок предполагает наличие определенных связей между образующими его вещами, а точнее говоря – наличие *корреляции* или *взаимной соотнесенности всех элементов порядка друг с другом*, при которой существенное изменение одного элемента неизбежно влечет за собой изменение (пусть отложенное во времени) остальных и, в конечном итоге, порядка в целом. Правда, при этом он оставляет нераскрытыми другие свойства порядка как родового феномена. Речь идет прежде всего об *устойчивости* (*стабильности*) связей, придающих порядку, если можно так выразиться, *стационарность*, т.е. обеспечивающих его устойчивость при взаимодействии со средой, в которую он погружен. Важно также подчеркнуть, что в динамических системах (а международные системы относятся к числу таковых) связи между элементами при всей их структурной устойчивости носят *динамический характер*, повторяются (воспроизводятся) при сохранении качественной определенности системы в изменяющихся ситуациях. Сказанное предполагает, что любому порядку *присущи пространственные ограничения* или, другими словами, *упорядочение возможно лишь в рамках ограниченного пространства* и необходимо представлять себе, каково оно.

Порядок в мировой политике – разновидность политического порядка, а политический порядок – разновидность порядка социального, который не может не воспроизводить, пусть в специфической форме, основные черты порядка как родового феномена. Специфика эта проявляется в его *человеческой природе* со всеми вытекающими отсюда последствиями. *Социальный порядок – это порядок, устанавливаемый людьми, среди людей и ради людей*⁸².

Мы говорим «*среди людей*», имея в виду, что он связывает их между собой, задает определенные параметры их взаимоотношений. Социальный порядок – незримый каркас общества. Он находит конкретное воплощение в системе социальных институтов (не

⁸² Упорядочение ими вещей тоже неизбежно приобретает социальную окраску, и «вещественный порядок» становится органической частью порядка социального. Пример тому – города, которые в материализованной («окаменелой») форме отражают специфику упорядоченности человеческих отношений в условиях конкретного пространства-времени.

путать с социальными организациями), нравственных, правовых, эстетических и иных принципов и норм, регулирующих отношения между людьми.

Мы говорим «*ради людей*», желая тем самым подчеркнуть, что социальный порядок всегда выстраивается во имя определенной цели, причем желательно, чтобы этой целью стало обеспечение блага как можно большего числа людей. В этом духе и строит свои рассуждения Булл. «Под порядком в общественной жизни, – пишет он, – я понимаю образец человеческой деятельности, которая поддерживает элементарные, первостепенные или универсальные цели общественной жизни. Эти цели – обезопасить человеческую жизнь от насилия; добиться выполнения соглашений и договоренностей между людьми; гарантировать им обладание собственностью, т.е. обеспечить три базовые ценности всякой социальной жизни, именуемые иногда ценностями жизни, истины и собственности» [18, р. 5].

Гуманистическая настроенность англо-американского теоретика заслуживает всяческой поддержки. Но сводить социальный порядок к идеалу – значит закрывать глаза на реальность, которая, как правило, далека от идеала, что не мешает ей оставаться порядком. *Человеческим порядком*, который правильнее называть не *устанавливаемым (установленным)*, а *устанавливающимся (установившимся)*, ибо он являет собой непрогнозируемый результат столкновения воли различных (групп) людей и их взаимодействия со средой существования. Порядком, в котором находит отражение изначально заложенная в природе социального бытия ограниченность возможностей человека как проектировщика и строителя социума и который (порядок) в этом качестве не имеет альтернатив.

Уровень эффективности и устойчивости социального порядка зависит от степени его поддержки теми, на кого он распространяется. Действительный и стабильный социальный порядок – тот, относительно главных параметров которого в обществе существует *консенсус*. Если же таковой отсутствует, если порядок навязан силой, то ее исчезновение или ослабление неминуемо ведут к распаду данного порядка.

Разновидностью социального порядка является порядок *политический*. Наиболее популярное определение «политики» трактует ее как отношения по поводу власти. И это в принципе закономерно: без власти нет политики. Но выражает ли она сущность последней? Ведь власть для общества – не цель, а средство, инструмент самосохранения. Обеспечить же самосохранение, т.е. нормальное функционирование и развитие социального целого, призвана политика. В таком случае политический порядок можно охарактеризовать как структуру общественных отношений (материализующихся в разного рода институтах, принципах, правилах), которые должны

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

сохранять целостность той или иной социальной системы – от небольшого поселения до мирового сообщества. И воспроизводится этот порядок путем принятия и реализации управленческих решений, что, собственно, и составляет суть политики.

В свою очередь, специфической разновидностью политического порядка выступает *порядок в мировой политике*. Сам факт его существования принимается сегодня специалистами почти как аксиома. А еще четверть века назад Х.Буллу приходилось доказывать (выстраивая целую систему аргументов), что отношения между государствами и другими акторами, действующими на мировой арене, имеют упорядоченный характер, несмотря на «анархию в международных отношениях», т.е. отсутствие органов власти (вроде мирового правительства), которым были бы готовы подчиняться суверенные государства, международные организации и другие субъекты мировой политики.

Принят ныне «на вооружение», пусть не всеми, и тезис о нетождественности «международного» и «мирового» порядков. «Понятие “международный порядок”, содержание которого традиционно связано с межгосударственными отношениями, необходимо отличать от мирового порядка, – пишет, например, П.А. Цыганков. – ...Международный (а вернее сказать, межгосударственный) порядок вполне может существовать без наличия мирового порядка... Мировой порядок немыслим без создания эффективных процедур межгосударственного сотрудничества, предполагающих особый международный порядок, отвечающий общим основным целям и ценностям их граждан» [19, с. 473]. Разводят эти понятия С. Хоффман, Дж. Айкенберри и многие другие исследователи [10, 15]. Сама же идея принадлежит Х.Буллу, обосновавшему ее в своем «Анархическом обществе». «Под международным порядком, – подчеркивал он, – я понимаю образец деятельности (a pattern of activity), которая направлена на поддержание элементарных или первичных целей общества государств (society of states), или международного общества» [18, р. 8]. «Общество государств», по мысли Булла, складывается тогда, когда группа государств осознает некоторую общность интересов и ценностей и чувствует себя связанной «общей системой правил, регулирующих их взаимоотношения, и принимает участие в работе общих институтов» [18, р. 13]. «Международное общество в обозначенном смысле предполагает существование международной системы. Но сама международная система может существовать, не являясь при этом международным обществом» [18, р. 14]. Иначе говоря, государства могут поддерживать контакты друг с другом, но при этом не чувствовать себя единым целым и не кооперироваться в работе общих политических институтов.

Однако общество государств, убежден Булл, способно подняться на такую ступень международного сотрудничества, когда его целью станет всеобщее благо. Это будет уже не международный, а мировой порядок, т.е. «такие образцы или предрасположенности (patterns or dispositions) человеческой деятельности, которые ориентированы на поддержание элементарных, или первичных, целей социальной жизни всего человечества» [18, р. 20]. Мировой порядок, по Буллу, «шире», «фундаментальнее» и «исконнее» (primordial) порядка международного, ибо он регулирует отношения не только на межгосударственном, но и на других уровнях, причем «конечными элементами» (ultimate units) «великого общества всего человечества» выступают «не государства (или нации, племена, империи, классы или партии), а индивидуальные человеческие существа, которые постоянны и неуничтожимы в отличие от образуемых ими разного рода объединений». Более того, он обладает «моральным приоритетом» по отношению к порядку международному, так как ведет к упорядочению отношений не между отдельными государствами, а «в человеческом обществе в целом» [18, р. 22].

Согласно Буллу, мировой порядок – порождение XX в. До второй половины XIX в. вообще не существовало политической системы, охватывающей весь мир, – существовала лишь «сумма различных политических систем, которые приносили порядок в различные части света» [18, р. 20]. Только в начале минувшего столетия складывается первая глобальная политическая система, позволяющая вести речь о мировом порядке в строгом смысле слова – то есть как об *упорядоченности политической жизни человечества*.

Ценность концепции Булла прежде всего в том, что ее автор одним из первых зафиксировал *тенденцию к глобализации мирового порядка* – и зафиксировал ее не просто в плане пространственного расширения, но и в содержательном смысле, когда государства оказываются вынужденными распахнуть, пусть не настежь, «двери» своих «национальных квартир», несколько умерить национальный эгоизм и строить как двусторонние, так и многосторонние отношения с учетом интересов других стран.

В последние десятилетия человечество существенно продвинулось в формировании общества государств, а значит – и мирового порядка. В орбиту мировой политики оказались втянуты страны, прежде мало в нее вовлеченные. Проблемы гуманитарного плана, касающиеся не только этносов, но и отдельных граждан, становятся предметом международного интереса. Возрастает роль межгосударственных и неправительственных организаций. И если о появлении мирового гражданского общества говорить пока еще рано, то тенденция к его становлению налицо.

Что же представляет собой мировой политический порядок в современном его толковании? Как сегодня можно расшифровать (переведа из бихевиоралистского в институционально-структурный регистр) и развить формулу автора «Анархического общества»?

Мировой политический порядок следовало бы, на мой взгляд, *толковать как систему коррелятивных связей между субъектами мирового политического процесса*, к числу которых относятся государства (пока еще главные акторы), межгосударственные и «неправительственные» организации, а также отдельные граждане и группы граждан, способные в силу финансовых, политических или иных возможностей оказывать ощутимое влияние на мировой политический процесс. При этом речь идет о связях *глобальных, более или менее структурированных и стабильных, но вместе с тем достаточно динамичных, а главное – соответствующих определенному поведенческо-институциональному образцу*. Подразумевается, что такой порядок *направлен на обеспечение функционирования и развития мировой политической системы в соответствии с доминирующими в мире (на данном этапе исторического развития) целями и ценностями*.

Еще один важный момент касается «*легитимности*» *мирового порядка*. Он мыслится способным «работать» либо при условии его добровольного принятия большей частью мировых акторов, либо если он навязан мировому сообществу теми акторами, которые на данном этапе вершат судьбы мира.

Один из самых интересных вопросов, возникающих при исследовании порядка в мировой политике (как и порядка вообще), касается его антипода. Что противостоит порядку? Во что он трансформируется, прекратив свое существование?

Многие убеждены, что антиподом порядка является *анархия*. Справедливость такого взгляда, возможно, и находящего оправдание в повседневной языковой практике, вызывает большие сомнения. Во-первых, анархия может рассматриваться как антипод порядка только применительно к социальным системам. Во-вторых, понятие анархии многопланово и многозначно. В частности, анархия нередко трактуется не как отсутствие власти *per se*, а лишь как отсутствие *определенного типа* власти, т.е. предполагает не дезорганизацию властной (или управленческой) системы, но ее организацию на новых, не репрессивных основаниях (скажем, на основе самоорганизации граждан). Наконец, упорядоченное (подчиненное общепринятым нормам) «мирное сосуществование» членов общества диктуется не только, а порой – и не столько государственным принуждением или страхом перед ним, сколько социальным инстинктом, общими интересами, привычками. Представляя анар-

хию антиподом порядка, мы – вольно или невольно – сводим последний к системе властных, в основном государственных отношений, что искажает сущность социального порядка.

Велик соблазн – к этому подталкивает все та же повседневная языковая практика – противопоставить «порядку» «хаос», как это делает, например, У.Ростоу. Главным по отношению к новому мировому порядку он считает вопрос: «Не приведут ли силы диффузии, которые сделали холодную войну устаревшей, к хаосу?» [20, р. 128].

Отождествление антипорядка с хаосом заводит исследователя в тупик. Ведь «хаос» (буквально: «первичное бесформенное состояние мира, бесконечное пространство»), как справедливо отмечает А.Ф. Лосев, есть «термин античной мифологии и философии, обозначающий неупорядоченную первопотенцию мира» [21, с. 430]. Иначе говоря, «хаос» – не антипод «порядка» (хотя сам он неупорядочен), а скорее его первоисточник. Именно так рассматривают его И.Пригожин и И.Стенгерс, противопоставляя порядок не «хаосу», а «беспорядку» [22, с. 55–61]. Аналогичной точки зрения придерживается и Х.Булл. [18, р. XI–XII].

Словом, идет ли речь о порядке природном или же социальном (включая политический), его антиподом выступает не «анархия», не «хаос», но «беспорядок». При этом, конечно, надо принимать в расчет, что и «порядок», и «беспорядок» суть идеальные (логические) типы, полюса оси. В любом «порядке» содержатся элементы «беспорядка» и наоборот – обстоятельство, из которого вытекают по меньшей мере два важных вывода.

Первый из них – необходимость отказа от априорной идеализации «порядка» и демонизации «беспорядка», равно как и от их аксиологической атрибуции. «Порядок» как таковой не является ценностью, тем более высшей, точно так же как «беспорядок» не является антиценностью. На уровне понятий они аксиологически нейтральны и обретают ценностные характеристики лишь тогда, когда получают конкретное воплощение и попадают в конкретный социально-политический контекст⁸³.

Второй вывод (имеющий принципиальное значение для корректной интерпретации ситуации порядка-беспорядка в социально-политической сфере) заключается в том, – и тут я расхожусь со многими исследователями, в том числе с Буллом, – что *ситуация отсутствия порядка в мире в целом или в частных его сферах исключена*. Может отсутствовать некий определенный порядок: же-

⁸³ Эту позицию разделяет и Х.Булл, который рассматривает порядок как «реальную или возможную ситуацию или положение вещей, а не как ценность, цель или объект усилий» [18, р. XII].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

лаемый, полностью сложившийся, стабильный и т.п., но какой-то порядок (порой мы его просто не в состоянии разглядеть⁸⁴) присутствует всегда. Свидетельство тому – сам *факт бытия (существования)* «неупорядоченного» круга предметов: кипы книг, общества, переживающего смуту, и т.п. Они бытийствуют (существуют) как таковые только потому, что связаны каким-то образом и друг с другом, и с окружающей средой. Применительно к сфере мировой политики это имеет огромное значение.

Нередко упускается из вида, что порядок, характеризующий живые, развивающиеся системы, включает не только их *функциональное состояние*, но также *процесс* их становления и эволюции. Отсюда и логика, которой придерживаются иные исследователи: коль скоро отсутствует стабильный, устоявшийся, привычный и комфортный порядок, значит, нет никакого порядка вообще. Раз нет стабильного и внешне косного мирового порядка – по типу существовавшего с начала 1950-х по конец 1980-х годов, – то мировой порядок отсутствует в принципе. Такую точку зрения отстаивает, например, П.Кеннеди. «Ясно одно: по мере исчезновения “холодной войны” мы имеем дело не с “новым мировым порядком”, а с беспокойной, изломанной планетой, проблемы которой заслуживают самого серьезного внимания политиков и общественности» [4, с. 407]⁸⁵. Еще более определенно высказывается Дж.Сорос: «Отличительная особенность нынешнего положения дел состоит в том, что его *нельзя назвать порядком*... До краха советской империи можно было говорить о некоем порядке в международных делах. Этот порядок именовался холодной войной и отличался замечательной стабильностью... Равновесие сил, которое существовало во время холодной войны, считается одним из способов сохранения мира и стабильности во всем мире; другой способ – это гегемония имперской державы; третьим могла бы стать международная организация, способная к эффективному миротворчеству. В настоящее

⁸⁴ «На протяжении долгого времени, – пишут Пригожин и Стенгерс, – турбулентность в жидкости рассматривалась как прототип беспорядка. С другой стороны, кристалл принято было считать воплощением порядка. Но... теперь мы вынуждены отказать от подобной точки зрения. Турбулентная система “упорядочена”: движения двух молекул, разделенных макроскопическими расстояниями (измеряемыми в сантиметрах), остаются коррелированными. Верно и обратное утверждение: атомы, образующие кристалл, колеблются вокруг своих равновесных положений, причем колеблются несогласованным образом: с точки зрения мод колебаний (теплового движения) кристалл неупорядочен» [22, с. 57].

⁸⁵ Суждение для историка довольно странное. Впрочем, резонно предположить, что он имел в виду новый мировой порядок не вообще, а исключительно в версии Дж.Буша.

время какой-либо из названных вариантов отсутствует» (курсив мой – Э.Б.) [9, с. 236–237].

Логика «железная»: стабильности в мире нет, равновесия нет, гегемонии нет, господства наднациональных институтов тоже нет – значит, нет и мирового порядка, отождествляемого, как легко заметить, с упорядоченностью международных отношений, *соответствующей одной из уже известных схем*. Но почему новый миропорядок должен соответствовать *старым* формулам? И почему он должен видаться таковым, только обрета завершённые, стабилизировавшиеся формы?

Сегодняшнюю ситуацию можно определить как *переход* человечества от старого, ялтинско-потсдамского, к новому, пока ещё не имеющему общепринятого обозначения порядку. Тем не менее, в каждый момент этого перехода мир пребывает *в более или менее упорядоченном состоянии*, т.е. состоянии, характеризующем наличием всех признаков порядка, о которых шла речь выше. Другое дело, что степень стабильности и срок жизни переходного порядка (точнее – переходных порядков) невелики. И говорим мы о «переходе» именно потому, что ожидаем появления новой, более устойчивой и упорядоченной миросистемы, которая продержится, сохраняя свою качественную определенность, сравнительно долгий срок. Но возникает вопрос: если такая система действительно сложится в недалеком будущем, то на каких принципах она будет построена? Другими словами, каким окажется новый миропорядок?

Первое. Грядущий миропорядок будет, по всей вероятности, *бесполюсным*, каковым, собственно, является уже сегодня. Полюса – это *полярные*, т.е. *контрарные*⁸⁶, одновременно отрицающие и предполагающие существование друг друга, *симметричные, соизмеримые* по жизненному потенциалу (военному, экономическому, политическому, научно-техническому) центры силы. Они образуют *противоположные точки силовой «оси»*, стягивающей воедино мировую систему. Взаимодействуя друг с другом, полюса определяют специфику ее функционирования, динамику и направление развития.

В рамках одной системы могут существовать только два противоположных силовых центра, *только два полюса*. А это значит, что мировые системы могут быть либо двухполюсными, а правильнее сказать – просто «полюсными», либо бесполюсными. В последнем

⁸⁶ Речь идет прежде всего о позиционной (структурной) противоположности, обуславливающей взаимоотрицание полюсов. Но она может дополняться противоположностью политической, социальной, экономической, идеологической и даже цивилизационной. Все это только усиливает полюсной характер системы, т.е. делает специфические характеристики полюсов более контрастными.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

случае мы имеем дело с моноцентрическими и полицентрическими системами (их и именуют, без всяких на то оснований, «однополюсными» и «многополюсными»).

Полюсная (в точном смысле этого слова) организация мировой системы обуславливает не только особый характер ее структуры, но и, повторю, специфику ее функционирования и развития: повышенный уровень конкуренции и борьбы за выживание; высокую степень ресурсной мобилизации каждого из полюсов; устойчивое разделение сфер влияния; невозможность появления «третьей силы». Но главные черты полюсного мира – системная стабильность и отсутствие гегемона, даже если один из полюсов несколько сильнее другого.

На данный момент вероятность того, что в обозримой перспективе человечество вновь окажется в двухполюсном мире, крайне мала. Складывающаяся система международных отношений будет иметь, скорее всего, бесполюсную структуру, что отнюдь не исключает наличия глобальных и региональных *центров силы*. Какими они будут и кто войдет в их число – вопросы открытые. Многие, в первую очередь заокеанские, аналитики, констатируя нынешнее преимущество Соединенных Штатов, полагают, что возможен лишь один глобальный центр – в лице США. Но есть и другая, более обоснованная, на мой взгляд, точка зрения, согласно которой мировой системе предстоит стать *полицентрической*, а самим центрам – *диверсифицированными*, так что глобальная структура силы окажется *многоуровневой и многомерной* (центры военной силы не будут совпадать с центрами экономической силы и т.п.), хотя и не обязательно сбалансированной [см., напр. 23].

Второе. Мировой порядок XXI столетия не может покоиться на социально-экономической основе, тождественной постклассическому *капитализму* второй половины XX в. В этом отдают себе отчет не только левые. «Парадоксально, что как раз в то время, когда у капитализма не осталось общественных конкурентов, – пишет, например, один из ведущих американских экономистов-теоретиков Л.Туроу, – когда умерли его прежние конкуренты, социализм и коммунизм, ему придется испытать глубокую метаморфозу» [24, с. 384]. Тревогу бьет и Дж.Сорос. «Система мирового капитализма, которой мы обязаны необыкновенным процветанием нашей страны, трещит по всем швам», – говорил он, выступая в Конгрессе США 15 сентября 1998 г. [9, с. IX]. Еще жестче ставится вопрос в нашумевшей книге Сороса «Кризис мирового капитализма» [9].

К сказанному стоит добавить, что сама возможность «построения капитализма» в бывших социалистических странах, особенно в Китае и России, вызывает, мягко говоря, большие сомнения. И прежде всего потому, что капитализм – не просто экономический

механизм или система социальных отношений, но *определенный тип цивилизации*. Капиталистическая экономика, подчеркивает Шумпетер, имеет «культурное дополнение» в виде социопсихологической *надстройки* – «того менталитета, который характерен для капиталистического общества, и в особенности для буржуазного класса» [25, с. 170].

Впрочем, будем ли мы рассматривать капитализм как общественно-экономическую формацию или как цивилизацию, он в любом случае предстает перед нами как *системный продукт исторической эволюции общества*, итог длительного спонтанного экономического, социального, политического и культурного процессов, характеризующихся множеством перманентно появляющихся случайных переменных. Капитализм *не был «построен»* человеком по собственному желанию, по заранее определенному плану или проекту. Он *сложился естественно-историческим путем*. Сложился, конечно, не без участия людей. Как писал в этой связи Шумпетер: «Экономические и социальные процессы развиваются по собственной инерции, и возникающие в результате ситуации вынуждают отдельных людей и социальные группы вести себя определенным образом, хотя бы они того или не хотят, – вынуждают, разумеется, не путем лишения их свободы выбора, но путем формирования менталитета, ответственного за этот выбор, и путем сужения перечня возможностей, из которых этот выбор осуществляется» [25, с. 182].

Отсюда следует, что тот, кто пожелал бы «построить капитализм» у себя в стране – не рынок в той или иной его форме, не систему свободного предпринимательства или частнособственнических отношений, но именно «капитализм» в полном смысле этого слова, – тот должен был бы попытаться воспроизвести не только соответствующие ему экономические, социальные, политические, культурные «элементы», но и ту трудноуловимую и вместе с тем чрезвычайно важную составляющую, которую М.Вебер именовал «духом капитализма» [26]. А это – невыполнимая задача, ибо человечество не умеет – что, вероятнее всего, к лучшему, – управлять собственной эволюцией.

Безусловно, ни Туроу, ни Сорос, ни другие либеральные критики капитализма не собираются отправлять его «на свалку истории». Но в отличие от многих своих коллег они понимают, что его выживание сопряжено с выходом за пределы сложившейся системы капиталистических отношений, с появлением социально-политических, экономических и культурных альтернатив, которые могли бы составить конкуренцию капитализму и вместе с тем дать ему мощный трансформационный импульс. Эти альтернативы, пусть пока не очень четко обозначившиеся и сформулированные,

не могут быть «вынесены за скобки» при построении моделей нового мирового порядка и определении политики управления новыми глобальными структурами XXI в.

Третье. В основе миропорядка, отвечающего императивам наступившего века, не может лежать система либеральных (неолиберальных) ценностей, господствовавшая на Западе вплоть до конца века минувшего. К настоящему моменту либеральная идея достигла содержательного и пространственного предела. Да, она остается действенной и еще какое-то время будет оставаться таковой – прежде всего в странах Запада. Однако потенциал ее внутреннего развития в общем исчерпан. Иначе говоря, либерализм перестал быть силой, способной качественно трансформировать общество, обновлять его.

На протяжении последних трех-четырех столетий развитие капитализма шло за счет реализации внутреннего потенциала автономного индивида как самостоятельного, инициативного производителя, субъекта права, творца материальных и духовных ценностей, центра социума. В этом, собственно, и состояла (как следует из установок Дж.Локка, А.Смита, Т.Джефферсона, а позднее – Дж.Милля, Ф.Хайека и др.) либеральная идея, которая, вопреки широко распространенному заблуждению, далеко не всегда мирно уживалась и, тем более, гармонизировала с идеей демократической. Ныне этот источник социальной энергии, питавший капитализм, иссяк.

Но либерализм не имеет и перспективы пространственного роста: ему просто больше некуда двигаться, что подтверждает «второе пришествие» либерализма в Россию, завершившееся его поражением. Конечно, те или иные либеральные идеи и принципы могут войти (и уже входят) в российское общественное сознание и получить воплощение на практике. Но либерализм в том варианте, который служил двигателем английского и американского общества в течение последних двух столетий, не способен стать источником развития в новых условиях. Это относится не только к России, но и к такой стране, как Китай. И вообще, там, где либерализм не успел пустить сколько-нибудь глубоких корней в общественном сознании, культуре, жизненном укладе, не говоря уже о политике и экономике, он не в состоянии сделать это в ощутимых масштабах. А любые попытки насадить его искусственным путем окажутся малоэффективными: либеральная идея просто не будет работать.

Не может рассчитывать на «возвращение в мир» в своей прежней марксистской или псевдомарксистской форме и социалистическая идея. Однако социалистическая традиция как таковая – а она полиморфна – жива, о чем убедительно свидетельствует процесс становления на Западе, включая и либеральную Америку, социального государства (welfare state).

Резонно предположить, что *новый мировой порядок будет базироваться не на одной, а на нескольких дополняющих друг друга и в чем-то соперничающих ценностных системах*. При этом каждая из них будет иметь более или менее отчетливо выраженный симбиотический характер, сочетая установки на обеспечение интересов общего (социумы разных уровней и масштабов, вплоть до глобального) и единичного (индивид, организация, нация-государство, регион и т.п.).

Четвертое. Если исходить из представления о политическом лидерстве не как о гегемонии, определяемой превосходящей силой актора, а как о целерациональном (М.Вебер) *управлении функционированием и развитием системы* (в данном случае мировой политической системы, имеющей глобальный характер и приближающейся к системе *всемирной*), то придется признать: Соединенные Штаты, будучи «самой могущественной державой мира» и «главным арбитром между евразийскими государствами» [2, с. 11], пока еще могут силой навязывать миру, а тем более – отдельным странам свою волю, но они не способны выступить в качестве политического и морального лидера человечества, не в состоянии в одиночку сформировать новый мировой порядок и рационально управлять им.

Нынешняя Америка слишком эгоистична, чтобы принести на алтарь общего блага хотя бы часть своих интересов и ресурсов, а без этого нельзя стать *признанным* лидером глобализирующегося мира. Она слишком самоуверенна, чтобы прислушиваться к голосам других, а мировое лидерство в условиях XXI в. невозможно без устойчивой *обратной связи*. Она слишком эгоцентрична, чтобы играть роль политического и морального вожака. Но главное препятствие на пути ее глобального лидерства заключается, быть может, в том, что она *не знает, куда идет мир и куда его следует вести*. Она не знает даже, как разумно распорядиться собственной силой.

Кто же готов сегодня взять на себя и достойно нести бремя глобального лидерства? Западная Европа? Япония? Китай? Россия? По-видимому, специфическая черта нынешней ситуации состоит в том, что она исключает *универсальное индивидуальное мировое лидерство*. Мiroустройство, отвечающее императивам XXI в., не может быть навязано одной державой, сколь бы сильна она ни была и как бы напористо ни пыталась сделать это. Новый миропорядок способен родиться лишь в результате совместного творчества членов мирового сообщества. Да и модели такого порядка могут явиться на свет только как продукт кооперативных усилий. Равным образом, оптимальной формой управления новой мировой системой было бы, по-видимому, коллективное управление, осуществляемое через гибкую сетевую систему, ячейками которой выступали бы международные организации типа ООН, транснациональные корпорации, а

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

также глобальные конгломераты, объединяющие государственные и негосударственные организации регионального и планетарного уровня. Вполне вероятно, что и в этом случае Соединенные Штаты окажутся в числе основных креативных сил и главных управленческих центров. Но только – в числе, а не единственным.

Пятое. Новый мировой порядок будет, скорее всего, отличаться *повышенной динамикой изменений*, обусловленной ускорением развития информатики и обновлением информационных технологий, появлением новых видов оружия, транспортных средств, источников энергии, что позволит отдельным странам выходить на новые рубежи в мировой политике и менять свое место в системе международных отношений. Резонно предположить, что новый миропорядок будет иметь *несколько точек роста* и изменяться одновременно в нескольких направлениях, в том числе взаимоисключающих. Это потребует столь же динамичной смены алгоритмов управления этим порядком и соответствующего «управленческого инструментария».

Шестое. Развитие информационных технологий и расширение возможностей психологического воздействия на многомиллионные аудитории по всему миру способны привести к тому, что границы между материальной и виртуальной составляющими нового мирового порядка станут не просто гибкими, но лишенными четких, устойчивых очертаний, так что в каких-то ситуациях будет не вполне ясно – либо даже совсем не ясно, – произошли ли те или иные события в сфере материального бытия или же они имеют сугубо виртуальный, имматериальный характер. Влияние последних на ход мирового развития и жизнь отдельных народов может оказаться не меньшим, если не большим, чем влияние реальных событий.

Это может способствовать как повышению управляемости (манипулируемости), а в чем-то – и программируемости политик развития международных отношений, так и нарастанию неуправляемых изменений мирового порядка – возможно, с катастрофическими для него последствиями. Какая из этих альтернатив возьмет верх, будет во многом зависеть от того, научатся ли субъекты международных отношений управлять новой мировой системой.

Поэтому при рассмотрении проблематики нового мирового порядка нельзя ограничиваться исследованием принципов и механизмов его стихийного формирования. Если любой социально-политический, экономический и иной порядок – это порядок человеческий, то мы вправе ставить вопрос не просто о смене, но и о *замене* одного миропорядка другим, т.е. о процессе, осуществляемом человеком (в заданных объективными возможностями рамках) в соответствии с определенными целями, ценностными ориентациями и планом. Иначе говоря, о политическом (governing) и администра-

Философия международных отношений

тивном (managing) управлении функционированием и развитием мирового порядка, о разработке принципов такого управления и построении на их основе соответствующих политик.

1. Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории. М., 1995.
2. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., 1998.
3. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. 1994. № 1.
4. Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М., 1997.
5. Коукер К. Сумерки Запада. М. 2000.
6. Бьюкенен П. Дж. Смерть Запада. М., 2003.
7. The Age of Terror. America and the World After September 11 / Talbott S., Chanda N. (eds.). N.Y., 2001.
8. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М., 2002.
9. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999.
10. Ikenberry J. After Victory. Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars. Princeton, 2001.
11. Философский словарь. Пер. с нем. М., 1961.
12. Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000.
13. Cooley Ch.H. Social Process. N.Y., 1918.
14. Wrong D. The Problem of Order. What Unites and Divides Societies. N.Y.; Toronto, 1994.
15. Hoffman S. Primacy of World Order. N.Y., 1980.
16. Тинберген Я. Пересмотр мирового порядка. М., 1980.
17. Falk R., Kim S. An Approach to the World Order Studies and the World System. WOMP working paper No. 22. N.Y., 1982.
18. Bull H. The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. N.Y., 1977.
19. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002.
20. Rostow W. Regionalism in a Global System // From Globalism to Regionalism. Washington (D.C.), 1993.
21. Лосев А.Ф. Хаос // Философская энциклопедия. Т.5. М., 1970.
22. Пригожин И. Стенгерс И. Время, хаос, квант. М., 1994.
23. Nye J. The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go in Alone. Oxford, 2002.
24. Туроу Л. Будущее капитализма. Новосибирск, 1999.
25. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
26. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

Предмет философии международных отношений*

Несколько лет назад известный британский политолог Кристофер Коукер в предисловии к своей книге «Сумерки Запада» признавался: «Одна из причин, заставивших меня написать эту книгу, состоит в том, что подход к проблемам международных отношений требует намного более широкой системы координат. Специалисты слишком склонны концентрировать внимание на специфических проблемах, игнорируя при этом широкий спектр событий, их более полную картину. Поэтому, – поясняет Коукер, – я попытался расширить исследование, выйти за привычные рамки и привлечь материал литературный и философский» [1, с. 8].

Коукер чутко отреагировал на потребность времени – потребность в новом, более глубоком и вместе с тем более широком подходе к анализу международных отношений и мировой политики. Но он пошел дальше поиска нового иллюстративного материала. А нужен *новый предметный подход* к объекту, а говоря конкретнее, философский подход, дополняющий и обогащающий традиционные подходы и открывающий новые измерения такого сложного и вместе с тем интересного феномена, как международные отношения. Более того, похоже, пробил час *новой научной дисциплины – философии международных отношений*, которая, сформировавшись, могла бы с течением времени стать полноправным членом семьи философских дисциплин, помогающих человеку глубже проникнуть в суть мира, в котором он живет. Объективные возможности для складывания такой новой дисциплины налицо, и задача членов научного сообщества, заинтересованных в ее появлении на свет, – заняться майевтикой, как говорил Платон, то есть интеллектуальным родовспоможением.

Не будут ли, однако, попытки создать новую философскую дисциплину искусственными и избыточными? Ведь к настоящему времени успела сформироваться система знания – многие признают ее наукой – о международных отношениях со своей теорией и методологией. К тому же на стыке этой науки и социологии возникает такая пограничная дисциплина, как социология международных отношений.

На наш взгляд, это не препятствия на пути решения поставленной задачи. Начать с того, что уже политические учения мыслите-

* Международные процессы. 2004. Т. 2. № 1(4). С.4–15.

лей древности – Гераклита, Демокрита, Конфуция, Платона, Аристотеля, Цицерона и других носили преимущественно *философский характер*. Античные авторы стремились выйти на широкие, универсальные обобщения, раскрыть закономерности политического бытия и подвести под них солидную метафизическую основу. А если принять во внимание, что при этом они уделяли большое внимание отношениям между полисами, княжествами, царствами и пр., представленными в первую очередь их правителями, то не будет преувеличением сказать: *философия международных отношений уходит корнями в глубокую древность*. Хотя, конечно, следует оговориться, что по отношению к некоторым элементам и сторонам творчества античных мыслителей правильнее было бы говорить не о философии, а о протофилософии, и не о международных отношениях, а о спорадически возникавших, угасающих и снова возобновлявшихся контактах между правителями территорий. Но тем не менее именно из такого рода контактов возникло со временем то, что в дальнейшем стало именоваться международными отношениями. И именно эти контакты послужили первичным материалом для политико-философских обобщений «международного» характера.

Интерес к философским проблемам отношений между народами и государствами проявляли и мыслители эпохи Возрождения и Нового времени. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к таким выдающимся памятникам философской и политической мысли, как «Государь» Макиавелли, «Левиафан» Гоббса, «Два трактата о правлении» Локка, «Общественный договор» Руссо, «О духе законов» Монтескье и т.д. А далее были Фихте, Кант, Гегель, Маркс, Ницше. Были Юрий Крижанич, Владимир Соловьев, Константин Леонтьев.

XX век выдвинул немало крупных философов, заявивших своим творчеством об интересе – теоретическом интересе – к проблемам политического, в том числе и в его международном аспекте. Здесь и Бертран Рассел, и Карл Шмитт, и Раймон Арон, и Жан-Поль Сартр. Тут Георгий Плеханов. Николай Бердяев, Петр Струве, Иван Ильин. А наряду с ними – профессиональные теоретики-международники, которым отнюдь не были чужды попытки взглянуть на свой предмет, пусть лишь в некоторых его аспектах, и под философским углом зрения. Среди них – Ганс Моргентау, Хэдли Булл, Кеннет Уолтц и др.⁸⁷

⁸⁷ Объясняя мотивы своего обращения к проблемам внешней политики (а последняя всегда вызывала у него повышенный интерес), Бертран Рассел писал: «С самого начала философия имела две разные цели, которые считались тесно связанными между собой. С одной стороны, философия стремилась к теоретическому осмыслению структуры мира; с другой — она пыталась найти и поведать лучший из возможных образов жизни» [2, р.23]. Но, оказывается, найти лучший из возможных

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

Таким образом, цель формирования философии международных отношений как самостоятельной, пусть и пограничной дисциплины лежит в русле многовековой традиции исследования внешней политики с философских позиций. Больше того, становление такой дисциплины следовало бы рассматривать как естественную кумуляцию и системное оформление знаний, накапливавшихся веками.

Отсутствует и риск дублирования интеллектуальных усилий с социологией международных отношений, процесс кристаллизации которой далеко не завершен. По эмоциональному, хотя и справедливому по сути замечанию П.А. Цыганкова, «... лишь в 1950–1960-е гг. “теория международных отношений” начинает действительно освобождаться от “удушения” историей и от “задавленности” юридической наукой. Фактически в этот же период предпринимаются и первые попытки ее “социологизации”, которые довольно быстро приводят к становлению (впрочем, продолжающемуся и в наши дни) социологии международных отношений как относительно самостоятельной дисциплины» [4, с. 95]. И хотя с тех пор, как этот процесс начался, минуло более полувека, «было бы неправомерно говорить о социологии международных отношений как о сложившейся автономной дисциплине. Скорее она представляет собой совокупность наиболее распространенных прежде всего именно в социологической науке подходов, проблематик и методов, заявляющих о своей альтернативности традиционным парадигмам и теориям международно-политической науки или же претендующим на дополнительную по отношению к ним» [4, с. 156].

О том, что процесс становления социологии международных отношений и ее легитимизации как более или менее автономной научной дисциплины далеко не завершен, свидетельствуют и литература, и ситуация, сложившаяся в российском, да и не только российском, научном сообществе.

образов жизни можно лишь решив некоторые из международных проблем. Сам Рассел следует такой логике: не может быть достойного человека образа жизни без его свободы, а «наиболее важным условием свободы личности в научно-техническом мире» является «полноправное международное правление с законодательной, исполнительной и судебной властью, с монополией на вооруженные силы» [3, р. 258]. А еще — создание «международной полиции» как одного из органов «мирового государства» или «мировой федерации», введение «мирового гражданства» и т.п. Такова позиция Рассела. Другие философы видят иные внешнеполитические условия решения проблемы создания «лучшей жизни», но логика остается в принципе той же: *чтобы решить внутриполитические проблемы, надо решить проблемы международные*. А для этого их необходимо подвергнуть серьезному исследованию — в том числе и в философском плане.

Самим международникам вопрос представляется вполне решенным: социологии международных отношений – быть! Больше того, она уже есть!⁸⁸ Иное дело – социологи: для большинства из них вопрос о новой дисциплине остается открытым. Об этом убедительно свидетельствует такой индикатор легитимности научных категорий, концепций и теорий, как словари и учебники. Далеко не во всех социологических словарях, включая самые авторитетные, и учебниках по социологии мы найдем статьи, главы и разделы, посвященные социологии международных отношений [8–11].

Однако сам факт признания легитимности последней еще не решает проблемы предметной и теоретико-методологической ориентации социологии международных отношений. Иначе говоря, вопрос о том, в чем ее специфика, чем она может и должна заниматься остается во многом дискуссионным. Например, по мнению П.А. Цыганкова, «...представители социологического направления в исследовании международных отношений подчеркивают значимость в мировой политике не столько национальных интересов, сколько ценностей, норм, идентичностей, культурных особенностей, традиций и идей. В результате все основные вопросы МО (характер международной среды, перспективы ее изменения, основные процессы, их участники, возникающие между ними проблемы, пути их разрешения), как и наиболее распространенные теории (национального интереса, безопасности, баланса сил, сотрудничества, демократического мира) получают трактовки, альтернативные тем, которые господствовали в международно-политической науке на протяжении многих десятилетий» [4, с. 156–157].

Можно соглашаться или не соглашаться с этим суждением, полагая, в частности, что оно дает слишком широкое толкование предмета социологии международных отношений. Однако сколь бы широко ни трактовали мы предметную область этой дисциплины, нам придется признать, что имеются вопросы, причем вопросы фундаментальные, на решение которых она (равно как и международное право или история международных отношений) не претендует и претендовать не может. Это *философские вопросы*.

Но что такое философия? Чем она занимается? Какие проблемы ставит перед человеком? В чем ее специфика? Вопросы эти стары, как сама философия, а общепризнанных ответов на них не было и нет. Как не было, нет и, видимо, не будет крупного философа, который бы не бросил свою «вязанку хвороста» в вечно пылающий костер этого

⁸⁸ Первые отечественные работы, посвященные социологии международных отношений, появились в конце 1970-х годов [5–6]. Позднее появляются работы И.Г. Тюлина, М.А. Хрусталева, П.А. Цыганкова и других исследователей [7].

спора. Данное обстоятельство, впрочем, не мешает специалистам давать достаточно ясные и в общем корректные ответы на вопросы о предмете, методе, сфере и границах философии, которые, по крайней мере, помогают понять ее специфику и отличие от других дисциплин.

Оставляя в стороне острейшие проблемы научности/ненаучности или партийности/беспартийности философии, мы можем сказать, что она представляет собой «особую форму общественного сознания и познания мира, вырабатывающую систему знаний об основаниях и фундаментальных принципах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни» [12, с. 195]. При этом имеются в виду как бытие в целом, так и частные его сферы – более или менее широкие. По этой причине, открыв философские справочники, мы обнаруживаем в них, с одной стороны, такие статьи, как философия истории, философия культуры, философия науки, философия политики, философия права, философия образования, философия религии, философия техники, а с другой стороны – статьи, посвященные философии глобальных проблем, философии мифа, философии символических форм и т.п.

И это вполне законный подход. Ибо в отличие от социологии, которая занимается *исключительно человеческим обществом и ничем другим*, философия, сохраняя предметную ограниченность, вправе заниматься исследованием *любого объекта* – человека, природы, общества в целом или какой-то его части, языка, искусства и т.д. и т.п. В том числе, естественно, и политики. Убедительное тому подтверждение – становление в современной России философии политики как самостоятельной дисциплины, формирующейся на границе между политической наукой (которую у нас нередко называют нелепым словом «политология») и философией⁸⁹.

Логично было бы ожидать, что в рамках философии политики будет развиваться в качестве ее субдисциплины и философия международных отношений. Однако, как показывает практика, пока еще, правда, небогатая, проблематика международных отношений занимает в работах по политической философии периферийное положение. Их авторов больше волнуют проблемы политического бытия как такового, политической антропологии, политической праксиологии (теории политического действия), политической эпистемологии и т.п.

А между тем потребность в информации, которая может быть получена в результате философского исследования международ-

⁸⁹ Есть уже учебники и обобщающие исследования, которые могут быть использованы в качестве таковых [13–14].

ных отношений, в последние годы становится все более очевидной. Например, неразбериха, царящая в нынешних дискуссиях о новом мировом порядке и о международном партнерстве, связана в немалой степени с тем, что нет ясности в вопросе о том, что следует понимать под «мировым порядком» и под «партнерством» *как таковыми*. Исследование этих категорий (как и многих других) – прямая задача философии международных отношений). И вызвана она прежде всего необходимостью осмысления и переосмысления происходящих в мире фундаментальных изменений и нахождения новых ответов на вопросы, которые еще каких-нибудь десять или пятнадцать лет назад казались решенными.

Сегодня часто можно слышать: «Мы живем в новом мире». Это вполне корректная оценка нынешней исторической ситуации. Только вот начинать «новое летоисчисление» следует не с 11 сентября 2001 года, как это обычно делается, а с конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века, когда начал рушиться ялтинско-потсдамский миропорядок, просуществовавший сорок с лишним лет и определявший основные принципы отношений между народами и государствами. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы (символом которых стало падение Берлинской стены) и крушение мировой социалистической системы, распад Советского Союза, крах международного коммунистического движения и, наконец, завершение «холодной войны» – вот этапы обвального перехода (перескока) от мира старого к миру новому, в котором все мы теперь живем, но который, оставаясь миром транзитным, остается во многом непонятым и непонятным. Бесчеловечный теракт 11 сентября – не более, чем очередная ступень на пути продвижения человечества к этому новому миру.

Говоря о новизне мира, в котором мы живем сегодня, обычно указывают на конкретные явления, а именно: изменение характера отношений между Западом и Востоком, то есть капиталистическими и бывшими социалистическими странами и прежде всего между Америкой и Россией; появление новой деструктивной глобальной силы в лице международного терроризма; ускорение процесса глобализации; нарастающая планетарная силовая асимметрия (в военном отношении США сильнее доброго десятка следующих непосредственно за ними стран) и т.п. То есть речь идет о явлениях, уже около десятка лет находящихся в поле внимания специалистов и отчасти уже расшифрованных – если не на уровне теорий, то хотя бы на уровне концепций.

Гораздо меньше внимания обращают на *фундаментальное изменение онтологических оснований политического (и не только политического) мира*. А изменение это налицо, хотя проявления его не лежат на поверхности. Но это вопрос, требующий отдельного

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

разговора, поэтому здесь я ограничусь тем, что просто назову некоторые из упомянутых проявлений.

Меняются *пространственно-временные характеристики* политических явлений и процессов – локальных (национальных), региональных, глобальных. Это находит отражение не только в ускорении политического времени и сжатии политического пространства, но и в смене темпо-ритма политической жизни, очередности этапов политических процессов и т.п. Мир на глазах теряет былую устойчивость, в то время как транзиторность и процессуальность приобретают все большее значение в политической, да и не только политической жизни. Едва успев создать – подчас дорогой ценой – ту или иную структуру, мы уже испытываем потребность в ее обновлении, в переходе к другой структуре и т.п.

Происходит интенсивное *размывание границ между внутренним и внешним в политической жизни*, что находит прямое отражение в толковании проблемы государственного суверенитета, возможности осуществления так называемых гуманитарных интервенций и границ допустимого с точки зрения международного права вмешательства одного государства (или группы государств) в дела другого государства.

Все более *относительными становятся понятия «центра» и «периферии»* в политической жизни: структуры и пространства, выступающие в качестве «центра» в одном отношении, оказываются «периферией» в другом отношении и наоборот. С этой точки зрения представления о возможности существования в течение более или менее длительного времени единого универсального глобального центра силы, или так называемого униполюса – *unipole* – иначе как наивными и архаичными не назовешь.

Казавшиеся еще совсем недавно незыблемыми *границы между материальным и имматериальным обнаруживают свою зыбкость*, и все чаще возникают ситуации, когда мы просто не знаем, произошло то или иное событие в реальности (характеристики которой теперь тоже необходимо переосмыслить) или же оно не выходит за пределы границ виртуального мира.

Добавим к этому такие очевидные для всех явления, как *кризис морального сознания и правосознания* (наглядно проявляющийся в игнорировании «единственной супердержавой» и ее союзниками норм международного права и их глубоко аморальном поведении в некоторых критических международных ситуациях); *обострившаяся потребность народов в самореидентификации* (каково наше место в изменяющемся мире? какова наша роль? куда мы идем?), вызванная крушением прежнего миропорядка, а значит и радикальным изменением ролей практически всех мировых

акторов; *возрастание этнических и культурных факторов в международных отношениях* (что дало Хантингтону основание говорить – на мой взгляд, теоретически неоправданно – о «столкновении цивилизаций как “наибольшей угрозе миру во всем мире”» [15, с. 8]); *изменение ценностной значимости свободы и безопасности* в пользу последней (готовность значительной части граждан демократических государств «обменять» личную свободу на будто бы гарантируемую государством безопасность) и т.д.

В этой ситуации встает ряд фундаментальных вопросов, поиск ответов на которые требует нетрадиционного, а именно *философского подхода* – вопросов абстрактно-теоретических (фиксирующих онтологическое, этическое и другие измерения международных отношений), но – как это нередко случается в области теории – открывающих в конечном счете путь к решению практических задач.

Главные из этих вопросов касаются *сущности международных отношений*. Что это такое? Что представляют собой эти отношения как феномен политического бытия? И в чем специфика современных международных отношений? Ответы на эти вопросы в их философской постановке не могут быть сведены к банальной констатации, что речь идет об отношениях между народами или между государствами или между субъектами мировой политики и т.п.

Как свидетельствует история международных отношений, их субъекты вступают во взаимодействие друг с другом тогда и постольку, когда и поскольку обнаруживается их неспособность решить свои проблемы и защитить свои интересы самостоятельно, индивидуальными усилиями, то есть опираясь исключительно на внутренние ресурсы (в широком смысле этого слова)⁹⁰. В таком случае *между-народные отношения могут рассматриваться как внешняя проекция внутри-народных отношений, как дополнение и компенсация их недостаточности или даже ущербности*. Можно сказать иначе: международные отношения – это механизм (способ) подключения Другого к решению Моих проблем и защите Моих интересов и наоборот. Развитие международных отношений, их постепенное превращение в мировые (миросистемные) отношения есть результат ослабления самодостаточности наций-государств, их *постепенного превращения из относительно автономного целого в часть более широкого целого*, во взаимозависимые (коррелятивная связь) элементы расширяющейся системы. (Это, между прочим, делает более понятными истоки таких стратегий, как унилатерализм и мультилатерализм, изоляционизм и интервенционизм.)

⁹⁰ Этот мотив звучит в ряде исследований А.Д. Богатурова, посвященных международным отношениям [16].

В плане управленческом международные отношения могут рассматриваться как *механизм регуляции миросистемной жизни* – регуляции политической (*governing*) и административной (*managing*). При этом в число форм такого рода регуляции попадают не только *отношения-в-мире*, но и *отношения-в-войне*, свидетельствующие, помимо всего прочего, об ограниченности управленческих возможностей человека в сфере международных отношений.

Философский (и психологический) подход к последним требует рассматривать их как *человеческие отношения* со всеми вытекающими отсюда последствиями, как превращенную форму *межличностных отношений*, направленных на утверждение собственного Я и обеспечение собственного существования в мировом (или, по крайней мере, международном, если принимать во внимание введенное Хэдли Буллом различие) социуме. С этой точки зрения международные отношения есть *способ самоутверждения их субъекта в собственных глазах и в глазах членов мирового (международного) сообщества как полноценных и полноправных акторов мировой политической сцены*. Уже по этой простой причине международное право, игнорирующее личностный (персоналистский) аспект международных отношений (в том числе в таких его негативных проявлениях, как ненависть, нетерпимость, стремление к самоутверждению за счет другого, алчность и т.п.), всегда будет оставаться предметом покушения со стороны субъектов мировой политики.

Этот ряд рассуждений можно было бы продолжить, но автор видит свою главную задачу не в том, чтобы предложить готовые решения, а прежде всего в том, чтобы *поставить вопросы*⁹¹ о базовых параметрах философии международных отношений и попытаться показать, на каком пути они могли бы быть, как ему представляется, решены.

Другой вопрос, которым могла бы заняться философия международных отношений, касается их *природы*. Нет необходимости доказывать, особенно сегодня, в эпоху – именно так: в эпоху! – виртуализации жизненного мира человека, что эти отношения *имеют как материальное, так и идеальное измерения*, причем каждое из них играет существенную роль. Но как соотносятся друг с другом материальный и идеальный факторы международных отношений? Этот вопрос, кстати говоря, все больше начинает занимать некоторых зарубежных международников, хотя и в специфическом плане. Речь идет, в частности, о введенном некоторое время назад Джозе-

⁹¹ Автор полностью согласен с теми, кто утверждает, что правильная постановка вопроса – одна из важнейших задач философии. Эвристическая ценность такой постановки может быть очень велика.

фом Наем-мл. понятия «мягкой силы» (*soft power*), к которой он относит культуру, информацию и т.п. Если утверждения некоторых специалистов, что мир вступает в эпоху возрастания роли информационных войн, соответствует действительности, то вопрос о формах проявления, структуре и роли идеального в международных отношениях приобретает не только теоретическую значимость.

Еще один вопрос философского плана – *природа законов, регулирующих международные отношения*. Тут, собственно, даже два вопроса. Во-первых, о самих законах. Здравый смысл и опыт (как его источник) подсказывают нам, что такие законы и закономерности существуют. Но каковы они? Десятки, сотни авторов – чего стоят древнеиндийский трактат «Артхашастра» или макиавеллиевский «Государь»! – оставившие потомкам наставления о том, как надлежит действовать политику, вступающему в сношения с представителями других государств, по сути дела пытались сформулировать (переводя их в поведенческое русло) именно законы и закономерности международных отношений, как они их понимали. А разве не пытались открыть закономерный характер взаимодействия государств в анархическом мире Ганс Моргентау, Хэдли Булл, Кеннет Уолтц и Джон Меаршаймер? Но где, спрашивается, эти законы? И еще: как законы, регулирующие внутривнутриполитические отношения, соотносятся с законами, регулирующими международные отношения?

Второй аспект поставленного вопроса касается *природы* законов. Чем определяются устойчивые, повторяющиеся связи, регулирующие отношения субъектов международных отношений? Как они изменяются? Каковы пределы их регулирующей силы? Какова мера свободы субъекта, принимающего решения? Сегодня часто приходится слышать, что кому-то не хватает «политической воли» или что в данной ситуации все решает «политическая воля». А что такое «политическая воля» в философском понимании (ведь есть еще и психологический аспект этого феномена)? Как она «уживается» с детерминированностью международных отношений объективными законами?

Или взять *когнитивный аспект* философского подхода к международным отношениям. Каковы принципы и методы познания явлений международной жизни? Отличаются ли они, и если да, то чем именно и почему от принципов и методов познания других социальных явлений? Возможно, продвинувшись в решении этих вопросов, мы сможем понять, почему до сих пор мы имеем весьма туманное представление о системе законов международных отношений. Так или иначе вопрос о *специфике методологии исследования международных отношений* (при всем том, что за рубежом, особенно в США, в этой сфере на протяжении последних лет двад-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

цати было сделано немало) остается практически открытым. И поле для исследований здесь обширнейшее, особенно если принять во внимание, что различие цивилизаций, культур и национальных менталитетов дает основания предположить, что могут существовать *разные методологии познания одного и того же объекта в одном и том же предметном плане.*

Еще один круг вопросов, который всегда интересовал исследователей и волновал политиков и который является прерогативой философии – это вопрос о *нравственном и безнравственном* в отношениях между людьми, в данном случае – между народами и государствами, то есть вопрос об *этической стороне* международных отношений.

Никколо Макиавелли, который и не думал надевать на себя мантию моралиста или цинично выступать в роли имморалиста, а просто описывал то, что творилось вокруг, часто обвиняли (это безобразия продолжается по сей день) в проповеди безнравственности в политике вообще и в международной политике в частности. Но что считать «нравственным» и «безнравственным» в отношениях между мировыми политическими игроками: то же, что и в отношениях между гражданами того или иного государства, или что-то другое? Каковы критерии нравственного суждения? И кто судья? И еще: каковы возможные санкции? Ситуация деликатная хотя бы уже в том плане, что, как говорят приверженцы так называемого реализма и неореализма (Моргентау, Меаршаймер и другие), государствам в отличие от отдельных граждан, подчиняющихся государственной власти, приходится действовать в анархической среде. Нет над ними ни мирового правительства, ни мирового парламента, ни мирового суда, ни мировой полиции. А в пользу международных организаций типа ООН они отчуждают (если отчуждают) лишь небольшую часть своего суверенитета.

В свое время президент США Рональд Рейган называл Советский Союз «империей зла». Сегодня Джордж Буш называет некоторые государства «злодеями» (*rouge states*). Но что есть «добро» и «зло» в отношениях между государствами и другими субъектами мировой политики? Где пролегает граница между тем и другим?

Много споров вызывает проблема «справедливого» и «несправедливого» в международных отношениях. Возможно, это один из самых запутанных и сложных и вместе с тем самых болезненных вопросов, поскольку он прямо или косвенно касается распределения разного рода благ. Джон Ролз, автор фундаментального труда «Теория справедливости», обошел вопрос о справедливости в международных отношениях стороной. Хэдли Булл, напротив, сделал его предметом специального рассмотрения в своей книге «Анархическое общество» и показал, сколь многомерна эта проблема (одно

Философия международных отношений

дело – «международная или межгосударственная справедливость», другое – «индивидуальная или гуманная справедливость», третье – «космополитическая или мировая справедливость») и как трудно добиться по ней взаимопонимания между субъектами мировой политики. Но проблема остается, ее надо как-то решать, и без философского анализа тут не обойтись.

В отличие от этического аспекта международных отношений, горячо обсуждаемого не одну сотню лет, их *эстетическое измерение* почти не привлекает внимания исследователей. Видимо, считается, что красота и мировая политика – вещи несовместимые. Вместе с тем красота в ее глубинном смысле есть ни что иное, как *гармония*, то есть построенное на соблюдении меры согласованное взаимодействие частей целого – структурное и функциональное. Наиболее жизнеспособные, эффективные, долговечные системы должны быть наиболее гармоничными. И, напротив, то, что лишено гармонии, построено с нарушением меры, в конечном счете нежизнеспособно. Уроды долго не живут.

Все это важно перевести на конкретный политический язык и понять, что такое гармония в международных отношениях, в чем конкретно она проявляется или, иначе говоря, какие отношения между субъектами мировой политики следует считать гармоничными, а какие – нет. Не менее сложный и не менее практически значимый вопрос – каков путь к гармоничным отношениям, как их строить и как поддерживать, поскольку именно от этого зависят возможности предотвращения международных конфликтов и катастроф.

Политика – признают это те, кто ее проводит, или не признают – всегда строится в соответствии с определенными идеалами. И характер этих идеалов во многом определяет качество международных отношений и мировой политики. «Холодную войну» принято было характеризовать как борьбу двух систем, двух идеологий. Но это была еще и борьба двух идеалов, точнее, двух систем идеалов – социальных, экономических, политических, культурных. И хотели того противоборствующие стороны или нет, но помимо чисто прагматического интереса они соразмеряли свой политический курс еще и с идеалами, приверженцами которых они были.

Характер идеалов в той или иной мере определяет и отношение мировых политических акторов к связке *цель-средства*: последние либо отделяются друг от друга, причем цель рассматривается как приоритетная ценность («цель оправдывает средства»), либо увязываются друг с другом как равноценные («цель определяет средства»).

Хотя все эти вопросы – вопросы чисто философские – рассматриваются специалистами на протяжении не одной сотни лет, они редко проецировались на международную политику. Так что мы

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

пока не можем сказать с высокой степенью определенности, в чем специфика их проявления в сфере международных отношений и правомерно ли говорить о такой специфике вообще.

Создание такой новой научной дисциплины, как философия международных отношений – процесс длительный и трудоемкий, предполагающий решение множества задач. Назову некоторые из них.

Первая. Необходимо исследовать огромный массив литературы – от античности до наших дней, посвященной вопросам международных отношений, для выявления и последующего анализа философского измерения этой литературы. В сущности это означало бы разработку *истории философии международных отношений*. А история предмета – это, как известно, ключ к постижению логики его становления и развития. При этом было бы желательно избежать традиционного для «современной политической науки» и философии вестернизаторского крена: ведь китайские, индийские, арабские мыслители сделали очень много для понимания сущности международной политики – прежде всего в ее человеческом (личностном) измерении.

Вторая. *Важно определить теоретико-методологические основания новой дисциплины*. Если учесть, что на протяжении последних десятилетий исследования в области международных отношений велись в основном в рамках реализма (неореализма, структурного реализма), либерализма (либерального институционализма), структурализма и марксизма (неомарксизма) [17–19], то резонно предположить, что и философский аспект этих отношений может исследоваться в рамках тех же самых парадигм – явно односторонних, но все еще обладающих большой инерционной силой. Вместе с тем пограничный характер новой дисциплины, то есть ее причастность философии, могут привести к обогащению парадигмальной палитры, что мы, собственно, и наблюдали в последние годы, когда некоторые теоретики-международники начали все шире опираться (не всегда, впрочем, оправданно) на работы постмодернистов – прежде всего, Мишеля Фуко и Жака Дерриды. Хорошо было бы поискать и новые теоретико-методологические подходы – например, связанные с культурной антропологией и глубинной психологией (имеется в виду прежде всего проблематика архетипов).

Третья задача – *формирование собственного категориального аппарата*. Без него не может обойтись ни одна наука, ибо категории суть фундаментальные предельные понятия, раскрывающие базовые характеристики предмета данной науки и описываемой им сферы бытия. Категории – это оптика, с помощью которой мы исследуем объект в его конкретном предметном срезе. Но вот вопрос: должна ли философия международных отношений пользоваться традиционными философскими категориями (материя, простран-

ство, время, материальное, идеальное и пр.), или традиционными категориями науки о международных отношениях (сила, баланс сил, гегемония и пр.), или, быть может, традиционными категориями правоведения – в первую очередь международного права (агрессия, война, суверенитет и пр.)?

На мой взгляд, вопрос должен ставиться не об априорной целенаправленной трансплантации и реинтерпретации категорий, используемых другими науками (это обычно происходит само собой в процессе формирования нового знания), а о выявлении таких предельных, фундаментальных понятий, которые раскрывали бы сущность, основные закономерности международных отношений в их философском срезе. Что будут представлять собой эти понятия – определится в ходе исследовательской практики. Но при этом следовало бы помнить слова Карла Шмитта: «Определить понятие политического можно, лишь обнаружив и установив специфически политические категории. Ведь политическое имеет свои собственные критерии, начинающие своеобразно действовать в противоположность различным, относительно самостоятельным предметным областям человеческого мышления и действия, в особенности в противоположность моральному, эстетическому, экономическому» [20, с. 292].

Поучителен, на мой взгляд, и конкретный путь, которым идет, решая поставленную задачу, упомянутый выше исследователь. Эта пространная цитата наглядно характеризует его подход: «Специфически политическое различие, к которому можно свести политические действия и мотивы, – это различие друга и врага [*amicus/hostis*]... такое различие применительно к политическому аналогично относительно самостоятельным критериям других противоположностей: доброму и злему в моральном, гармоничному и негармоничному в эстетическом и т.д. ... Смысл различения друга и врага состоит в том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, ассоциации или диссоциации; это различие может существовать теоретически и практически независимо от того, используются ли одновременно все эти моральные, эстетические, экономические или иные различия. Не нужно, чтобы политический враг был морально зол, не нужно, чтобы он был эстетически безобразен, не должен он непременно оказаться хозяйственным конкурентом, а может быть, даже окажется и выгодно вести с ним дела. Он есть именно иной, чужой, и для существа его довольно и того, что он в особенно интенсивном смысле есть нечто иное и чуждое, так что в экстремальном случае возможны конфликты с ним, которые не могут быть разрешены ни предпринятым заранее установлением всеобщих норм, ни приговором «непричастного» и потому «беспристрастного» третьего» [20, с. 292–293].

Понятно, что экстремальный случай, о котором говорит Шмитт, это борьба, война. «Понятия “друг”, “враг” и “борьба” свой реальный смысл получают благодаря тому, что они в особенности соотносены и сохраняют особую связь с реальной возможностью физического убийства. Война следует из вражды, ибо эта последняя есть бытийственное отрицание чужого бытия. Война есть только крайняя реализация вражды» [20, с. 297].

Формула Шмитта – это, разумеется, лишь одно из возможных решений задачи формирования категориального аппарата философии международных отношений. Но она являет собой яркий пример *методологии подхода* к этой задаче, не говоря уже о том, что многое в ней правильно по существу⁹².

И последнее. Ни одну научную дисциплину невозможно создать по заказу: она должна родиться сама собой. Точнее – *как бы сама собой*. А чтобы «роды» состоялись и прошли успешно, мы должны задать себе психологическую установку на поиск философского измерения (как мы его понимаем в данный момент) международных отношений и попытаться посмотреть на мир шире, чем делаем это до сих пор.

⁹² Не было, кажется ни одного крупного (о великих уже не говорю) философа, который бы не обратил своего взгляда на проблему война-мир. Разумеется, речь идет о широком толковании этих понятий, то есть не просто о столкновении вооруженных групп людей на поле боя с последующим замирением и даже не о стремлении одного субъекта подчинить другого своей воле путем применения насилия, установить над другим свою власть (хотя и об этом тоже), но о вражде и дружбе, о борьбе и единстве противоположностей, об источнике развития, о бытии-небытии. Наконец, философское понимание проблемы война-мир – это ключ (во всяком случае, один из ключей) к пониманию международных отношений в единстве их сущности и существования. В связи со сказанным становится более понятной и встречающаяся в некоторых публикациях точка зрения, что современные международные политические институты, современное международное право покоятся на скрытой и, возможно, не всегда осознаваемой презумпции неизбывного стремления человечества к войне, к массовому убийству – санкционированному или несанкционированному. Да ведь и о стремлении к миру мы говорим именно потому, что исходим из той же самой презумпции. Именно эта презумпция определяет глубинное фундаментальное недоверие народов друг к другу, стремление подняться над другим и, возможно, уничтожить его. Что скрывается, например, за знаменитым тезисом, входящим в доктрину Буша и выраженным с помощью такого понятия, как *preemption*, означающим ориентацию на упреждение, на опережающее действие? Все та же презумпция. Твое собственное бытие может быть гарантировано только небытием другого, как врага. Эта презумпция стояла за стремлением к построению великих империй прошлого. Она стоит за действиями современных держав. Словом, *si vis pacem, para bellum* – если хочешь мира, готовься к войне. Конечно, этот спорный тезис – лишь одно из возможных толкований рассмотренной «формулы».

Философия международных отношений

1. Коукер К. Сумерки Запада. М., 2000.
2. Russel B. Unpopular Essays. L., 1951.
3. Russel B. Freedom and Government. L., 1940.
4. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002.
5. Бурлацкий Ф.М., Галкин А.А. Социология. Политика. Международные отношения. М., 1974.
6. Ермоленко Д.В. Социология и проблемы международных отношений (некоторые аспекты и вопросы социологических исследований международных отношений). М., 1977.
7. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталеv И.А. Очерки теории и политическо-го анализа международных отношений. М., 2002.
8. Аберкромби Н. и др. Социологический словарь. Казань, 1997.
9. Современная западная социология: Словарь. М., 1990.
10. Смелзер Н. Социология. М., 1994.
11. Гидденс Э. Социология. М., 1999.
12. Новая философская энциклопедия. Т. 4. М., 2001.
13. Панарин А.С. Философия политики. М., 1996.
14. Поздняков Э.А. Философия политики: В 2 т.. М., 1994.
15. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
16. Богатуров А.Д. Синдром поглощения в международной политике // Pro et Contra. 1999. Т. 4. № 4.
17. Сандерс Д. Международные отношения: неореализм и неолиберализм // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.
18. Кохен Р.О. Международные отношения: вчера и сегодня // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.
19. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001. (В переводе названия книги допущена принципиальная ошибка: теория Валлерстайна — это не теория мировых систем. А теория мир-системы. Это базовая категория, которой пользуется американский неомарксист — Э.Б.)
20. Шмитт Карл. Понятие политического // Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2. М., 1997.

Антропология международных отношений*

Человек – мужчина или женщина – потерялся в современной международной политике. Его словно вовсе нет, во всяком случае, его нет или почти нет в мирополитическом дискурсе. Собственно человеческое начало в книгах, статьях и дискуссиях заслонено рассуждениями на темы безопасности, геополитики и национального интереса (у жестких реалистов) или сентенциями о демократизации, глобализации, гуманитарных интервенциях (у воинствующих либералов). Школы изучения прав человека отчасти вырождаются в формализованные исследования преимущественно групповых прав меньшинств – по большей части этнических. Оба главных течения политической мысли не прекращают говорить об угрозах физической гибели человечества (связанной с проблемой применения ядерного оружия), но уделяют мало внимания нравственной деградации мира.

Задача статьи – выйти за рамки привычного [1–4], попробовав предложить контуры нового подхода к интерпретации, проектированию и построению взгляда на мировой порядок. В рамках этого подхода собственно человеческое начало – то, которое делает человека человеком, – должно по идее в самом деле занять место *наряду и наравне* с проблематикой выживания человечества как биологического вида, организованного в сообщества государств или, как сегодня, надгосударственных, трансгосударственных и негосударственных общностей.

Резервы формирования подобного взгляда заключаются, в частности, в *антропологическом подходе* [2] к международным отношениям. Последний дополняет их традиционное рассмотрение (построение) с обезличенных позиций «международного сообщества» и «мировой системы», отчужденных от конкретного живого человека, рассмотрением международных отношений в соответствии с принципом *ad hominem*, то есть *с позиций человека и в интересах человека*.

«Антропология» означает «учение о человеке». Это слово изначально использовалось для обозначения науки о происхождении и эволюции человека. Позднее стали говорить о культурной антропологии, которая обратилась к исследованию культур различных народов, а также о социальной антропологии, нацеленной на объяснение форм человеческого поведения путем сравнительного исследования социальных отношений в разных обществах. Понятие «антропология» широко применяется и для обозначения учения о человеке в широком плане. *В этом тексте понятие «антропологи-*

* Международные процессы. 2005. Т. 3. № 2(8). С.4–16.

ческий» тоже используется в значении «человеческий, относящийся к человеку и рассматриваемый применительно к нему».

Человек, как глубинный источник жизни и смерти на земле, всегда был и остается последним прибежищем тех, кто ищет выход из экзистенциальных кризисов. Международное сообщество испытывает потребность не только в порядке, но и инициативной, самостоятельной, творческой личности, владеющей информацией и политико-управленческими навыками, наделенной социологическим воображением, способной проявить волю, не поддаваясь волюнтаристскому соблазну, обладающей ценностными ориентациями, окрашенными в гуманистические тона. Подобный человек должен решать в согласии с другими людьми задачи, стоящие не только перед его собственной страной, но и перед мировым сообществом; должен быть готовым рвать с рутиной анахроничных норм социально-политического управления и выходить за пределы алгоритмов, определяющих функционирование существующих международно-политических систем. Образно говоря, нужен человек, способный и готовый переходить в критических ситуациях с «полуавтоматического» на «ручное управление» миром, находя оптимальные ответы на непривычные вызовы.

У античных философов (Платон, Аристотель, Сенека), размышлявших об отношениях между полисами, у мыслителей Средних веков и эпохи Возрождения (Никколо Макиавелли), рассуждавших о взаимоотношениях княжеств и царств, можно отыскать мысли о роли человека в этих отношениях. Заметный шаг в рассматриваемом направлении был сделан в Новое время – прежде всего усилиями Джона Локка, Томаса Гоббса, Жана Жака Руссо.

Особые заслуги в исследовании роли человека – в жизненном творчестве вообще и в международных отношениях в частности – принадлежат Иммануилу Канту. Не только как создателю критической философии, но и – в интересующем нас плане – как автору «Антропологии с прагматической точки зрения», в которой он рассуждает о «гражданине мира» и «гражданине государства», и трактата «О вечном мире» [6, т. 7, с. 8, 13, 15, 24, 35, 39, 54]⁹³.

⁹³ Примечательно, что те немногочисленные современные теоретики международных отношений, которые подходят к ним с учетом антропологической составляющей, в большинстве случаев обращаются в поисках авторитетного подкрепления своих мыслей именно к Канту. В качестве примера можно сослаться на концепцию «безопасности на базе сотрудничества», предложенную теоретиком из Центра имени Маршалла Ричардом Коэном. Характеризуя свою точку зрения как основывающуюся «прежде всего на безопасности отдельной личности», Коэн пишет: «Концепция безопасности на базе сотрудничества не является изобретением эпохи, наступившей после окончания «холодной войны». На самом деле, Иммануил Кант высказал эту идею еще в конце XVIII века...» [7, с. 2, 6].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

Однако начало систематического исследования феномена человека и его роли как творца общественных отношений относят ко второй половине XIX века. Усилиями Людвиг Фейербаха, а затем и Карла Маркса в тот период начал складываться комплекс научных знаний, разрабатывавшийся с 1920-х годов Арнольдом Геленом, Гельмутом Плеснером и Максом Шелером и получивший название *философской антропологии*.

В широком смысле философскую антропологию можно обозначить как философское учение о человеке, его «природе», «сущности» и «существовании», которое представлено разными течениями. В таком контексте она могла быть спроецирована и на политику, и на международные отношения и особенно на такое явление, как война, к которому обращали взоры многие исследователи феномена человека. Но предметом непосредственного внимания «человеческое измерение» политики стало только в XX веке, когда усилиями социологов и политологов (Жорж Баландьё и др.) начала складываться *политическая антропология*.

Ее легитимизация шла с трудом не только в России (где сторонники новой дисциплины получили возможность утвердить право последней на жизнь только в годы М.С. Горбачева), но и на Западе. Одна из главных причин такой ситуации – представление о социальной (социокультурной) антропологии как науке, занятой в основном архаичными, дописьменными обществами. Именно с ней генетически связывают политическую антропологию. Отсюда – сохраняющееся истолкование последней как дисциплины о специфике политических институтов и политической культуры архаичных социумов.

Вместе с тем в последнее время утверждается представление о политической антропологии как *дисциплине, в центре внимания которой стоит человек политический, в какой бы социокультурный контекст он не был вплетен*. В системе политологического знания выкристаллизовывается самостоятельный комплекс представлений о человеке политическом как о «субъекте политического творчества, его возможностях и границах, специфике его воздействия на социальную и духовную среду общества» [8, с. 178]. При этом политическая антропология «представляет сторону субъекта», тогда как другие отрасли политической науки больший акцент делают на системе и на институциональных сторонах политики [8, с. 178].

Иначе говоря, политическая антропология исследует *Ното sapiens* как относительно самостоятельный социальный тип *Ното Politicus*, а также его роль в общественной и прежде всего в политической жизни. Хотя эта дисциплина и распространяется на сферу международных отношений, она покрывает ее лишь *частично*.

Ведь международные отношения выходят далеко за пределы отношений политических, включая в себя экономические, финансовые, военные, научно-технические и другие контакты.

Происходящие релятивизации границ, отделяющих внутригосударственные отношения от межгосударственных, – это разные, пусть частично и совпадающие, типы отношений. Потому человек, формирующий международные отношения и одновременно сам формируемый ими, не тождественен ни «человеку политическому», ни «человеку экономическому». Отсюда и потребность в исследовании «человека международного» как самостоятельного социального типа и взращивании самостоятельной ветви гуманитарного знания – антропологии мировой политики или международных отношений.

Эта потребность стала сознаться на Западе с 60–70-х годов минувшего века прежде всего под давлением политического интереса, а именно необходимости оптимизации культурно-идеологического воздействия на противников и союзников в борьбе с мировым коммунизмом. Тогда началась, по словам американского исследователя Роберта Мэнделя, «революция в анализе человеческого элемента в международных отношениях» [9, с. 251].

Однако эта «революция» так и не вышла за пределы политической психологии, в которой и началась. Она проявилась в том, что исследователи перестали (1) уподоблять взаимодействие государств столкновению бильярдных шаров⁹⁴, (2) рассматривать психологическое влияние в международных отношениях как «чисто случайные явления или идиосинкратические отклонения» и (3) считать «субъективные аспекты международного поведения» не поддающимися анализу [9, с. 251]. Сегодня эта «революция» нуждается в содержательном развитии. В таком контексте и стоит воспринимать перспективу становления антропологии международных отношений как *научной дисциплины, исследующей детерминирующее воздействие человека на международные отношения и мировую политику, а также международных отношений – на человека. В теоретико-методологическом и практическом планах такая дисциплина априорно ориентирует на гуманизацию самих этих отношений и определяемых ими сфер человеческого бытия.*

На этапе конституирования перед такой дисциплиной возникает несколько исследовательских задач. Первоочередной становится моральная, психологическая и теоретическая «реабилитация» человека как истинного творца международных отношений и миро-

⁹⁴ Намек на приверженцев реалистской школы в международных отношениях, которые как раз и грешили этим уподоблением.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

вой политики. Речь идет о преодолении представлений о человеке как о «механике, обслуживающим международные институты и системы», а то и просто как о «колесике и винтике» этих систем.

Справочная и учебная литература, как отечественная, так и зарубежная, по определению предлагающая наиболее репрезентативные точки зрения, четко фиксирует *государствоцентристский и социоцентристский подходы к интерпретации и построению международных отношений*. При всех различиях, существующих между реалистами, неореалистами, структуралистами, либеральными институционалистами, сторонниками мир-системного и других подходов у них есть общее методологическое основание: главными творцами мировой политики они объявляют *государство в целом и отдельные государственные (либо общественные) политические институты, национальные и транснациональные корпорации, разного рода движения, союзы, блоки, системы*⁹⁵. Если где-то и говорится о «человеческом факторе» или «человеческих особях», то в самой общей форме⁹⁶.

В принципе такого рода подход не может вызывать возражений, ибо он апеллирует именно к тем акторам, которые активно, публично, наглядно вступают в отношения друг с другом, задавая форму и содержание мировой политики. Но кто скрывается за фасадом всех этих «международных институтов» и «союзов», определяя их политику?

⁹⁵ «Международные отношения — поведение государств на мировой арене, все формы взаимодействия между членами различных обществ вне зависимости от того, направляются они или нет государством. Изучение международных отношений включает анализ внешней политики (политических процессов) государств, все стороны отношений между различными обществами... В функциональном анализе они представляют отношения национальных правительств, которые контролируют действия жителей...» [10, с. 139]. В статье «международные отношения», помещенной в недавно изданной двухтомной «Политической энциклопедии», предлагается «выделять традиционное понимание отношений между странами и широкую трактовку международных отношений, включающую помимо связей государств еще и деятельность транснациональных по своей природе органов и организаций (транснациональные корпорации и банки, движения экологов и т.д.)» [11, т. 1, с. 681]. «Международные отношения (international relations) определяются и как «научная дисциплина, изучающая взаимоотношения между государствами, а в более широком смысле — деятельность международной системы как единого целого, ставшая самостоятельной после 1-й мировой войны» [12, с. 333]. Это типичные определения международных отношений.

⁹⁶ Международные отношения как научная дисциплина «может рассматриваться либо как междисциплинарное исследование, сводящее воедино международные аспекты политики, экономики, истории, права и социологи, либо как метадисциплина, сосредоточенная на системных структурах и моделях взаимодействия человеческих особей как единого целого» [12, с. 333].

Философия международных отношений

«Король-солнце» утверждал: «Государство – это я». То же самое могли бы повторить за ним другие монархи, а позднее – Сталин, Мао Цзэдун, Иосиф Броз Тито, Фидель Кастро... Но даже в авторитарных и тоталитарных государствах, не говоря уже о демократиях, верховный правитель (которого «играет свита») – лишь вершина пирамиды, образуемой людьми, прямо либо косвенно вовлеченных в процесс производства и воспроизводства международных отношений.

Сотни, тысячи людей: президенты, премьеры, министры и их советники, бизнесмены, депутаты, дипломаты, «силовики», капитаны СМИ, коммерсанты, финансисты, деятели культуры и науки. Личности, отличающиеся – подчас существенно – по антропологическим, биологическим, культурным, цивилизационным и иным характеристикам. Люди с разными интересами, способностями, нравственными качествами. Различия не могут не находить отражения в творимых ими международных отношениях. Но вместе с тем эти люди – представители единого человеческого рода, носители устойчивых констант, совокупность которых обычно именуется «человеческой природой».

Не отрицая международные отношения как слепок с социальных (в том числе государственных) отношений, мы можем рассматривать их еще и как слепок с человеческой природы. Она объединяет всех людей как слепок с тех специфических черт, которые характеризуют личностей различных эпох, цивилизаций, культур, расово-этнических, гендерных и иных групп. В плане методологическом антропология международных отношений могла бы рассматриваться не как попытка противопоставить антропоцентристский подход государственноцентристскому и социоцентристскому, а как попытка гармонизировать, уравновесить разные подходы, а значит, и высветить международные отношения – явление «сферическое» – с разных сторон.

«Реабилитация» человека как творца международных отношений должна быть предметной и конкретной. Поэтому другая крупная задача, за которую, на наш взгляд, должна была бы взяться новая дисциплина, – *это исследование роли человека как проектировщика и строителя международных отношений.*

Прежде всего важно выявить факторы и меру антропологической детерминированности международных отношений. Иначе говоря, необходимо исследовать условия и пределы воздействия человека на формирование, воспроизводство и трансформацию этих отношений.

Человечество имеет такие международные отношения, которые заслуживает. Это означает, что в каждый данный момент государства и народы оказываются вплетенными в такие отношения друг с другом, какие *они сами же и создают*. Не боги, не цари и не герои, а вступающие в эти отношения социальные общности и образующие

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

их конкретные люди, представленные «царями», «героями», а также еще и разного рода «богами» – для большей доказательности нашей собственной непричастности к порокам этих отношений.

Это легко представить применительно к ранним фазам становления международных отношений. Но в какой мере способен человек воздействовать на сложившееся и отчужденное от него творение его собственных рук в дальнейшем? В каких условиях возрастает степень свободы творчества личности на международной арене? Какие антропологические характеристики субъектов обнаруживают наибольший творческий потенциал в условиях этой свободы?

Резонно напомнить о зависимости между степенью пластичности социальной реальности и мерой свободы социально-политического творчества человека. А значит, и степенью возможности альтернативного воздействия на международные отношения. Не случайно со второй половины 1980-х годов, когда начал рушиться ялтинско-потсдамский порядок, стали говорить о возможностях радикального переустройства мира на основе новых принципов и ценностей, а несколько лет спустя – об упущенных возможностях такого переустройства⁹⁷. Возможности существовали, однако они действительно были упущены. Люди оказались не готовы к радикальным преобразованиям глобального масштаба.

Международные отношения – своеобразный *диалог* социальных систем и политических режимов, культур, систем ценностей и моделей поведения. Но это еще и диалог народов, *диалог живых людей*. Причем характер диалога определяется не столько его социально-политическим контекстом, сколько социокультурными и психологическими характеристиками участвующих в диалоге народов.

Прежде всего такой диалог происходит на *групповом и индивидуальном уровнях*. Многие отождествляют эти характеристики с национальным характером. Философ Александр Зиновьев пользуется жестким и звучащим жутковато понятием «человеческий ма-

⁹⁷ Об этом писал, в частности, Джордж Сорос. Обостренное чутье опытного финансового спекулянта международного класса безошибочно подсказывало ему, что наступил «горячий» момент, когда, согласно известной пословице, можно «ковать железо» (в широком смысле слова). И что уже через несколько лет будет поздно. Так, говорит Сорос, и случилось. «Я надеялся, что США возглавят международное сотрудничество, когда начался распад советской империи. Я основал сеть фондов «Открытого общества» в бывших коммунистических странах, чтобы проложить путь, по которому, как я надеялся, последуют открытые общества Запада. Весной 1989 г. я выступил на конференции «Восток-Запад» в Потсдаме, тогда еще ГДР, в пользу нового варианта «Плана Маршалла»... Впоследствии я пытался предложить Маргарет Тэтчер «План Тэтчер», а также аналогичную идею Президенту Бушу до его встречи с Горбачевым на Мальте в сентябре 1989 г., но безрезультатно» [13, с. 238].

териал». Аналитики, придерживающиеся сциентистско-технократической ориентации, рассуждают о человеческом факторе. Автор этих строк предпочел бы определение, позаимствованное в переосмысленном виде у основателя Римского клуба Аурелио Печчеи, – «человеческие качества».

Под таковыми понимается интегральная характеристика народов и образующих их индивидов, которая, складываясь в процессе их становления и исторической эволюции и несколько трансформируясь по ходу событий, в целом остается на протяжении длительного времени неизменной, не зависящей от существующих в стране политических и экономических отношений. Происходит, конечно, известная адаптация этих качеств к установившимся порядкам – что-то гипертрофируется, что-то отходит на второй план. Но система базовых качеств сохраняется.

Конкретные «человеческие качества» фиксируют:

– представление народа о себе, своем месте в мире и собственной «исторической миссии»;

- склонность или несклонность народа к быстрым переменам;
- вынесенное из опыта умение уживаться с другими народами;
- готовность или неготовность к жертвам или компромиссам;
- степень воинственности того или иного народа.

Система этих качеств представляется существенным фактором, детерминирующим характер международных отношений.

Русские-россияне и американцы, вопреки распространенному мнению, существенно отличаются друг от друга по «человеческим качествам»⁹⁸. Мы делаем большую ошибку, рассматривая противостояние СССР и США в годы «холодной войны» исключительно как противостояние двух социально-политических систем, двух идеологий. Это было и противостояние двух разных цивилизаций и культур. Но, одновременно, была еще и борьба за первенство двух народов, обладающих несхожими социально-антропологическими характеристиками, двух систем «человеческих качеств», что находило отражение не только в советско-американских отношениях, но и во всей системе международных отношений второй половины XX века. Эту ошибку стоит учесть сегодня, когда отчасти заново определяется положение России в современном мире и выстраиваются ее отношения с другими народами.

Важны не только качества макросубъектов (народов). Существенным фактором являются «человеческие качества» микросубъек-

⁹⁸ Сравнительный анализ этих двух народов в этнопсихологическом, культурно-антропологическом и иных планах пока еще не стал предметом углубленного исследования. Из литературы, которая ведет в этом направлении, отметим [14–20].

тов – групп и индивидов. Нередко можно услышать о том, что сложились все предпосылки для решения какой-то проблемы, но не хватает политической воли. Многое – особенно в кризисных ситуациях – зависит от социально-антропологических качеств действующих лиц: их воли, решительности, самооценки, уравновешенности, дальновидности, степени их внутренней свободы. Наиболее наглядно это проявляется на уровне *лидеров и стоящих за ними элит*.

Ошибкой было бы недооценивать детерминирующее воздействие на ход мировых событий качеств *массового типа человека, доминирующего в обществе*. Одно дело – человек с рабской или патерналистской культурой и психологией, способный терпеть любой режим, не видя альтернатив *status quo* и соглашающийся с любыми международными решениями, принимаемыми «верхами». Другое – человек внутренне свободный, уверенный в себе, ориентированный на творческую самостоятельность и поиск альтернатив. Лидеры и элиты стран, в которых доминируют эти разные типы, будут проводить при одинаковых условиях разную политику – внутреннюю и внешнюю.

Крупный вопрос антропологии мировой политики касается детерминирующей роли антропологических характеристик, присущих отдельным социальным общностям и индивидам.

Ведут ли себя японцы на международной арене так же, как американцы, а последние – как французы или русские? Смотрят ли мужчины и женщины на международные отношения одними и теми же глазами, а если нет, то в чем различия? Одинаково ли ведут себя на мировой арене народы, проживающие в северных и южных широтах? А что можно сказать о влиянии возрастных характеристик на международное поведение?

Какие-то ответы на эти и другие вопросы того же ряда нам подсказывает художественная литература, мемуары дипломатов и путешественников; какие-то – личный опыт и интуиция. Что-то может сообщить и наука, в первую очередь – этноантропология и культурная антропология. Вот что пишет о поведении японцев в 1941 году Рут Бенедикт, автор классического исследования «Хризантема и меч. Модели японской культуры»: «Для Соединенных Штатов Япония была самым чуждым противником из числа тех, с кем им приходилось когда-либо вести большую войну. Ни в одной другой войне с крупным противником США не сталкивались с необходимостью принимать в расчет поведение и мышление, совершенно отличные от американских. Принятые западными народами как соответствующей натуре человека условные правила ведения войны явно не признавались японцами. Главной проблемой было понять характер врага» [21, с. 5].

Критики современных теорий международных отношений, прежде всего из числа феминисток, отрицают их объективность и универсальность на том основании, что эти теории «созданы на основе изучения поведения мужчин» [22, с. 434]⁹⁹. Женщины, как утверждается, смотрят на мир иначе и ведут себя по-другому. Оценивая концептуальные структуры, построенные с использованием моделей теории рационального выбора и теории игр, профессор Калифорнийского университета Дж.Э. Тикнер признает, что приводимые в них аргументы учитывают преимущественно тот тип инструментально рационального поведения индивидов в условиях рынка, который сегодня на Западе характерен скорее для мужчин, чем для женщин [22, с. 435]¹⁰⁰. Гендерная специфика в этом случае может проявлять себя в том, что традиционные модели анализа акцентируют только те стороны поведения государств, которые ассоциируются с конфликтом. Они «отвлекают внимание от других аспектов поведения государств – таких, как стремление к независимой экономической активности и сотрудничеству на базе формирования союзов» [22, с. 435].

Заслуживает внимания и вопрос о детерминирующей роли антропологических характеристик *индивидов*, вовлеченных в международную жизнь. Это касается в первую очередь политических лидеров, но не только их. Мы обычно акцентируем политическое, экономическое и жизненное кредо индивидуальных творцов международных отношений, их принадлежность к той или иной партии и клану, иногда – нравственные принципы. Порой обращаем взоры к их семье. Вскользь можем заметить, что они не очень умны и не лучшим образом воспитаны и образованы. «Политическая корректность» не позволяет говорить вслух о цвете их кожи и расовой принадлежности, хотя сегодня, в начале XXI века, эти различия выглядят столь же ординарными, как и различия между мужчинами и женщинами.

Но есть характеристики, которые либо вовсе игнорируются исследователями, либо упоминаются вскользь. Между тем, акторы

⁹⁹ Продолжив логически эту линию, можно предположить, что теории международных отношений, выстраиваемые представителями различных антропологических групп, будут отличаться друг от друга своей антропологической окраской не меньше, чем их поведение.

¹⁰⁰ Стоит обратить внимание на слово «сегодня», походя брошенное Дж. Тикнер. На самом деле за ним скрывается проблема временного измерения международно-антропологических отношений, которую мы не имеем возможности затронуть здесь даже вскользь. Заметим только, что с течением исторического времени большинство антропологических факторов, детерминирующих международные отношения, претерпевают более или менее существенные изменения – и по составу, и прежде всего по содержанию.

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

мировой сцены, включая «исполнителей» главных ролей, – разные люди. Высокорослые и низкорослые. Пораженные психологическими комплексами и лишенные их. Здоровые и больные. Холерики и сангвиники. Старые и молодые. Все эти черты находят отражения в их взаимоотношениях не только с близкими людьми, но и с представителями других стран и народов, а главное – в проводимой ими политике.

Вклад психоаналитиков в исследование влияния личностных характеристик на внутреннюю и внешнюю политику [23–24], конечно же, не следует игнорировать. Но их труды не решают проблемы. Психоаналитиков интересует не человек в его целостности, а психический мир личности. Причем акцент делается на душевную и телесную патологию, на развивающиеся у человека – как на массовом, так и на индивидуальном уровнях – фобии, с которыми и увязывается модель поведения субъекта на международной арене¹⁰¹.

Особый комплекс исследовательских задач связан с выявлением *детерминирующих воздействий природы человека на характер международной политики*. Трудности вызывает верификация воздействия этой природы на общественную жизнь. Тем не менее, не будет преувеличением сказать, что, определяя степень и значимость этого воздействия, мы приближаемся к нахождению ответа на актуальный вопрос о *соотношении социологической и антропологической детерминированности международных отношений*. А значит, и выявлению источников международных явлений, одни из которых мы хотели бы устранить, а другие – закрепить в международной практике.

Если за отправную точку принять представление о человеке, как продукте длительной эволюции, *биосоциальном существе*, то следует согласиться и с тем, что обе стороны его природы – биологическая и социальная – должны отражаться и в его деятельности в сфере международных отношений. Вопрос, однако, состоит в том: преобладает ли (если воспользоваться выражением Ф. Энгельса) «животность» человека над его социальностью, а социальность – над «животностью», или, быть может, обе стороны человеческой природы каким-то образом гармонизируют, уравновешивая друг друга?

¹⁰¹ Как пишет один из исследователей, «Лассуэлл, похоже, был убежден, что так называемый комплекс кастрации должен рассматриваться как играющий большую роль почти во всех международных конфликтах. Он признает важность таких конвенциональных факторов, как соперничество в торговле, соревнование в вооружении и угроза нарушения баланса сил. Но он считает, что эти факторы редко выливались бы в открытый конфликт, если бы не существовало психологического напряжения, довлеющего над умами масс с обеих сторон» [25, р. 397–398].

Известно связываемое с именем Томаса Гоббса изречение: «*Homo homini lupus est*» – «Человек человеку – волк»¹⁰². В нем подчеркивается «животное» начало человеческой природы и звериный характер отношений между людьми, который, может быть обуздан обществом (государством) лишь до известной степени. Отсюда выводятся корни таких явлений, как агрессивность и война. Однако были и остаются мыслители, в том числе великие (среди них И. Кант), которые полагали, что люди способны умерить свои страсти, погасить агрессивность и утвердить на земле «вечный мир».

Прояснить этот вопрос могла бы в том числе и антропология международных отношений. С одной стороны, в содружестве с историей международных отношений она могла бы исследовать причины конкретных войн, международных конфликтов и актов агрессии. С другой – объектом ее внимания могут стать акты сотрудничества, союзничества и иные формы кооперативного взаимодействия наций и государств. Это способствовало бы созданию эмпирической базы, на основании которой удалось бы точнее определить соотношение биологического и социального факторов международной политики. Если человек есть существо не только рациональное, но и иррациональное, то как этот дуализм проявляется в сфере международных отношений? При каких условиях возможно изменить соотношение этих двух начал во внешнеполитической деятельности, и насколько сильно отклонения от нормы поведения отдельных людей в самом деле могут повлиять на дальнейшую судьбу человечества?

Международные отношения не только формируются человеком – они формируют человека. Конечно, степень их воздействия зависит от степени включенности личности в эти отношения, а разные народы (государства) и социоантропологические группы оказываются в то или иное время в неодинаковой степени вовлеченными в международную жизнь. Однако в последнее время ситуация изменилась. Вторая половина XX века отмечена ростом вовлеченности всех стран и народов мира в международные дела и становлением всеохватной сетевой системы международных отношений, а значит и превращением их в *устойчивый и всеобщий фактор воздействия на человека*.

Вопрос антропологического изучения – влияние международных отношений на положение человека в стране и мире. Нельзя сказать, что этот вопрос не интересовал и не интересует международных. Однако в большинстве случаев он сводится к исследова-

¹⁰² На самом деле, как установлено исследователями, это выражение впервые встречается в «Ослиной комедии» древнеримского писателя Плавта: *Lupus est homo homini, non homo*.

нию воздействия войны и других форм международного насилия на гуманитарную ситуацию в обществе. Акцент делается на разрушительном аспекте военных действий, трагизме существования человека в условиях войны. Война и впредь будет оставаться в поле внимания исследователей. Важно не упускать из вида многомерность этого феномена и противоречивость воздействия войн на положение человека в обществе и его внутренний мир.

Но важна и гораздо менее исследованная проблема мира, который не может быть сведен к отсутствию состояния войны. Известны высказывания ряда мыслителей, в том числе выдающихся (Гегеля) о том, что долгое отсутствие войн негативно воздействует на состояние общества и человека. Тезис, по меньшей мере, спорный. Однако это не избавляет непредвзятого исследователя от необходимости рациональной интерпретации мотивов, которыми руководствовались мыслители, отстаивающие эту позицию.

Вопрос, заслуживающий внимания – влияние вовлеченности стран в международные отношения на жизнь их граждан (подданных). Хотя практически все страны являются субъектами этих отношений, степень их взаимодействия друг с другом и роли, исполняемые ими, не одинаковы. Как сказывается наличие или отсутствие активных взаимодействий той или иной страны с зарубежными акторами на положение ее граждан? Некоторые американские эксперты полагают, что уменьшение активности США в ближневосточных делах уменьшила бы вероятность терактов против Америки.

Не все ясно и с гуманитарными последствиями гуманитарных интервенций. Казалось бы, странно: интервенции 1990-х годов потому и назывались «гуманитарными», что провозглашали целью предотвращение гуманитарных катастроф. Однако реальные последствия вмешательств не всегда совпадали с декларированными намерениями. Если институт санкционированного коллективного гуманитарного вмешательства войдет в международную практику XXI века, то стоит поразмыслить о том, какими должны быть его формы. Иначе получится так, что одни группы людей будут улучшать свое положение за счет ухудшения положения других.

Существует вопрос *целенаправленной глобальной демократизации*, о которой устами представителей своей администрации объявили Соединенные Штаты. Исходя из небесспорной презумпции, что демократия есть безусловное благо, они утверждают, что повсеместное установление при помощи Америки демократических режимов приведет к решению многих гуманитарных проблем: сделает каждого человека свободным, наделит его политическими и гражданскими правами, приведет к улучшению его материального положения. Однако, как свидетельствует опыт многих неевропейских стран (вклю-

чая Афганистан и Ирак), «демократизацией» которых Америка занялась в последние годы, все не просто. Тема «*демократизация и человек*» отнюдь не принадлежит к числу хорошо изученных.

Не проанализированы и гуманитарные последствия региональной и глобальной интеграции. Опыт в этом отношении не велик. Интеграционные процессы развиваются по нарастающей. Идти они будут не гладко: национальная само-ре-идентификация (вчера – «немец», завтра – «европеец»), с которой связаны объединения и разъединения наций, – дело тонкое. Интеграторы, забывающие о человеке, рискуют получить не новую процветающую общность, а взрывчатую смесь.

Перспективное направление исследований воздействия международных отношений на человека касается отдельных социоантропологических групп. Существует мнение, что мужчины и женщины, дети и взрослые, молодые и старые, горожане и селяне, живущие в разных странах и на разных континентах, в неодинаковой мере вовлечены в международные отношения. Феминистки утверждают, что от 80 до 90% жертв военных конфликтов после Второй мировой войны – гражданское население, большую часть которого составили женщины и дети. Лишь недавно начали признавать, что женщины особенно часто подвергаются насилию во время войн. Данные о вооруженных конфликтах, собираемые международниками, обычно относятся к людским потерям в период активных боевых действий. Исследования же долгосрочных последствий войн обнаруживают, что женщины часто становятся жертвами вредоносных последствий конфликтов, хотя эмпирическая основа подобных оценок нуждается в уточнении [22, с. 432].

Перечень вопросов можно продолжить. В наступившем столетии международные отношения будут больше соответствовать своему названию и превращаться в отношения между народами. А народ – это разные группы: гендерные, профессиональные, возрастные, религиозные и т.п. Именно отношения между этими группами, приобретающие сетевой характер¹⁰³, будут больше определять реальное положение государств и человека в мире.

Актуальное направление исследований – воздействие международных отношений на эволюцию сущности человека. Современный человек не отличается по своей биосоциальной *природе* от человека предшествующих эпох. Но его *сущность*, как квинтэссенция качеств, делающих человека тем, чем он является в своем

¹⁰³ Проблема групповой международной политики и ее глобально-сетевой организации серьезно рассматривается в опубликованной недавно монографии профессора Принстонского университета Энн-Мари Слотер «Новый мировой порядок» [26].

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

конкретно-историческом воплощении, меняется, пусть и медленно. Связана эта эволюция с изменением социального контекста существования человека.

На протяжении веков жизнь людей редко выходила за рамки полисов, городов, княжеств и других ограниченных сфер их постоянного обитания, так что влияние на человека отношений, которые мы сегодня называем международными, было невелико. Но по мере «сжатия» мира ситуация менялась. Расширение и уплотнение сети международных отношений, вовлечение в них большего числа людей делают эти отношения столь же значимым фактором трансформации сущности человека, как и факторы внутренние.

Современные международные отношения способствуют созданию условий, благоприятствующих более глубокому пониманию сущности человека. Дать ответ на вопрос, что такое человек, станет возможно лишь тогда, когда появится реальное *человечество*. То есть когда отдельные его *части*, представленные отдельно живущими *народами*, сольются в единое *целое*. При этом будет происходить формирование «человека международного», то есть человека, выходящего в своем сознании, ценностных и жизненных ориентациях, практической деятельности за пределы одного государства.

Первоначальные формы «человека международного» были известны еще античному миру. Древнегреческие киники (Диоген) и стоики (Хрисипп) понимали, что преодоление границ одного полиса и соприкосновение с жизнью и культурой другого превращает его в «космополита» – «гражданина мира». Дальнейшее развитие этот тип получил в Римской империи. Расширение ее границ не могло не породить представления об одновременном существовании, как говорил Сенека, двух государств: большого, границы которого «мы измеряем движением солнца» и малого – того, «к которому нас приписала случайность». Второе может быть афинским, карфагенским или связанным с еще с каким-либо городом; главное в том, что оно касается не всех людей, а только одной определенной группы [27, с. 507].

Римский «гражданин мира», чувствовавший себя причастным одновременно к разным государствам и служивший им, был, в сущности (по нынешним меркам), не мировым, а региональным типом. Сегодняшний «человек международный» – пока тоже не глобальный, а региональный, прежде всего европейский, тип. Он пребывает в процессе становления. Свидетельство тому – проведенные в 2005 г. во Франции и Нидерландах референдумы по европейской конституции, которые показали, что большинство граждан Европы чувствуют себя не столько европейцами, сколько французами и голландцами. Тем не менее, процесс формирования «европейского космополита» продолжается. Объединенная Европа не сможет су-

ществовать и нормально функционировать как целостное политическое, экономическое и социальное образование, пока в рамках ЕС не сформируется одна из разновидностей «человека международного» – современный европеец.

Более того, существует возможность формирования «человека глобального». Судьба мира будет во многом зависеть от качеств этого человеческого типа. Глобальный порядок, который поддерживался бы всеми народами, невозможен в сущности без соответствующего массового типа человека.

Специфика любой научной дисциплины антропологического ряда заключается в том, что она не ограничивается констатацией результатов исследования положения человека в обществе. Она задает – напрямую или косвенным путем – систему установок, ориентирующих на: (1) определенное восприятие человека и подход к нему; (2) определенный тип общественного (в том числе международного) поведения; (3) исследование человека как специфического объекта, отличного от всех других объектов уже тем, что он одновременно является и субъектом всех жизненных процессов.

Но «реабилитация» личности как творца международных отношений не может ограничиться констатацией того факта, что эти отношения – «слепок» с *Homo Sapiens* в его родовом и видовых проявлениях. Она предполагает также формирование в обществе отношения к человеку как творцу глобального мира и воспитание человека как свободного творца с развитым чувством социальной ответственности. Такая личность должна быть наделена твердой волей к позитивному действию, развитым нравственным сознанием и социологическим воображением; быть внутренне свободной, открытой миру как (по словам А. Панарина) «носитель иначе-возможного, объективно не predeterminedного, альтернативного».

«Реабилитация» человека предполагает также ориентацию на построение глобального мира и международных отношений, которые ставили бы своей генеральной задачей обеспечение общего блага человечества. Говорю об этом, помня о многочисленных иронических репликах¹⁰⁴ по поводу общего блага как псевдоценности, ко-

¹⁰⁴ Речь идет, в частности, о выдающемся экономисте и социологе Йозефе Шумпетере, авторе классического труда «Капитализм, социализм и демократия». По его утверждению, «не существует однозначно определенного понятия общего блага, которое устроило бы всех, если только будут приведены рациональные доводы. Это связано не только с тем обстоятельством, что некоторые личности имеют устремления, не совпадающие с общим благом, но в первую очередь с тем основополагающим моментом, что разные индивиды и группы вкладывают в понятие общего блага различное содержание» [28, с. 333–334].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

торую-де невозможно определить по причине отсутствия общих критериев блага и наличия разных представлений о его содержании («что для русского здорово – для немца смерть»).

Установка на стремление обеспечить общее благо имеет реалистический характер. Это что-то вроде сверхзадачи как условия решения ординарной задачи. По сути, подобная установка содержится в преамбуле к Уставу ООН. Этот документ фиксирует решимость народов:

- избавить грядущие поколения от бедствий войны;
- утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин, равенство прав больших и малых наций;
- создать условия, при которых может соблюдаться справедливость;
- содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе;
- проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи;
- объединить усилия для поддержания международного мира и безопасности;
- использовать вооруженные силы не иначе, как в общих интересах [29].

В современной международной практике не существует такого института, как антропологическая, или, говоря более привычным языком, гуманитарная экспертиза акций, предпринимаемых государствами. Иными словами, их не принято оценивать с точки зрения их реального или возможного воздействия (в том числе разрушительного) на положение человека в обществе и мире. Значит, отсутствует реальное представление о гуманитарном ущербе, который они способны нанести, и возможность предотвратить его. Одновременно проблематично и скорректировать предпринимаемые или подготавливаемые акции и акты.

Боб Вудворд в книге «План нападения» [30] рассказывает, с какой тщательностью на протяжении многих месяцев Вашингтон планировал вторжение в Ирак в 2003 году. Оценивалось все: стоимость операции, численность воинского контингента, количество необходимых для переброски войск транспортных кораблей, возможная длительность военных действий, вероятные потери в живой силе и технике. Не оценивалось только одно: возможные гуманитарные последствия операции. Было что-то вскользь сказано о предполагаемых потерях противника на поле боя и жертвах среди мирного населения. Но таких экспертных оценок в гуманитарной области, какие делались в отношении других аспектов операции, не бы-

ло и в помине. Между тем сегодня мы видим, что прямые человеческие потери и со стороны иракского населения, и со стороны американцев больше, чем предполагалось, и они продолжают расти.

Почему бы не попробовать в порядке эксперимента провести гуманитарную экспертизу некоторых из международных операций, которые официально планируется осуществить в ближайшем будущем? Еще важнее дать экспертную оценку гуманитарной составляющей тех регулирующих международных отношения нормативных актов, которые разрабатывают сегодня и планируют разработать завтра.

Помимо гуманитарной экспертизы международных акций, а также нормативных актов, имело бы смысл подумать и о *гуманитарном прогнозировании* мировой политики и международных отношений. Реальная международная гуманитарная практика является, как правило, запоздалой и не всегда адекватной реакцией на проблемы, вызревавшие в течение длительного времени. Стоит в этой связи подумать о формировании «повестки дня» на «завтра» – о том, что следовало бы предпринять в международных отношениях и мировой политике в опережающем порядке, чтобы по меньшей мере предотвратить гуманитарные катастрофы и кризисы, а может быть, и улучшить положение человека в тех или иных странах и регионах.

* * *

Рассмотрение международных отношений «сквозь призму» человека, а человека – «сквозь призму» международных отношений со временем обязательно приведет к становлению антропологии международных отношений и мировой политики как серьезной и практически значимой научной дисциплины. Со временем она встанет в ряд с историей, социологией и психологией международных отношений. А возможно – и с философией международных отношений, становление которой началось недавно.

1. Коукер К. Сумерки Запада. М., 2000.
2. Фукуяма Ф. Великий разрыв. М., 2003.
3. Бьюкенен П. Смерть Запада. М., 2003.
4. Wallerstein I. The Decline of American Power. N.Y.; L., 2003.
5. Anthropology // International Encyclopedia of Social Sciences. Vol. 12. N.d., n.p.
6. Кант И. К вечному миру. Философский проект // Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 7. М., 1994.
7. Безопасность на базе сотрудничества: новые перспективы международного порядка. Garmisch-Partenkirchen, 2001.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

8. Панарин А.С. Философия политики. М., 1996.
9. Mandel R. Psychological Approaches to International Relations // Political Psychology / M. Hermann (ed.). San Francisco; L., 1986.
10. Зарубежная политология. М., 1998.
11. Политическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М., 1999.
12. Политика. Толковый словарь / Под ред. А. Маклина. М., 2001.
13. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999.
14. Гершунский Б.С. Россия и США на пороге третьего тысячелетия. Опыт экспертного исследования российского и американского менталитетов. М., 1999.
15. Баталов Э.Я. Русская идея и американская мечта. М., 2001.
16. Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт. М., 1993.
17. Бурстин Д. Американцы: Национальный опыт. М., 1993.
18. Бурстин Д. Американцы: Демократический опыт. М., 1993.
19. Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994.
20. Биллингтон Дж. Россия в поисках себя. М., 2005.
21. Бенедикт Р. Хризантема и меч. М., 2004.
22. Тикнер Дж.Э. Международные отношения под углом постпозитивизма и феминизма // Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.
23. Lasswell H. Psychopathology and Politics. Chicago; L., 1977.
24. Одайник В. Психология политики. М., 1996.
25. Burns E. Ideas in Conflict. N.Y., 1960.
26. Slaughter A.-M. A New World Order. Princeton; Oxford, 2004.
27. Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 1. М., 1969.
28. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
29. Организация Объединенных Наций: Сб. документов. М., 1981.
30. Woodward B. Plan of Attack. N.Y.; L., 2004.

РОССИЯ, ЕВРОПА, АМЕРИКА

Политическая система США сегодня: взгляд из Москвы*

Политика любого государства определяется не только тем, кто стоит в нем у власти, но и тем, как организована эта власть. Поэтому, строя прогнозы относительно перспектив развития отношений России с Соединенными Штатами в ближайшие годы, мы должны иметь ясное представление не только о взглядах нового президента и его администрации, но и о том, как устроена американская политическая система.

Интерес к последней закономерен. Ее состояние есть интегральный индикатор состояния *всех* основных политических параметров общества в их *единстве*, всего политического *организма*. Политическая система – это среда, в которой непосредственно действуют политические лидеры и поддерживающие их элиты; она во многом определяет, что они могут себе позволить как политики, а чего – нет.

Слово «система» давно в ходу у политологов и журналистов, но многие, увы, толкуют его как бог на душу положит. Между тем для современной науки «политическая система» – не просто устойчивое понятие, но достаточно строгая категория, ставшая в последние десятилетия в один ряд с такими категориями, как «государство», «партийная система» и т.п.

О политической системе, напомним, говорят, имея в виду либо *абстрактную теоретическую модель*, позволяющую выявлять и описывать системные свойства политических объектов (например, государства) [1–4]; либо *конкретный интегральный политический механизм* (механизм власти), сложившийся в данном обществе и обслуживающий его [5–7]. В этом случае в рамках системы выделяют совокупность тесно связанных друг с другом (и частично перекрывающих друг друга) подсистем: *институциональной* (политические учреждения и организации, включая государство и образующие его органы власти); *нормативной* (правовые и моральные нормы и принципы); *коммуникативной* (отношения и взаимодействия, в том числе информационные, между субъектами политического процесса); *идеологической* (политическое сознание и по-

* США ♦ Канада: экономика, политика, культура. 2001. № 7. С. 3–19.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

литическая психология)¹⁰⁵. Именно о такого рода механизме, существующем в США, и пойдет речь в предлагаемых заметках.

Как же выглядела американская политическая система на рубеже веков? Какой механизм власти получили в наследство от демократической администрации Дж.У. Буш и его команда? А правильное сказать – в какой механизм оказались включенными новый американский президент и республиканское руководство?

Пытаясь разобраться в этих вопросах, возьму себе в попутчики и помощники недавно опубликованную коллективную монографию, подготовленную крупными учеными-американистами, сотрудниками Института США и Канады РАН. Она так и называется: «Политическая система США. Актуальные измерения» [8]. Но прежде чем отправиться в путь, представлю, как оно и положено, своего многоголосого «компаньона».

«Политическая система США» (в дальнейшем – монография) – первая в отечественной науке попытка исследовать состояние властного механизма американского общества на стыке двух веков, двух тысячелетий, а по сути дела – двух исторических эпох. Водоразделом между ними стали 80–90-е годы XX в., рамками которых хронологически ограничена книга.

Скажу сразу: сочетание профессиональной эрудиции и аналитического подхода не только к глубинным, скрытым тенденциям, но и процессам и событиям вроде бы плоским и самоочевидным, а на самом деле тоже многомерным и требующим исследования, позволило авторам подготовить полезную, стимулирующую к собственным размышлениям книгу. Книгу, дающую квалифицированные ответы на вопрос, как же выглядел в конце 80-х и в 90-х годах политический «дом», который «дядя Сэм» построил два века назад и который постоянно достраивался, перестраивался, но в целом оставался «тем самым домом»...

Конечно, я бы покривил душой, сказав, что работа моих уважаемых коллег лишена недостатков. Назову лишь главный из них. Коль скоро предметом своего исследования мы объявляем систему, т.е. берем определенную сферу бытия в ее внутренне дифференцированной целостности (в этом и заключается смысл системного подхода), то мы обязаны рассмотреть – пусть с «птичьего полета», пусть очень бегло – все ее основные составляющие, все подсистемы. Причем в тесной увязке друг с другом, что только и позволит раскрыть содержание системного целого. В противном случае речь

¹⁰⁵ В современной политической науке отсутствует общепринятая классификация политических подсистем, но большинство исследователей выделяют именно эти сферы, хотя и называют их по-разному.

должна идти не о «системе», а об отдельных ее элементах. Но это уже иной предмет, иная качественная определенность. Вот этот принцип – принцип системной целостности – и нарушен в книге.

Не буду ставить в укор ее авторам необычную структуризацию политической системы современного американского общества. (Она берется в четырех «измерениях»: «политическом», «правовом», «бюджетном» и «социальном».) Не буду и гадать, почему «бюджетное измерение» стало вдруг частью политической системы и что означает «политическое измерение» политической системы. В конце концов развитие науки идет по линии отклонения от сложившихся парадигм, и ученый, тем более обществовед, имеющий дело с весьма капризной материей, вправе, наверное, повторить слова художника: «Я так пишу, потому что так вижу!» (Правда, для этого необходимо предъявить веские аргументы.) И все же трудно представить себе, как можно рассуждать о политической системе, не рассматривая политическое сознание, средства массовой информации, политическую культуру и даже... институты законодательной власти.

Я ни секунды не сомневаюсь, что ответственные редакторы книги, будучи профессионалами высокой пробы, прекрасно знают, как современная наука трактует понятие политической системы. Не сомневаюсь и в том, что, отправляя рукопись в печать, они отдавали себе отчет в неоправданном сужении объекта исследования. Отсюда, по-видимому, и попытка «спастись» с помощью проверенного временем подзаголовка: «Актуальные измерения». Но подзаголовков не спасает, ибо исследование, скажем, деятельности Конгресса США или местных законодательных собраний ничуть не менее актуально, чем анализ включенных в книгу «измерений».

Фиксирую внимание на всех этих обстоятельствах по той причине, что недостатки, о которых идет речь, имеют, как мне представляется, не научно-творческие, а иные корни. Очевидно, у ответственных редакторов и авторского коллектива не было возможности организовать должным образом работу над монографией. А отсутствие такой возможности, как свидетельствует академическая практика последнего десятилетия, часто оказывается связанной и с отсутствием должного финансирования, и с нехваткой квалифицированных кадров, способных «закрыть» необходимую проблематику, и с прямо-таки катастрофическим состоянием российских научных библиотек.

Низкий уровень образованности большинства из тех, кто правил нашей страной на протяжении последнего десятилетия XX в., непонимание ими роли научного знания в развитии общества, а отсюда и самоубийственная (для нации) затея сэкономить на науке – вот, понимаешь, глубинные истоки многих бед, которые «на выходе» принимают видимость академических огрехов.

Но это, как говорится, к слову. При всех ее недостатках монография – добротная, нужная работа, помогающая понять, как выглядели многие аспекты американской политической системы в 90-е годы XX столетия. К этой системе и обратим теперь взоры.

Дом, который построил Сэм

Политическая система США существует как целостное образование более двухсот лет. Бросая взгляд на ее историю, мы можем выделить в ней ряд констант, позволяющих охарактеризовать эту систему как уникальную, не имеющую аналогов ни в Европе, ни тем более в Азии.

Прежде всего следует подчеркнуть, что перед нами – политическая система *демократического типа*. Что это за демократия – вопрос, вызывающий споры и по сей день, и мы к нему еще вернемся. Но то, что утвердившаяся в Соединенных Штатах политическая система может быть однозначно охарактеризована именно как система демократического типа, вызывает сомнения лишь у левых радикалов.

Эта система зиждется на *либеральных (в локковском смысле) принципах*. Можно соглашаться или не соглашаться с известной «школой консенсуса», взгляды которой нашли в свое время отражение в классической, по мнению многих американских историков, книге Луиса Харца «Либеральная традиция в Америке». Но тот факт, что принципы индивидуализма (этического и предпринимательского), свободы, равенства перед законом в сильнейшей степени повлияли на формирование политической системы США – это доказано всей историей страны.

Если исходить из предложенной (еще 20 лет назад) автором этих строк типологии, согласно которой политические и идеологические системы могут быть подразделены – с известной долей условности, конечно, – на «рыночные» и «этатистские» [9], то политическая система США должна быть отнесена к системам *рыночного типа*. Вся жизнь Америки пронизана, как нигде еще, рыночным, торгашеским, не побоюсь этого слова, духом. Политическая сфера США – гигантский рынок, где тысячи и тысячи «продавцов» и «покупателей» самого разного калибра и профиля, чутко реагируя на конъюнктуру, торгуясь друг с другом и широко используя при этом посредников (лоббистов), пытаются подороже «продать» и подешевле «купить» политический «товар». Торгашеский дух американской политики во многом объясняет и беспрецедентное развитие института лоббизма, и выдающееся положение суда в по-

литической системе США. (Замечу, что и лоббизм, и судебная власть весьма толково прописаны в монографии.)

Американская политическая система *консервативна*: большинство составляющих ее подсистем, особенно институциональная, менялись гораздо медленнее, чем, скажем, во Франции, Германии или Японии, не говоря уже о России, которая на протяжении XX в. пережила три политических революции. К тому же изменения, происходившие в США, носили, как правило, менее радикальный (т.е. эволюционный) характер.

Надо, впрочем, тут же оговориться, что при всем консерватизме политическая система Соединенных Штатов отличается от многих других систем гибкостью и способностью адаптироваться к изменяющимся условиям и императивам времени. Это достигается за счет искусной интерпретации действующих в обществе норм и умения оперативно изменять частности (детали), сохраняя при этом целое.

Американская политическая система *эффективна*. Она обеспечивает необходимые условия для нормального протекания политического процесса и его согласования с общесоциальным процессом, что позволяет в итоге воспроизводить и в чем-то даже совершенствовать действующую модель властных отношений.

Наконец, политическая система США обладает таким качеством, как *стабильность*, столь высоко ценимым и политиками, и рядовыми гражданами. Конечно, политические кризисы сотрясали время от времени и Америку, и в ее истории тоже случались годы, когда казалось, что «еще немного, еще чуть-чуть» — и в «этой стране» воцарится социализм¹⁰⁶. Но шло время, кризис в конце концов отступал и становилось ясно, что американская политическая система устояла и на этот раз.

В чем причина такой устойчивости? И нельзя ли чему-то поучиться у американцев, чтобы и в России построить «сейсмостойкую» и при том эффективную политическую систему? Размышляют над этим и авторы монографии. И хотя в книге нет главы или параграфа, где проблема политической стабильности была бы предметом отдельного рассмотрения, в большинстве из двенадцати глав монографии так или иначе она затрагивается. Попробуем, обобщив высказываемые авторами суждения и добавив к ним собственные наблюдения и выводы, разобратся, на каких таких «китах» стоит политическая Америка.

¹⁰⁶ «В считанные месяцы, — писал весной 1919 г. Чарлз Рутенберг, стоявший у истоков коммунистического движения в США, — возникнут новые советские правительства и западной границей Советской Европы скоро станет Рейн... Сможет ли капитализм остановить там советское движение? Едва ли... Советское движение будет развиваться, пока не возникнет Всемирная Советская Республика» [10, с. 24].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

Первый из «китов» – *либерально-демократический конституционализм*, т.е. наличие в стране конституции, которая опирается на либерально-демократические принципы и в свою очередь служит опорой всей политической системы, определяет методы политического правления. Американская конституция «превратилась в некий национальный символ, в повседневной жизни американца выступая фактическим мерилом “правового”, гарантией прав и свобод человека» [8, с. 34]. Но конституция для американца – не только рабочий, а еще и *работающий* (!) инструмент, что во многом определяет его, американца, законопослушность. А *массовая законопослушность* – одна из фундаментальных предпосылок стабильности политической системы. При том, правда, условия, что эта система надежно блокирует возможность легального прихода к власти представителей крайних ориентаций и возникновение мощных радикальных движений и партий.

В Америке данное условие соблюдено. Сложившаяся в стране политическая система – и это еще одно условие ее стабильности – имеет *центристскую фокусировку*. Этому способствует наличие системы так называемых сдержек и противовесов, согласно которой каждая из трех ветвей государственной власти играет «достаточную роль в действиях двух других ветвей, так что ни одна из них не может доминировать над остальными» [11, р. 804]. Помогает здесь и двухполюсная модель организации партийной жизни, а проще говоря, – двухпартийная система, самая устойчивая и эффективная (как, впрочем, и все бинарные структуры) из многопартийных систем¹⁰⁷.

Важное условие стабильности американской политической системы – *сочетание административно-политического федерализма с этническим унитаризмом*. «Отцы-основатели» американской государственности «целенаправленно противодействовали компактному расселению представителей отдельных этнических групп, складыванию сколько-нибудь крупных этнических анклавов, которые могли бы когда-нибудь в дальнейшем претендовать на превращение их в национальные административно-территориальные единицы со своими органами самоуправления...» [8, с. 261]. Конечно, сделать это в стране иммигрантов было неизмеримо легче, чем, скажем, в Европе. И тем не менее, стоит отметить то упор-

¹⁰⁷ Имеется в виду ситуация, когда закон допускает существование в стране множества партий и когда действительно существует несколько партийных объединений, но реальная политическая жизнь определяется только двумя из них. Постоянно конкурируя друг с другом, стимулируя друг друга и собирая вокруг себя большинство политически активного населения, они образуют устойчивую ось, на которой держится партийно-политическая жизнь общества.

ство и настойчивость, с которыми архитекторы американского общества проводили свою линию ассимиляции на основе принципа этнического унитаризма.

Еще один «кит», на котором держится политическая система США, – *соизмеримость ее базисных характеристик с характеристиками социально-экономической среды*, в которую она встроена. Здесь, в России, мы спорим, соответствует или не соответствует демократия нашим, российским условиям? Воспримет или не воспримет наше общество либеральные ценности? Сила американской политической системы заключается в том, что ее демократизм и либерализм воспринимаются как естественное проявление демократизма и либерализма американского общества. На этот счет нет сомнений ни у политиков, ни у рядовых граждан, включая тех, кто критически относится к властям и чей критицизм мотивирован, как правило, отклонением реальности от идеала.

Американская политическая система сильна не только, а в некоторых отношениях не столько мощью государства, сколько силой гражданского общества. В стране действуют на постоянной основе сотни тысяч(!) добровольных объединений граждан, которые, работая на федеральном уровне, на уровне штатов и графств, оказывают постоянное воздействие на функционирование государства и политической системы в целом. Последнее время, например, все громче (и результативнее) заявляют о себе женские организации. (Их деятельность подробно описывается в монографии.) А без лоббистов представить себе нынешние США невозможно вообще. Ибо современный американский лоббизм – это «всесторонне развитый политический институт» [8, с. 58], органически вписывающийся в политическую систему общества.

Американскому государству нет надобности «во все влезать». Да ему и не позволят это сделать. Не позволит рынок. Не позволят гражданские объединения, которые одновременно и помогают государству, и корректируют его деятельность, и сдерживают его экспансионистские побуждения (поскольку любое государство, будь оно трижды демократическим по идее, на практике стремится к тотальной власти). Вот эта *взаимодополняемость власти государства властью гражданского общества* – еще один «кит», на котором стоит политическая система США.

Существенную роль в функционировании политических институтов играет, конечно, социально-экономическая среда и ее конкретное состояние. Минувшее десятилетие, как известно, в целом благоприятствовало развитию американской экономики, что позволило заметно увеличить бюджетные ассигнования на социальные программы¹⁰⁸. Пусть выплачиваемые государством «780 долл. в ме-

сяц для одинокого пенсионера и 1330 долл. в месяц для пенсионера с женой» [8, с. 239] – не такие уж большие деньги по заокеанским меркам. Но это все-таки деньги. И не просто деньги, а инвестиции в социальную и политическую стабильность.

Можно не сомневаться, что базовые константы политической системы США, о которых шла речь выше, сохраняют силу и в наступившем веке – во всяком случае в обозримом будущем. Но сохранится ли благоприятная экономическая конъюнктура? Сохранится ли выгодная для Америки международная обстановка? Вопросы открытые. Да и сама политическая система – живой организм, подверженный постоянным изменениям и стрессам. При более близком и пристальном взгляде обнаруживается, что 80-90-е годы не были такими уж безмятежными для Соединенных Штатов. Политическая система американского общества столкнулась с довольно острыми проблемами и противоречиями, часть из которых успела выйти на поверхность.

Растерянные партии, вездесущие суды

Это относится прежде всего к двухпартийной системе: «1990-е годы стали, пожалуй, самым переменчивым и непредсказуемым периодом партийно-политической истории США уходящего столетия» [8, с. 31]. Некоторые авторитетные американские аналитики высказываются еще более жестко. «...Следует признать, – утверждал в середине 90-х годов С. Липсет, – что основные политические партии выглядят до некоторой степени более уязвимыми, чем когда бы то ни было со времен Гражданской войны(!)» [12, р. 288].

В самом деле, резкие перепады между поражениями и победами на президентских и парламентских выборах на протяжении очень короткого промежутка времени; лихорадочные поиски партийными боссами идей и лозунгов, способных привлечь электорат на свою сторону; неуверенность в возможном исходе выборов – все эти и другие моменты партийно-политической жизни 90-х говорят не только о внутренней противоречивости и неустойчивости массовых настроений¹⁰⁹. Это еще и свидетельство отсутствия у республи-

¹⁰⁸ «...За 1990-е годы расходы на развитие человеческих ресурсов выросли в США с 49,4% в 1990 фин. г. до беспрецедентных за всю американскую фискальную историю новейшего времени 62%(!) к концу века» [8, с. 197].

¹⁰⁹ Как показали еще много лет назад американские социологи, степень рациональной мотивации электорального поведения никогда не была высокой в США. Если в последние два десятилетия что-то изменилось в этом отношении, то, как свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения, не в сторону повышения этой степени.

канцев и демократов собственного, имеющего, как говорил поэт, «необщее выражение» политического лица, равно как и более или менее ясного видения перспектив эволюции американского общества. Но главное – это показатель «прогрессирующего ослабления партий как регуляторов электорального поведения» [8, с. 53]. Иначе говоря, партии перестают с должной эффективностью выполнять функцию, которая в соответствии с нормами американской политической культуры всегда была для них основной или, во всяком случае, одной из основных.

Отсюда, конечно, не следует, что дни двухпартийной системы сочтены. Такая угроза для нее могла бы возникнуть лишь с появлением на политической арене третьей партии, способной соперничать на равных с республиканцами и демократами. А ее пока не видно на горизонте. В то же время есть резон предположить, что в условиях резкого роста эффективности и широкого распространения новых информационно-манипулятивных технологий¹¹⁰, обеспечивающих управление массовым сознанием и контроль над ним без помощи политических партий, последним придется не в таком уж отдаленном будущем либо пойти на радикальную структурно-функциональную перестройку, либо смириться со столь же радикальным, но неизбежным понижением их институционального статуса.

Испытанием для американских политических институтов стала процедура импичмента, начатая против президента Б. Клинтона. И хотя последний вышел в итоге сухим из воды (пусть и с подмоченной репутацией), скандал вокруг главы американской администрации говорит о многом. В том числе об уязвимости института президента и возможности возникновения в стране конституционного кризиса без достаточных на то конституционных оснований.

В этой связи встает вопрос о статусе судебной власти в США, сыгравшей далеко не последнюю роль в возникновении «зиппергейта» (как окрестила американская пресса скандал, связанный с амурными похождениями бывшего хозяина Овального кабинета).

В политической системе любого демократического государства правовые институты, и в частности суд, играют активную роль. В жизни американцев, этой, как их порой называют, нации «судебных сутяг», роль суда не просто велика – она огромна. «В США судебная власть – это подлинная власть» [8, с. 131]. Больше того, события последних десятилетий позволяют заключить, что в некоторых своих аспектах эта власть перерастает (если уже не переросла) в су-

¹¹⁰ Речь идет как о традиционных «прикладных политических технологиях» (им в книге посвящена отдельная глава), так и технологических методах, порожденных новейшими достижениями информатики.

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

первласть: «многие из наиболее важных решений в области внутренней политики страны принимались Верховным судом, а не президентом или конгрессом». И еще один примечательный штрих, на который обращают внимание авторы монографии – «в триаде «разделения властей» судебная власть не просто партнер законодательной и исполнительной власти: она выступает активным творцом политики, располагая собственными рычагами воздействия на процесс принятия политических решений двух других ветвей власти» [8, с. 133].

Это наглядно продемонстрировали и последние президентские выборы. Сказать, что главу государства выбрали судейские, было бы, конечно, сильным преувеличением. Но разве не суд стал последней инстанцией, определившей, кому будет принадлежать Белый дом в ближайшие четыре года? И разве партийная принадлежность служащих Фемиды, скрытая при решении второстепенных дел, не обернулась здесь открыто выраженной политической пристрастностью, повлияв на решение суда?

Возникают и другие вопросы: не ведет ли «вездесущность» суда к нарушению системы сдержек и противовесов, не становится ли судебная власть в Америке «более равной» (если воспользоваться формулой Дж. Оруэлла) по отношению к законодательной и исполнительной властям?

Единого мнения на сей счет нет ни у самих американцев, ни у отечественных правоведов¹¹¹. И уже эта разногласия может служить доказательством того, что сфера правовых отношений, сложившихся в США и являющихся предметом зависти для некоторых наших политиков, совсем не так совершенна и беспроblemна, как это порой выглядит из московского далека.

Однако не проблемы права дали в последние недели минувшего года пищу для дискуссий о несовершенстве американской политической системы. Предметом спора неожиданно стал механизм избрания главы государства.

¹¹¹ Одни авторы монографии подчеркивают: «Судебная власть в США... не некий всемогущий правовой монстр, вторгающийся во все закоулки общественно-политического бытия Америки. Ее воздействие на политику реализуется в определенных юридических рамках, отражающих особенности американского конституционализма, исторического развития страны и специфические черты американской государственности» [8, с. 133]. Другие авторы обращают внимание на попытки суда и иных правовых институтов поставить граждан «ниже права» (как это было, по их мнению, в случае с президентом Клинтоном). А это «представляет серьезную угрозу не только в политическом плане, но и для самих общественных устоев» [8, с. 14, 10]. «Не всякая личная обида или даже общественное зло требуют правового решения, особенно если таковое угрожает вторжением в частную жизнь и ущемлением свобод других...» [8, с. 16].

Архаизм или страховочный механизм?

«Американская демократия дала сбой», «Неуправляемая демократия» – вот некоторые из журнальных заголовков той поры, когда за океаном решался вопрос, кому быть 43-м президентом страны. Последние выборы, писал, например, журнал «Эксперт», «обнажили суть демократии как политической системы и показали пределы ее эффективности, доказав на примере страны с самой, как принято считать, свободной и организованной политической системой в мире, что демократия в том виде, как ее рисуют в учебниках, не существует» [13, с. 51]. Такого рода «умнозаклучений» можно было встретить немало в мировой прессе.

Нет, США, что бы там ни говорили и писали их критики, – страна демократическая. Однако уже много десятилетий идут споры – как среди заокеанских, так и среди европейских экспертов – о типе демократии, утвердившейся в Америке. Широко распространена точка зрения, что основополагающие политические решения в этой стране принимаются узким кругом людей. Как утверждают известные политологи Томас Дай и Хармон Зиглер, представляющие эту позицию, «Америкой правят элиты, а не массы. В век индустриального развития, науки и атома, управление в демократическом государстве, как и в авторитарном, находится в руках горстки людей. Ученые, политологи и социологи, несмотря на различия в подходе к исследованию власти в этой стране, едины во мнении, выраженном американским политологом Р.Далем, что “ключевые политические, экономические и социальные решения принимаются крошечным меньшинством”» [14, с. 33].

Дай и Зиглер говорят правду: элиты неизменно стояли за кулисами американской политической сцены. Они формировали сценарии массовых публичных политических действий (в том числе электоральных) и при этом внимательно следили за поведением масс. А в решающие моменты выходили (или не выходили) из кулис и, действуя по закону (или не по закону), добивались нужного для них результата. Это не означало, что в Америке отсутствует демократия масс. Это означало, что наряду с ней в стране существует и контролирует, а когда надо, то и корректирует ее демократия элит. Так было прежде, в век «индустриального развития».

А как обстоит дело в век «информационного общества»?

Так же, как и прежде. Именно роль и значение элитного измерения американской демократии, а вовсе не отсутствие или ущербность демократии как таковой, подтверждают последние президентские выборы. Теперь многие (и в России, и в Европе, и в самих Соединенных Штатах) говорят, что институт коллегии вы-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

борщиков был сформирован в специфических исторических условиях, что он давно устарел и должен быть ликвидирован. С точки зрения массовой демократии так оно и есть. Но массовая демократия никогда не доминировала в Соединенных Штатах, никогда не определяла законотворческий процесс и никогда не была для «отцов-основателей» идеалом и целью. На мой взгляд, близки к истине те, кто полагает, что коллегия выборщиков была если и не задумана как механизм легализации и легитимизации открытого вмешательства элит в массовый демократический электоральный процесс¹¹², то на практике оказалась именно таким механизмом. Иначе говоря, косвенные выборы президента коллегией выборщиков – это своего рода страховка от эксцессов массовой демократии, способ корректировки (в чрезвычайных ситуациях) нежелательных решений электората.

Могут возразить, что голосование выборщиков носит чисто формальный характер, ибо лишь закрепляет волю избирателей соответствующих штатов. Таков обычай. Но не более чем обычай. Ни статья II Конституции США, ни поправка XII не регламентируют поведение выборщиков и не требуют от них голосовать именно за того кандидата в президенты, который получил большинство голосов избирателей соответствующего штата¹¹³. А это значит, что в ситуации, которую элиты сочтут для себя критической, они могут, не нарушая конституцию, ввести в Белый дом политика, который не получил большинства голосов избирателей не только на федеральном уровне, но и в штатах. Иными словами, элиты обладают правом поставить во главе государства человека, который по канонам

¹¹² Как известно, «вопрос о порядке избрания главы исполнительной власти был одним из наиболее важных и трудных, с которыми имел дело Филадельфийский конвент в процессе подготовки конституции. Первоначально делегаты конвента склонялись к идее двухстепенных выборов президента конгрессом и четыре раза утверждали соответствующие предложения. Дважды отклонялись предложения о прямых выборах президента. В конечном счете был принят “компромиссный план” — косвенные выборы президента коллегией выборщиков. Причем, по мысли учредителей конституции, выборщики должны были сами, абсолютно независимо избирать президента и вице-президента» [15, с. 83–84]. Однако этот способ избрания главы исполнительной власти и его заместителя «в 1804 г. был заменен новым, закрепленным поправкой XII к конституции» [15, с. 84].

¹¹³ «Юридически он (выборщик. — Э.Б.) может голосовать свободно, но в силу сложившегося обычая он связан партийной лояльностью и страхом политического возмездия за отступничество. Случаи свободного голосования в коллегии выборщиков весьма редки, но угроза “бунта” выборщиков возможна, что вызывает серьезные опасения американских политиков. Такой “бунт” не противоречил бы конституции, поскольку запрещающей его конституционной нормы не существует» [15, с. 85].

массовой демократии и прямых выборов главы государства электоральную «гонку» проиграл. Это, разумеется, крайний случай, но законом он не исключен.

Можно не сомневаться: вопрос о механизме выборов президента США станет предметом дебатов в американском обществе на долгий срок и на самых разных уровнях. Можно не сомневаться и в том, что кое-кто из американских политиков попытается «сделать бизнес» на обсуждении этого вопроса. Однако есть большие сомнения относительно того, что мы станем в обозримом будущем свидетелями принятия XXVIII поправки к Конституции США, отменяющей институт коллегии выборщиков. Ибо, как подтвердили последние события, это совсем не такой формальный и политически безобидный институт, каким он казался многим еще совсем недавно. Это, повторю, скрытое, но в определенных ситуациях эффективное орудие власти в руках элит, от которого они не откажутся. Тем более в современных условиях, когда усиливающаяся роль виртуальной политики и дальнейшее расширение возможностей манипулирования массовым сознанием выдвигает на повестку дня новую дилемму: как, не поступаясь демократией, застраховать массовое общество от совершения им минутных политических глупостей, которые могут обернуться для страны долгосрочными политическими бедами.

Но верно и то, что сохранение института коллегии выборщиков будет означать сохранение в недрах американской политической системы мины замедленного действия, которая со временем может взорвать если и не всю политическую систему, то по меньшей мере часть ее институционально-нормативного блока.

Идеологический дефолт

Почему претенденты на президентский пост пришли к финишу почти ноздря в ноздю, так что потребовался даже юридической «фотофиниш»? Говорят, что команды обоих кандидатов направили основные усилия на завоевание электорального центра, и это заставило их придерживаться одной и той же тактики и риторики. Говорят, что ни А. Гор, ни Дж.У. Буш не одарены харизмой. Говорят, что американское общество расколото сразу по нескольким граням, и привлечь в этих условиях на свою сторону ощутимое большинство не смог бы даже Ф.Д.Р. Все это в общем правильно, хотя и в разной мере. Но была еще одна причина патовой ситуации.

В Соединенных Штатах наших дней нет массовой политической идеологии, которая бы отражала интересы, ориентации и настрое-

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

ния если не большей части электората, то каких-то крупных его массивов, и с помощью которой та или иная из борющихся партий могла бы перетянуть на свою сторону значительную часть населения.

Массовые идеологии, сложившиеся в эпоху индустриального и постиндустриального общества, устарели. Они не отвечают императивам нового времени, а значит не могут работать с прежней эффективностью. Это касается и либерализма, и консерватизма (в известных нам формах), не говоря уже о левой и правой экстремах. Идет радикальная перестройка идеологического спектра, сложившегося в США в 60-80-е годы. Причем процесс этот составляет органическую часть мирового процесса. Идеологический дефолт, разразившийся в Советском Союзе в конце 80-х годов, оказался на поверку лишь частью глобального идеологического дефолта. Конечно, либеральный дух, либеральные ценности сохраняют свои позиции в Америке и по сей день. Но либеральная идеология в тех формах, которые складывались в стране в период становления социально ответственного государства и обладали значительным политико-мобилизационным потенциалом, уже, повторю, не работает.

Новые же массовые идеологии, отражающие происшедшие в обществе изменения, пока еще не сложились. Со временем они обязательно появятся. Человек – существо не только политическое, как сказал Аристотель, но также идеологическое. Ему нужны не просто отдельные ценности (религиозные, нравственные, политические и др.), но более или менее целостные *системы идей*, которые бы выражали и защищали интересы и позиции группы, к которой он принадлежит; оправдывали ее существование; задавали основное направление и цели ее деятельности.

Сегодня трудно сказать, как будут выглядеть массовые политические идеологии эпохи Интернета, глобальной экономики и прозрачных границ. Но поскольку речь идет о целенаправленно формируемых идейно-ценностных системах, составляющих органическую часть политической системы общества и способных привлечь более или менее крупные электоральные массивы, то при всей новизне они непременно должны будут соответствовать ряду традиционных требований.

Во-первых, им придется унаследовать от старых идеологий общий либеральный этос, который, как уже отмечалось, характеризует не только собственно либеральные позиции и ценности, но и большинство составляющих национального идеологического спектра. Во-вторых, им придется интегрировать в себя в той или иной форме и степени убеждения и ценности (а возможно, и некоторые символы), кристаллизация которых происходила на протяжении последних десятилетий в рамках экологических, феминистских и

других политико-культурных движений, утративших некогда свойственный им маргинальный статус. В-третьих, они должны будут дать предметные, адекватные ответы на внутренние и внешние вызовы новой эпохи¹¹⁴.

Вступив в XXI век

Сегодня Америка сильна как никогда. А завтра, полагают многие, может стать еще сильнее. Борьба за мировое лидерство, которое она вела с Советским Союзом на протяжении десятилетий, хотя и не требовала от нее такого напряжения сил, как от конкурента, все же высасывала соки. Теперь с этим покончено. Соперник повержен, и развитие Соединенных Штатов больше не будет – по крайней мере, в обозримом будущем – отклоняться от «нормы», что обеспечит Америке чуть ли не триумфальное историческое шествие. А существующей в ней политической системе – отсутствие «возмущающих» внешних воздействий.

С подобного рода суждениями, встречающимися в последнее время не только в американских, но и в иных публикациях, трудно согласиться. Такое понятие, как «норма исторического развития» не имеет четких, общепринятых критериев. Значит, повисает в воздухе и вопрос о границах между «нормой» и «аномалией». Но главное в другом. В современном мире не найдется ни одной страны, которая не испытывала бы практически на всех этапах своей эволюции более или менее сильного, амбивалентного по своим последствиям «возмущающего» воздействия со стороны политических и экономических контрагентов. Вся новейшая история, исключившая возможность какой бы то ни было страны спрятаться от мира, есть не что иное, как история разновекторных взаимодействий и «возмущений».

Конечно, холодная война действовала разрушительным образом и на США, и на СССР, и на остальной мир. Но почему мы сводим всю гамму советско-американских отношений в послевоенные десятилетия только к холодной войне, только к конфронтации? Шло великое, глобальное по масштабу состязание двух цивилизаций, двух политических систем, двух экономических укладов, двух культур, двух образов жизни, двух социальных мифологий... Холодная война была лишь частью (но еще, конечно, и общим фоном) этого состязания, которое имело и минусы, и плюсы, и разрушительную, и созидательную стороны. Способствовало ли оно вну-

¹¹⁴ Можно уже указать на некоторые идейные и духовные предпосылки появления новых идеологий [16–17]. Но это – предмет отдельного разговора.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

тренней мобилизации Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, было ли креативным стимулом для великих держав? Думаю, да. И не только в военно-технической, но и в социальной сфере, равно как и в области науки, образования, культуры. Так что при всех неизбежных потерях, вызванных собственно холодной войной, соревнование двух держав, двух систем, двух лагерей во все не было игрой с нулевой суммой. Больше того, многоаспектное взаимодействие (частью которого было противодействие Советского союза и Соединенных Штатов) служило глобальной силовой «осью», удерживавшей мир в рамках сложившегося после Второй мировой войны порядка.

А как пойдет развитие Америки в условиях, когда прежний миропорядок уже разрушен, а новый – *еще не сложился*? Справится ли политическая система США с «вызовами» XXI века? Практически все крупные заокеанские политические аналитики преисполнены оптимизма на сей счет. Это и Бжезинский, и Хантингтон, и Фукуяма, и Липсет, и многие представители молодой поросли политологов. По мнению того же Бжезинского, Соединенные Штаты «будут оставаться в течение определенного времени исправно работающей социальной и политической системой, равно как и единственной супердержавой на земном шаре» [18, р. 38]. Оптимистичен и Липсет, причем гарантию стабильности политической системы он видит не столько даже в деятельности социально-политических институтов, сколько в состоянии общественного сознания: «Американская политическая система, хотя она и не пользуется большим доверием и неэффективна в решении крупных социальных проблем, явно вне опасности. Большинство американцев остаются большими патриотами и религиозно настроенными людьми, они верят, что живут в лучшем обществе на земле и полагают, что их страна и экономика, несмотря на все проблемы, по-прежнему открывают перед ними широкие возможности и обеспечивают их экономическую безопасность» [12, р. 287–288]¹¹⁵.

Конечно, американская политическая система не застрахована не только от функциональных сбоев, но и от структурных разломов. Можно назвать по меньшей мере три сферы общественной жизни, ход процессов в рамках которых способен вызвать серьезный кризис в США, затронув при этом и их политическую систему.

Это, во-первых, сфера *расово-этнических отношений*, в которой гнездится самая, на мой взгляд, больная и неизбывная проблема североамериканской республики. «Культурные войны», сотрясающие общество вот уже на протяжении десяти с лишним лет

¹¹⁵ Свой оптимистический прогноз С.Липсет подтвердил совсем недавно [19].

[20–22], убедительно говорят о том, что сколь бы исправно ни работал пресловутый «плавильный котел», расово-этническая проблема остается и – что существенно – будет и дальше оставаться болью Америки. Прочно, казалось бы, интегрированные в общество расовые и этнические меньшинства требуют культурной автономии. Расширяются расово-этнические анклавов. Медленно, но неуклонно идет «почернение» и «пожелтение» некогда «лилейно белой» (как казалось самим белым) Америки¹¹⁶. И это не просто разрозненные, частные факты. Это, судя по событиям последнего десятилетия, устойчивая тенденция, которая в отдаленной перспективе может стать одной из линий надлома или даже разлома американской политической системы.

Отнюдь не беспроблемной для Соединенных Штатов остается сфера *международных политических отношений*. Иллюзия возможности создания «однополюсного»¹¹⁷ «Пакс американа» (как превращенная форма изжившей себя иллюзии наступления предсказанного Гегелем «конца истории») может дорого обойтись американцам. Диктуемые мессианистскими амбициями попытки в одностороннем порядке руководить миром, подчинить глобальный миропорядок эгоистически толкуемым национальным интересам одной страны, приведут в итоге не к созданию «Пакс американа»¹¹⁸, а к пустой трате сил нации и росту международной напряженности, главной жертвой которой могут, как ни парадоксально, оказаться сами Соединенные Штаты.

¹¹⁶ Авторы монографии справедливо отмечают «непредсказуемые последствия происходящего замедления ассимиляционного процесса» и фиксируемый в последние годы американскими исследователями «сегментарный характер ассимиляции расово-этнических иммигрантских групп, когда иммигранты вливаются не в общее национальное русло, а в родственные им принимающие группы с их специфической субкультурой, значительно отличающейся в своих жизненных ориентациях от общенационального стандарта» [8, с. 278]. Что касается соотношения белого и небелого населения США, то вот только одна цифра: в 1920 г. оно составляло соответственно 89,7 и 10,3%, а в 1998 г. – уже 73 и 27% [8, с. 277]. Нетрудно представить себе, как будет выглядеть это соотношение через 20–30 лет, и к каким последствиям – прежде всего политическим – это может привести.

¹¹⁷ Автор считает лишенным смысла такое понятие, как «однополюсный мир». См. статью «Новая эпоха – новый мир» в настоящем сборнике.

¹¹⁸ Мы находимся, писал еще десять лет назад видный американский исследователь Иммануил Валлерстайн, «в конце эры гегемонии Соединенных Штатов в мировой системе. Хотя многие комментаторы провозгласили 1989 год началом “Пакс американа”... он, напротив, означает конец “Пакс американа”. Годы холодной войны – вот когда существовал “Пакс американа”. Ныне холодная война ушла в прошлое, а вместе с ее уходом пришел конец и “Пакс американа”» [23, р. 159].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

Серьезными потенциальными кризисами чреваты последствия *глобализации* как процесса «разрушения административных барьеров между странами, планетарного объединения региональных финансовых рынков, приобретения финансовыми потоками, конкуренцией, информацией и технологиями всеобщего, мирового характера». При этом, что существенно, идет «формирование единого в масштабах всего мира не просто финансового или информационного рынка, но финансово-информационного пространства, в котором во все большей степени осуществляется не только коммерческая, но и вся деятельность человечества как таковая» [24, с. 133–134].

Глобализация сближает страны и народы. Но одновременно она отдаляет их друг от друга, локализуя в разных точках вертикали развития. Сжимая мир в пространстве и времени, связывая членов планетарного сообщества отношениями взаимозависимости, в том числе финансовой, она вместе с тем делает мир более хрупким, уязвимым, зависимым от случайных сбоях в тех или иных «ячейках мировой сети». При этом потенциально наиболее уязвимыми оказываются как раз те страны, которые дальше других продвинулись по пути глобализации. Соединенные Штаты – именно такая страна¹¹⁹.

Можно было бы назвать и другие болевые точки Америки, другие «вызовы», с которыми могут столкнуться Соединенные Штаты и которые способны стимулировать кризисные процессы в американской политической системе. Но это – не более чем возможная перспектива. А пока, проектируя наши отношения с Америкой на ближайшее будущее, мы обязаны исходить из презумпции, что в этой стране существует политическая система, обладающая общей стабильностью, достаточно высокой степенью эффективности и солидным запасом прочности.

Пять заметок на полях

Как могли бы строиться эти отношения в обозримой перспективе? Позволю себе высказать сугубо частные соображения на сей счет.

Первое. Отношения с Соединенными Штатами, при всей их значимости для России, не следовало бы вырывать из общей системы наших внешнеполитических отношений (как это было с конца 80-х годов), выпячивать и рассматривать априори как приоритетные и определяющие отношения с другими странами. Возможно,

¹¹⁹ «...США уже перешагнули порог, отличающий “информационное” общество от традиционного, “индустриального”, а остальные развитые страны, по-видимому, еще только собираются сделать это» [24, с. 130].

они и станут на каком-то этапе таковыми, но для этого должны появиться конкретные практические предпосылки.

Второе. Желательно как можно скорее забыть о «прогулках при луне» с Америкой в начале 90-х и перестать лелеять романтические иллюзии о «равноправном партнерстве». Отношения с США не должны, на мой взгляд, строиться в соответствии с какой-то априорной, абстрактной моделью («союзничество», «партнерство» и т.п.). Тип этих отношений должен быть гибким и диктоваться нашими национальными интересами, конъюнктурой, возможностями и готовностью партнера принять определенные правила игры.

Третье. В новых отношениях с США желательно с самого начала настроиться на трезвый, деловой, рискну сказать торгашеский, лад. США – наш постоянный деловой партнер и конкурент на мировом политическом рынке. А будет ли партнерство равноправным и окажутся ли заключаемые сделки взаимовыгодными – покажет рынок. И наше умение торговать и торговаться.

Четвертое. Отношения с США следовало бы строить на инициативной основе. Не надо ждать, пока Кондолиза Райс предложит нам свой политический «прайс-лист». Определив для себя, чего мы хотели бы и могли бы добиться от Америки в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах, мы должны сами предлагать определенные планы и модели. Не надо бояться действовать методом проб и ошибок, хотя, разумеется, не следует предпринимать шаги и действия, которые могут быть сочтены как провоцирующие.

И последнее. И в отношениях со всем Западом, и прежде всего в отношениях с США нам следует проявлять максимальную собранность, сдержанность, не расслабляясь даже в случае успеха. Хотя Россия и входит на равных с развитыми странами правах в разного рода международные политические клубы, объединения и организации, мы еще долго будем вызывать настороженно-критическое отношение со стороны так называемого цивилизованного мира. Нам не будут прощать даже малейших промахов, при подходящем случае публично щелкая по носу не только отдельных чиновников, но вместе с ними и всю страну. Нам надо научиться отвечать на такие щелчки. Но лучше не допускать их вовсе.

США – страна со стабильной и прочной политической системой. Россия свою новую политическую систему еще только выстраивает. В век глобализации тип, структура и прочие параметры этой системы будут в немалой степени зависеть от международного контекста, в котором происходит ее становление, от эффективности нашей внешней политики. В том числе и от отношений с Соединенными Штатами в наступившем столетии.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

1. Easton D. The Political System: An Inquiry into the State of Political Science. N.Y., 1953.
2. Almond G., Powell G. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston, 1966.
3. Основы теории политической системы / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.Е. Чиркин. М., 1985.
4. Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клинге-манна. М., 1999.
5. Политические системы современности /Под ред. Ф.М. Бурлацкого. М., 1978.
6. Ильинский И.П. и др. Политическая система современного капитализма. М., 1983.
7. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. М., 2000.
8. Политическая система США. Актуальные измерения / Отв. ред. С. Червонная, В. Васильев. Авторский коллектив В. Васильев, В. Власихин, Н. Долгополова и др. М., 2000.
9. Современное политическое сознание в США / Отв. ред. Ю. Замошкин, Э. Баталов. М., 1980.
10. Зубок Л.И., Яковлев Н.И. Новейшая история США. М., 1972.
11. Burns J., Peltason J., Cronin Th. Government by People. Englewood Cliffs, 1981.
12. Lipset S. American Exceptionalism. A Double-Edged Sword. N.Y.; L., 1996.
13. Эксперт. 2000. № 43.
14. Дай Т., Зиглер Х. Демократия для элиты. М., 1984.
15. Мишин А., Власихин В. Конституция США: Политико-правовой комментарий. М., 1985.
16. Fukuyama F. How to Re-Moralize America // Wilsonean Quarterly. Summer 1999.
17. Gallup G., Jones T. The Next American Spirituality. Princeton, 2000.
18. The National Prospect. A Symposium // Commentary, Nov. 1995.
19. Lipset S. Still the Exceptional Nation? // Wilsonean Quarterly. Winter 2000.
20. Gitlin T. The Twilight of Common Dreams. Why America is Wracked by Culture Wars. N.Y., 1995.
21. Hollinger D. Postethnic America: Beyond Multiculturalism. N.Y., 1995.
22. Multiculturalism and American Democracy / Ed. by A.M. Melzer, J. Weinberger, M.R. Zinman. Kansas, 1998.
23. Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge, 1991.
24. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи / Под ред. М. Делягина. М., 2000.

Америка: страсти по империи*

«Существует ли Американская империя? Вопрос, который странно слышать от американцев. И тем не менее они, особенно после блестящей победы Соединенных Штатов в Афганистане, говорят об этом все чаще и чаще – и не только по случаю. Другие понятия – “супердержава”, “гегемон”, “гипердержава” – кажутся неадекватными для описания нынешней позиции Америки. Так, может, “империя” и есть то самое понятие?» [1, р. 35]. Такими вот словами солидный американский журнал «Вилсоневан кутерли» предварил публикацию материалов дискуссии об «Американской империи», проведенной им весной 2002 года.

В самом деле, «Американская империя» стала в США в последние два-три года темой не то чтобы повседневных, но, в общем, обычных обсуждений – и не только на страницах академических изданий. По словам профессора Бостонского университета, автора книги «Американская империя: реальности и ответственность дипломатии Соединенных Штатов» Эндрю Бацевича, «в ведущих изданиях, выражающих общественное мнение, таких, как “Нью-Йорк таймс” и “Вашингтон пост”, стало чем-то респектабельным рассматривать Америку как страну – председателя глобальной империи» [2, р. 50]. Тема «Американской империи» обсуждается, порой весьма лихо, и другими заокеанскими газетами. О журналах и говорить нечего, в том числе о таких всемирно известных изданиях, как «Форин афферс» и «Нэшнал интерес» (это на его страницах в 1989 году была напечатана напугавшая статья Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории?») ¹²⁰.

Впрочем, американцы не оригинальны: интерес к проблематике империи проявляют в последние годы и в других странах. «...Империи или, по крайней мере, их история снова в моде, – утверждает Маргарет Макмиллан, профессор университета Торонто. – Недавно в книжном магазине я насчитала четыре пухлых тома, посвященных истории Британской империи, и все они опубликованы в последние десять лет» [3, р. 12]. Что же касается американцев, то все, кто знаком с историей становления и развития США, подтвердят: ничего странного и неожиданного в том, что мы наблюдаем сегодня, нет.

Американские отцы-основатели и их современники любили сравнивать молодую республику с империей. В первом же выпуске

* Свободная мысль-XXI. 2003. № 12. С. 9–28.

¹²⁰ Справедливости ради следует сказать, что трибуну в этих журналах получают как сторонники идеи «Американской империи», так и ее противники.

«Федералиста» от 27 октября 1787 года, подписанном Александром Гамильтоном, читаем: «Речь идет (автор пишет о новой конституции для Соединенных Штатов Америки – Э Б.) не более и не менее как о существовании Союза, безопасности и благополучии входящих в него частей, о судьбе во многих отношениях самой интересной в мире империи» [4, с. 29]. Об «основании империи» в Америке писал Джордж Вашингтон в знаменитом «циркулярном письме» от 1783 года [5, р. 256]. Об американской империи говорил и Томас Джефферсон, добавляя, впрочем, к сказанному, что Соединенные Штаты будут «империей разума». И это многое объясняет.

Архитекторы американского государства вовсе не намекали на стремление обзавестись колониями и стать второй Британской империей, а говорили о решимости обрести национальное величие, воплотив на практике замысел Всевышнего об Америке как новом Израиле, *стать для остального мира маяком, центром притяжения, вокруг которого объединились бы другие народы.*

Любопытно, что в обоснование закономерного характера обретения Америкой имперского статуса выдвигался, в частности, тезис об исторической смене одних империй другими и их миграции из одного региона мира в другой: когда-то был Рим, потом – Британия, были другие империи, теперь наступил черед Америки. Как говорил в 1784 году преподобный Томас Броквэй, «империя, образование и религия продвигались в минувшие века с Востока на Запад, и этот континент есть их последнее пристанище. Так что именно здесь Господь воздвигает сцену для демонстрации великих дел своего царства» [6, р. 23]. И хотя основатели американского государства всегда с нескрываемой завистью, а похоже, и ревностью поглядывали на Рим¹²¹ и пытались в чем-то копировать его, они мечтали об Америке как *новой, демократической империи*, коей уготована уникальная судьба. Как писал много лет спустя Дэниел Белл, «становясь мировой державой, верховной державой, гегемонистской державой, Соединенные Штаты будут в силу своего демократизма отличаться в использовании своей власти от предшествующих мировых империй» [8, р. 197].

Представить это было тем легче, что и в XVIII, и в XIX веках слово «империя» еще не успело обрасти негативными коннотациями. Британская империя, Российская империя, другие современ-

¹²¹ «Американские республиканцы XVIII века, создавая новую нацию, обратились в поисках символики к величайшей из известных им республик – Риму. Верхнюю палату конгресса они назвали Сенатом. Ведомые Джефферсоном – человеком с богатым воображением, они использовали формы римской архитектуры при строительстве первого национального Капитолия и Белого дома» [7, р. 95–96].

ные или предшествовавшие им империи рассматривались как нормальные, естественные государственные образования, отвечавшие потребностям времени и являвшие рациональную форму организации международных отношений. Только в XX веке, когда стали рушиться империи и само это слово прочно срослось со словом «империализм», ассоциировавшимся (прежде всего благодаря левым силам) с имперской политикой насилия в отношении колоний и зависимых территорий, – только тогда слово «империя» стало восприниматься как нечто негативное, разрушительное и архаичное. Так что, когда в 1902 году появилась книга Брукса Адамса «Новая империя» [9], в которой он предрекал появление в лице Америки принципиально новой, невиданной империи, общественность не усмотрела в этом ничего вызывающего и оскорбительного по отношению к другим странам.

В годы «холодной войны» Америка была для ее критиков – прежде всего, конечно, советских – не чем иным, как «империей» (теперь это слово имело однозначно негативный оттенок), а ее внешняя политика – «империалистической». (Американцы, разумеется, не оставались в долгу, понося «советскую империю» – «империю зла», как скажет позднее Рональд Рейган, – и «советский империализм».) Что же касается самих американцев и их друзей, то Соединенные Штаты воспринимались ими не только как одна из двух супердержав и самая экономически развитая страна, но и как «лидер свободного мира», «маяк демократии», «оплот либерализма»...

Впрочем, об «Американской империи» писали и в Западной Европе¹²², а порой и в самой Америке¹²³, но делалось это не так часто и со множеством оговорок, так что Соединенные Штаты выступали на страницах этих сочинений если и не в розовом, то уж никак не в мрачном свете. Ситуация начала меняться с конца минувшего века, когда в средствах массовой информации, а потом и на страницах академических изданий, все чаще стали проводить параллели между нынешними Соединенными Штатами и империями прошлого – Римской, Британской и даже Османской. Причем делали

¹²² В 1973 году Раймон Арон опубликовал книгу об Америке, название которой говорит само за себя: «Имперская республика». Но, возможно, самой оригинальной (и нравящейся американцам) стала идентификация США как «империи по приглашению» (empire by invitation), предложенная норвежским историком Гейром Лундстадом.

¹²³ В 1968 году появилась работа Роберта Такера «Нация или империя?», в которой Соединенным Штатам имперский статус приписывался на том основании, что они, по мнению Такера, сыграли исключительную, обычно присущую империям роль в институциональном оформлении мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

это не только скользившие по поверхности публицисты, но и серьезные аналитики вроде Генри Киссинджера, который за несколько месяцев до «черного вторника» утверждал, что «на заре нового тысячелетия Соединенные Штаты наслаждаются (!) превосходством, не сравнимым с тем, какое имели величайшие империи прошлого», а в некоторых районах мира (в первую очередь на Балканах) «выполняют, по сути, те же функции, что Австрийская и Османская империи на рубеже прошлого столетия» [10, р. 9].

Тема империи вошла в моду, конечно же, не случайно. Распад ялтинско-потсдамского миропорядка породил потребность в национально-политической само-ре-идентификации не только у России, бывших советских республик, стран Центральной и Восточной Европы. Изменился весь мир, вся его системная структура. А значит, перед всеми странами раньше или позже должна была встать проблема (последний раз такое случилось во второй половине 40-х – начале 50-х годов XX века) определения своей новой идентичности, переосмысления своего международного статуса, поиска своей новой роли и функций в изменившемся мире.

Возникла такая потребность и у Америки, тем более что ставшие популярными понятия «единственная супердержава» и «гипердержава», в сущности, пусты. В отличие от того же понятия «империя», перенасыщенного смыслами, они не содержат качественных характеристик субъекта – структурных или функциональных. Вот и начались поиски концепта, который бы отражал истинную политическую идентичность современных США. Кое-кому «империя» показалась, говоря словами журнала «Вилсоннеан квоу-терли», «тем самым понятием».

И это объяснимо – как психологически, так и политически. Американцы – нация молодая, самолюбивая (чтобы не сказать «самовлюбленная»). Им льстит сам факт сравнения Соединенных Штатов с великими империями прошлого – особенно Римской и Британской, даже если они понимают, что сравнение хромает. Так мускулистый подросток испытывает чувство гордости, когда его уподобляют чтимым им героям, даже если у него хватает ума понять, что сам он – не Геракл.

Публичное оскорбление, нанесенное международным терроризмом «первой державе мира» на глазах миллиардов землян 11 сентября 2001 года, заставило США не только скорректировать свои внешнеполитические приоритеты, но и попытаться утвердить – в том числе на символическом уровне – в собственном и чужом мнении авторитет Америки как мощной державы, шутки с которой плохи. Это стремление еще больше утвердилось после афганского блиц-крига, в котором США наглядно продемонстрировали миру свой во-

енно-технический потенциал. Общество испытывало потребность – возможно, не вполне осознавая это – в *историческом аналоге*, отождествление с которым не просто возвышало бы Соединенные Штаты над другими странами-современниками, но ставило их в один ряд с величайшими государствами, когда-либо существовавшими на земле. Лучшего аналога, чем «империя», тут было не найти.

Любопытное обстоятельство: в восприятии американцами самого феномена империи¹²⁴, равно как и в оценке существовавших в мире имперских структур, все чаще проглядывают некоторые, пусть и не радикальные, перемены. В имперских структурах (прежде всего в таких многонациональных империях древности, как Рим, Персия, Египет эпохи Птолемеев) заокеанские авторы обнаруживают привлекательные черты. По словам Майкла Уолцера – одного из крупнейших представителей либеральной академической общины, автора интересного исследования, посвященного толерантности, «исторически имперское владычество является наиболее удачным путем опосредования различий и облегчения (точнее, насаждения) мирного сосуществования». Правда, в империях господствовала автократия. «Но устоявшееся имперское правление зачастую характеризуется толерантностью – именно благодаря тому, что оно насквозь является автократичным (не связанным с интересами или предрасудками какой-либо из покоренных групп и равноудаленным ото всех них)» [11, с. 30]. «Различия в культуре и образе жизни, – вторят Уолцеру Дэвид Блэйни и Наэм Инаятулла, – могут оставаться меньшей проблемой в век империи, где главенствует принцип иерархии» [12, р.30]. Привлекает американцев в империях и такая черта, как высокая степень безопасности метрополии, ее защищенность (по крайней мере в период ее могущества) от нападения извне.

Конечно, далеко не все американские авторы (и уж тем более такие либералы, как Уолцер), находящие в империи выигрышные черты, являются апологетами имперского правления как такового, не говоря уже об идее закрепления за Соединенными Штатами имперского статуса. Империи прошлого положительно оцениваются ими преимущественно в тех аспектах общественной жизни, которые выглядят проблемными как в самой Америке, так и в мире в

¹²⁴ Серьезный, хотя и весьма спорный в теоретико-методологическом, как, впрочем, и в политическом плане, анализ феномена современной империи мы находим пока лишь в одной работе. Это опубликованная в 2000 году издательством Гарвардского университета монография американца Майкла Хардта и итальянца Антонио Негри «Империя» [14]. Мы не касаемся этой работы, выполненной в постмодернистском ключе, поскольку она не имеет прямого отношения к рассматриваемой в статье проблеме.

целом. И все же в последние два-три года мы все чаще слышим о том, что установить в мире новый политический и экономический порядок, который связал бы по рукам и ногам тех, кто хочет дезорганизовать международную жизнь, и позволил искоренить новое зло в лице глобального терроризма, можно только на основе имперских принципов. Вот и предлагается Америке (больше никому!) выступить в роли имперского государства и, отбросив все сомнения, твердой рукой навести в мире порядок. Ибо, убеждены сторонники этой точки зрения (С. Моллаби, Н. Фергюсон, М. Бут и другие), более мягкими средствами обрушившиеся на мир проблемы не разрешить. Иными словами, чтобы идти вперед, человечеству предлагается вернуться назад, прежде всего к опыту Британской империи.

Естественно, что и эти предложения, и вопрос о реальном международном политическом статусе США и их поведении на мировой арене вызывают горячие споры – в первую очередь в самой Америке. Споры эти сосредоточены вокруг двух главных вопросов: является или не является она империей и какой внешнеполитической стратегии следует придерживаться Соединенным Штатам в начале XXI века?

«Америка – не империя»

Большинство современных американцев, включая политиков, политических аналитиков, работающих в исследовательских центрах, и журналистов, никогда не считали Америку имперским (империалистическим) государством и отвергали утверждения о ее стремлении стать таковым. Не изменили они этой позиции и сегодня. Для них слово «империя» по-прежнему сопряжено с негативными коннотациями, многие из них еще помнят, как в годы «холодной войны» Америка клеймила «советскую империю».

Само собой разумеется, что этой позиции придерживается и официальный Вашингтон, в чем-то продолжающий соблюдать «политическую корректность». «Когда [корреспондент] “Аль-Джазиры” спросил 28 апреля министра обороны Дональда Рамсфельда, – писала газета «Ю-эс-эй тудей», – не занимаются ли Соединенные Штаты “строительством империи”, министр отреагировал так, будто у него спросили, не носит ли он под костюмом женское белье. “Мы не стремимся стать империей, – ответил он раздраженно. – Мы не империалисты. И никогда ими не были”» [13].

Такова же позиция и большинства американских либералов из демократического лагеря. Как неоднократно заявлял близкий к администрации Клинтона американский международник Лоуренс

Саммерс, Соединенные Штаты – «единственная в истории неимпериалистическая супердержава».

Саммерс, конечно же, кривит душой либо придерживается какого-то особенного взгляда на институт империи. Ибо ни для кого не секрет, что в истории Соединенных Штатов были периоды, когда они не только публично декларировали свои имперские амбиции, но и пытались осуществить их на практике, проводя типичную для империй колониальную политику¹²⁵. Это признают и те, кто отрицает имперские статус и устремленность нынешней Америки. Правда, они тут же добавляют, что это дело далекого прошлого и имперская политика, когда она имела место, встречала сопротивление со стороны значительной части американского общества, включая часть политического истеблишмента¹²⁶.

Понятно, что люди, отрицающие имперский статус Америки,

¹²⁵ Во взглядах американцев на «имперское строительство» были свои особенности, обусловленные спецификой доминировавшей в стране либеральной политической культуры. Нельзя сказать, что янки всегда претила идея создания некоего подобия классических империй: закрытых, включающих ограниченное число государств и т. п. Когда в борьбе двух тенденций, ставших со временем традициями, — изоляционистской и «интернационалистской» (необходимо переделать этот порочный мир) — верх одерживала первая, американцы готовы были пойти и на создание империи традиционного типа. Но идеал, исповедовавшийся «интернационалистами», был иным: открытая система, охватывающая если не весь мир, то значительную его часть; построенная на базовых ценностях, близких уму и сердцу американцев; базирующаяся на принципах свободного предпринимательства, свободной торговли и свободного перемещения капиталов; гарантирующая безопасность Соединенных Штатов; обеспечивающая их превосходство и лидерство (желательно легитимизированное), но при этом сохраняющая за ними свободу рук и снимающая постоянную ответственность за положение дел в той или иной части мира. Когда Вудро Вильсон выступал с идеей создания Лиги Наций, а Франклин Рузвельт — с идеей создания ООН, оба они ориентировались (в качестве идеала) на модель, близкую к описанной.

¹²⁶ Своего рода «краткую историю» имперской политики США изложил в одной из своих давних статей Дэниел Белл: «В 1898–1899 годах Соединенные Штаты неожиданно стали колониальной державой. Они аннексировали Гавайские острова. Нанеся поражение Испании, они захватили Пуэрто-Рико и Филиппины. Они овладели Гуамом и частью Самоа и, не встретив препятствий в датском риксдаге, купили бы еще и Виргинские острова. За каких-то восемнадцать месяцев они превратились в главу империй (master of empires) на Карибах и Тихом океане.

Хотя эти акции поначалу приветствовались религиозной прессой (как выполнение Америкой своего христианского долга) и одобрялись деловым сообществом, в течение года в американском общественном мнении и политике произошел поворот чуть ли не на сто восемьдесят градусов. Кубе была предоставлена независимость. Первоначально существовавшие планы аннексии Гаити и Санто Доминго были

руководствуются разными мотивами и выставляют в защиту своих позиций разные аргументы. Это прежде всего *политические аргументы*, основной тезис которых прост: если до Второй мировой войны в политике Соединенных Штатов имели место «империалистические эпизоды»¹²⁷, то внешнеполитическое поведение США на протяжении послевоенных десятилетий не дает оснований именовать Америку «империей» и обвинять ее в «империализме». Да, оккупация Германии и Японии – исторический факт. Но она была непродолжительной и благотворной для этих стран, позволив им не только подняться на ноги, но и построить процветающее общество. Америка помогала им, как и всей Западной Европе, а не тянула из них соки, как Советский Союз из своих восточноевропейских «сателлитов»¹²⁸. Да, были Корея и Вьетнам. Но Америка не ставила целью превратить их в свои колонии, а защищала свободный мир на

отброшены. А попытки арендовать [территории] в Китае прекращены. Как замечает Эрнст Р. Мэй, ... “после 1900 года едва ли можно было отыскать конгрессмена или редактора газеты, который бы подал голос в защиту дальнейшего роста колоний. Империализм как течение в американском общественном мнении оказался мертв”» [8, с. 200–201]. Любопытны рассуждения Белла о причинах «антиколониального консенсуса», сложившегося в американском обществе к концу XIX века. Первую из них он видит в либеральной идеологии, постулаты которой разделяло большинство лидеров общественного мнения того времени. «Либерализм определенно лежал в основе нападок на империализм. В классическом либерализме релевантной социальной единицей было “общество”, не “государство”. А империализм был по сути своей продолжением меркантилистской политики, направленной на усиление мощи государства. И меркантилизм, и империализм, используя государство в целях монополизации торговли, вмешивались в “естественные” экономические процессы» [8, р. 201]. По мнению же либералов, богатство должно было возрастать посредством свободной торговли, в которой преимущества получал более умелый, предприимчивый и т. п. Другой причиной выступления против империализма был, по мнению Белла, собственный опыт американцев, которые в прошлом сами находились под властью британской короны и знали цену свободе. А те, кто поддерживал идею «явного предначертания», считали, что она определяла политический курс лишь в пределах континента. Впрочем, Белл не отрицает, что дискуссия о колониализме конца XX века выявила наличие в американском обществе и «откровенных империалистов» в лице Брукса Адамса и адмирала Мэхэна.

¹²⁷ Как пишет Майкл Линд, в прошлом в политике США имел место «ограниченный и случайный стратегический империализм», но он сдерживался республиканскими институтами и был направлен не на аннексию чужих территорий, а на предотвращение создания «автаркических империй» Японией и европейскими державами [15, с. 65].

¹²⁸ Параллели с «советским блоком» — один из самых ходовых приемов, используемых представителями этой группы. Вот там, за «железным занавесом», говорят они, осуществлялось экономическое и политическое подавление стран. Были Венгрия 1956 года, Чехословакия 1968-го. А в западном «альянсе» ничего подобного не было.

дальних подступах. «Войны по доверенности (proxy wars), которые Америка вела в Корее, Индокитае и других странах, лишенных существенной экономической ценности, были частью кампании, направленной на пресечение попыток Советов установить глобальную военную и дипломатическую гегемонию» [15, р. 66].

Апологетический характер подобной аргументации (а она типична для представителей данной позиции), построенной на весьма вольном истолковании послевоенной истории, очевиден и комментариев не требует. В то же время нельзя не отметить, что в этом подходе присутствует «старомодная» либеральная стыдливость, когда откровенная проповедь империалистической политики считалась неприличной, если не аморальной. Есть ли это фарисейство, как утверждают сторонники имперского ренессанса, – большой вопрос. Но одно очевидно: присущего последним цинизма там нет.

Вторая группа защитников тезиса о неимперском характере Америки отличается от первой чисто декларативным характером линии защиты. Собственно говоря, никакой линии у них нет: все сводится к заявлениям типа «Америка – свободная страна, и она умеет уважать свободу других», «Соединенные Штаты – демократическая республика, а демократическим республикам чужды имперские устремления» и т. д. и т. п. Налицо своеобразная презумпция невинности: пусть те, кто считает Соединенные Штаты имперским государством, доказывают это с фактами в руках, а тем, кто не согласен с этим тезисом, доказывать, мол, нечего. Вообще надо заметить, что в политических дискуссиях, подобных той, о которой идет речь, мало кто из участников считает нужным четко обозначить смыслы используемых ими понятий (подчас далеко неоднозначных, что в полной мере относится к таким понятиям, как «империя» и «империализм»). Но такие люди все-таки есть, и они представлены третьей группой участников дискуссии. Крупный юрист-международник Майкл Гленнон резонно замечает, «что если подходить к вопросу строго исторически, то все разговоры об империи лишены оснований. Соединенные Штаты – не империя. И трудно представить себе, чтобы они могли стать таковой». «Термин «империя» подразумевает нечто большее, нежели простое культурное доминирование или превосходящую военную мощь. Империями называют государства, которые используют силу для оккупации группы других государств или регионов и контроля над ними. Покоренные государства, лишенные автономии и политической независимости, становятся колониями, провинциями или территориями, на которые распространяется власть империи. С них взимаются налоги, им навязываются законы, они поставляют солдат, им назначаются правители – и все без согласия подчиненного государства. Внешняя политика, вклю-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

чая все военные союзы, торговые отношения и дипломатические отношения – все это диктуется имперской столицей» [16, р. 70].

Гленнон приводит далеко не все родовые признаки империи, но и того, что он называет, достаточно, чтобы прийти к однозначному выводу: современная Америка как государство далека от классических империй – античных и современных, если, конечно, не отождествлять империю – в духе обыденного сознания – просто с сильным, распростертым на обширной территории, мощным, напористым, агрессивным государством.

Стоит заметить, что отрицание имперского статуса Америки вовсе не предполагает одобрения внешнеполитической стратегии США или отрицания их гегемонистского курса¹²⁹, точно так же, как наличие имперского качества у того или иного государства еще не гарантирует его безопасности и способности эффективно справляться со всеми внутренними, а тем более мировыми проблемами, с которыми сталкивает его жизнь.

«Америка – это империя»

О том, что современные Соединенные Штаты Америки – имперская держава, проводящая империалистическую внешнюю политику, в годы «холодной войны» говорили (в самой Америке) только левые: коммунисты, новые левые, представители левого крыла академической общины вроде Ноама Хомского или Говарда Зинна. Говорили, разумеется, с осуждением. Представители истеблишмента либо вообще не высказывались на сей счет, либо отвергали утверждения левых как безосновательные.

Ныне ситуация изменилась. Позиции левых остались прежними. А вот истеблишмент раскололся. Большинство по-прежнему придерживается мнения, что США – никакая не империя и становиться таковой не собираются. Но есть и другие мнения, приверженцев которых можно условно разделить на две группы.

Представители одной из них – она не так уж и многочисленна,

¹²⁹ Это легко проследить на позиции некоторых левых либералов, которые резко критикуют внешнеполитическую стратегию и тактику нынешней администрации, но при этом полагают, что Америка, слава богу, еще не докатилась до положения империи, и есть надежда, что этого не произойдет и в дальнейшем. «Империя – это нечто большее, чем внешняя политика, это еще и форма правления, и. американские граждане, – иронизирует известный политический аналитик Джонатан Шелл, – вправе были бы спросить, когда же это случилось, что Соединенные Штаты, будучи формально республикой, превратились в империю» [17, р. 7].

но очень активна в пропагандистском плане и имеет доступ в коридоры власти, – утверждают: *Америка наших дней является империей (глобальной империей, добавляют некоторые) в прямом смысле этого слова.* Так, например, ставит вопрос Роберт Каплан, популярный и влиятельный политический комментатор, на языке у которого, как говорят иные американцы, то, что у нынешнего Белого дома на уме: «Стало просто банальным говорить о том, что Соединенные Штаты владеют ныне глобальной империей – отличающейся от Британской и Римской, но тем не менее империей» [18, р. 66]. И это, настаивают сторонники рассматриваемой позиции, хорошо как для Америки, так и для стран, дорожащих идеалами свободы и демократии, потому что цель власти, которую стремятся установить в мире Соединенные Штаты, – «не власть сама по себе»: они ставят перед собой «фундаментально либеральную задачу утвердить основные черты, присущие правильному миру. Эти черты включают базовую политическую стабильность; идею свободы, понимаемую прагматически; уважение к собственности; экономическую свободу и представительное правление, истолковываемое цивилизованным образом. Сегодня именно Америка и только Америка способна выступить в роли силы, которая может послужить делу распространения либерального гражданского общества во всемирном масштабе» [18, р. 68–69].

К числу защитников, и не просто защитников, а наиболее последовательных и рьяных проводников идеи «Американской империи», относится ведущий сотрудник Совета по внешним сношениям, автор недавно опубликованной книги «Жестокие войны за мир: малые войны и рост американской силы» Макс Бут, упорно проводящий простую идею: Америка – империя и является таковой на протяжении более двухсот лет. «Соединенные Штаты – империя по меньшей мере с 1803 года, когда Томас Джефферсон купил Луизиану. На протяжении XIX века “империя свободы”, как называл ее Джефферсон, протянулась через весь континент. Когда власть США распространилась от “моря до сияющего моря”, американская империя двинулась за границу и захватила колонии, простирающиеся от Пуэрто Рико и Филиппин до Гавайских островов и Аляски» [19].

После Второй мировой войны, продолжает Бут, «формальные империи по большей части исчезли», но Соединенные Штаты сделали объектом своей империалистической политики Германию и Японию. («О, прошу прощения, – иронизирует Бут, – это был не империализм, это была “оккупация”».) «Равным образом, недавние эксперименты в области “национального строительства” в Сомали, на Гаити, в Боснии, Косово и Афганистане – это империа-

лизм под другим именем» [19]. Исходя из этого постулата, Бут делает важные практические выводы.

Но о них чуть позже. А пока – о другой, более многочисленной группе защитников идеи существования «Американской империи». Эти люди понимают, что на классическую империю Соединенные Штаты, как бы им этого ни хотелось – не тянут. Тем не менее, обнаружив определенное сходство между современной Америкой и империями былых времен, особенно Римской и Британской, они записывают США начала XXI века в число империй. Кстати сказать, нечто подобное делают и некоторые заокеанские друзья американцев, отождествляющие великую державу с империей – в прямом или метафорическом смысле этого слова, – либо подталкивающие ее на путь проведения имперской внешней политики.

Яркий тому пример – историк и директор Норвежского Нобелевского института Гейр Лундестад. Почти двадцать лет назад сформулировал он ныне широко известный тезис об Америке как «империи по приглашению» (*empire by invitation*) [20]. Соединенные Штаты, утверждает норвежский историк, «часто приглашались на роль своего рода великой державы, как это было после Второй мировой войны» [21, р. 53]. То есть другие страны, и прежде всего Западная Европа, искали в Америке своего защитника, гаранта независимости, помощника и в обмен на эту роль готовы были признать в ней не просто лидера, но некое подобие современного имперского центра (что, естественно, находило отражение в их политике в отношении США)¹³⁰. Эта тяга к Америке, подчеркивает Лундестад, объясняется не только ее очевидным превосходством над другими, но и тем, что в отличие от «традиционных супердержав» она «редко прибегает к (территориальным – Э.Б.) захватам, предпочитая управлять более опосредованным, более американским способом...» [21, р. 91]. Совсем на другой путь управления миром толкает Америку английский историк Фергюсон. Но о нем – чуть ниже.

Так или иначе, многие американцы и их зарубежные идейные и политические друзья отождествляют США – с оговорками или без всяких оговорок – с империей. Историк и публицист Мартин Уокер, нестигаемый окопник «холодной войны», до сих пор не из-

¹³⁰ Лундестад поясняет, что первоначально его концепция «касалась исключительно Западной Европы в период с 1945 по 1952 годы», однако впоследствии он пришел к выводу, что «тезис о приглашении можно распространить как на более ранний, так и на более поздний периоды, то есть на период с Первой мировой войны вплоть до настоящего времени» [21, р. 54]. Расширил Лундестад и пространственные границы «империи по приглашению», распространив ее на Северо-Восточную Азию и Австралию.

бавившийся от патологической ненависти к Советскому Союзу, опубликовал в 1993 году книгу «Холодная война: история», в которой с гордостью проводил параллели между Римом и Америкой. И намекал на то, что старец Филофей, уверявший, как известно, что «два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать» [22, р. 441], оплошал в своем пророчестве: от «третьего Рима», мол, остались жалкие руины, а «четвертый Рим» – вот он, за углом, то бишь за океаном. Правда, позднее Уокер застеснялся банальности своих сравнений и перерешил: оказывается, нынешняя Америка больше похожа не на Римскую, а на Британскую империю [23], что, впрочем, сути дела не меняло.

Имперский статус присваивает Америке Эндрю Бацевич. Правда, оговаривается он, это «неформальная империя, состоящая не из сателлитов или феодальных ленов, а из номинально равных государств». «Председательствуя» в такой империи, «мы предпочитаем осуществлять нашу власть окольным путем, чаще всего через посреднические организации, в которых США играют главенствующую роль, но которые не контролируют полностью (например НАТО, Совет Безопасности ООН, МВФ и Всемирный банк). Хотя мы обладаем неоспоримым военным преимуществом, мы совершенно не предрасположены к использованию силы, предпочитая действовать не путем принуждения, а путем обольщения. Вместо того чтобы навязывать нашу волю с помощью меча, мы полагаемся на привлекательность “американского образа жизни”, чтобы завоевать сомневающихся и взять верх над противником» [2, р. 50].

Странно слышать такие слова после натовских бомбардировок Югославии и карательной акции против Афганистана, тем более от отставного полковника американской армии, каковым является Бацевич. Но важна сама идея, которую он пытается провести: при всех формальных отличиях от других империй Америка, по существу, стоит с ними в одном ряду.

Не помеха этому и республиканский строй. «Соединенные Штаты, – утверждает директор Центра международных исследований Вудро Вильсона Роберт Литвак, – это “имперская” держава, определяющая и поддерживающая международный порядок, ключевые институты которого и нормы управления которым несут на себе неизгладимую американскую печать. В то же время это “республика”, то есть суверенное государство, существующее в рамках системы суверенных государств, равных перед международным правом» [24, р. 76]. Литвак соглашается, что эта двойственная, или, как он ее называет, «близнецовая», идентичность порождает в американской внешней политике некоторую напряженность, которую можно смягчить, но невозможно полностью пре-

одолеть. Тем не менее, полагает он, республиканизм не исключает империализма и наоборот.

Примечательно, что, отстаивая идею имперского статуса США, американцы пытаются обосновать *его естественность и историческую закономерность*: такова, мол, «воля» истории. А точнее – следствие поступательного роста американского общества на протяжении более чем двух столетий¹³¹. «Сильные делают что могут, замечал Фукидид, а относительная мощь Соединенных Штатов росла непрерывно на протяжении более чем двух столетий, – объясняет Гидеон Роуз, один из редакторов “Форин афферс”. – Ныне они действительно очень сильны, и в этой ситуации удивительным было бы не появление некоего подобия Американской империи, а умеренность и скромная изоляция (Америки – Э.Б.), столь часто рекомендуемая критиками» [25, р. 133].

Примерно в том же духе рассуждает и Пол Кеннеди. Напрасно, писал он в нашумевшей статье в «Файненшл таймс», европейцы и китайцы ломают руки, сокрушаясь по поводу превосходства Соединенных Штатов, и хотят, чтобы оно исчезло. Это естественное, исторически предопределившееся превосходство, достигнутое без перенапряжения сил. Представим себе, острит американский историк, что одна из обезьян Лондонского зоопарка росла быстрее других: она в итоге и обогнала их, вымахав совершенно естественным образом в пятисотфунтовую гориллу. «Она просто не могла не стать такой большой, и в некотором смысле Америка просто не могла не стать тем, чем она является сегодня» [26].

В самом деле, каждая страна стремится реализовать заложенный в ней потенциал роста. У одних он больше, у других меньше. Одним это удастся, другим нет. Одни идут к вершине быстрее, другие медленнее. Одни остаются на этой самой вершине долго, другие – считанные годы. Все это настолько очевидно (чтобы не сказать банально), что об этом не стоит и рассуждать. Как не стоит гадать, на манер Бжезинского или Краутхэммера, сколь долго суждено Америке нести свое супердержавное бремя. Гораздо важнее и интереснее другой вопрос: а чем Америка, говоря словами Пола Кеннеди, «является сегодня»? Неужто и впрямь новой империей? Неужто историческое время потекло вспять, и нам, как героям пьесы Фридриха Дюрренматта, пора выходить на улицы с лозунгом «Да здравствует феодализм – светлое будущее человечества!»?...

¹³¹ В сущности, это современный вариант любимой американцами идеи о «воле провидения», которому было угодно сделать Америку тем, чем она стала, и закономерном характере перемещения центра глобальной власти в Новый Свет.

«Империя» без империи

Разноголосица по поводу «Американской империи» объясняется многими причинами – прежде всего, конечно, политическими. Но не только политическими. Как справедливо отмечает один из исследователей, «понятие империи... до настоящего времени остается нечетко концептуализированным не только в отечественной, но и мировой социальной науке» [27, р. 31]. Неудивительно, что разные авторы вкладывают в это понятие разный смысл и при этом нередко делают акцент на каком-то одном или нескольких признаках империи, вырванных из целостной системы ее характеристик. «Я, – пишет, к примеру, один из ведущих сотрудников Института исследования войны и мира при Колумбийском университете, автор книги “Мифы империи: внутренняя политика и международные амбиции” Джек Снайдер, – пользуюсь термином “империя” в общем смысле, имея в виду могущественное государство, которое использует силу для расширения своего влияния за рубежом и при этом переходит грань, за которой издержки, связанные с расширением, начинают резко возрастать» [28, р. 31]. Критерий, что и говорить, зыбкий, позволяющий «записать в империи» без достаточных на то оснований не одну и не две из ныне существующих держав. Столь же вольно – чтобы не сказать произвольно – обращаются с понятием «империя» и большинство других участников дискуссии, а некоторые вообще не считают нужным пояснять, какой смысл они вкладывают в него.

Конечно, попытки концептуализации «империи» предпринимались прежде и предпринимаются сегодня. В итоге накопились десятки (если не сотни) определений, фиксирующих структурные характеристики имперских образований (территория, население, тип отношений между частями империи)¹³², их генезис¹³³ и функ-

¹³² Империю определяют как «исторически преходящую форму государства, характеризующуюся обширной, но не обязательно целостной *территорией*, *многонациональным составом населения*, *централизованным* (монархическим) *управлением*, стремлением к *политическому и силовому господству* в мировом масштабе» [29, с. 429]. (Здесь и в последующих определениях «империи» курсив мой – Э.Б.). Империю также определяют как «политическую систему, объединяющую под началом *жесткой централизованной власти* *гетерогенные этнонациональные* и административно-территориальные образования на основе отношений *метрополия – колония*, *центр – провинция*, *центр – национальные республики и окраины*... С понятием империя связано *жесткое применение власти на местах из одного центра*» [30, с. 119].

¹³³ Империя – это «группа государств, возникшая в результате колонизации или завоевания и подчиненная метрополии или имперскому государству, даже если оно становилось республикой (как в случае с Францией и СССР)» [31, с. 191].

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

ции¹³⁴. Предпринимались также попытки, хотя и не часто, дать некий общий свод признаков империи¹³⁵.

Отечественный политолог М. Ильин, характеризуя «суть исторической миссии Рима» (создавшего классическую имперскую форму) и одновременно «природы всякой империи», приводит отрывок – на мой взгляд, весьма удачный – из Вергилия:

*Ты же, о римлянин, помни – державно народами править;
В том твои будут искусства, вводить чтоб обычаи мира,
Милость покорным давать и войною обуздывать гордых [34, 847–853].*

«Данная формула, – резонно замечает Ильин, – представляет собой соединение двух сущностно разных, но взаимодополняющих начал – цивилизаторства (введение обычаев мира, правовых, культурных и соответствующих бытовых стандартов, норм градскости и т. п.) и империалистического господства (обуздывание непокорных, силовое расширение сферы гегемонии и т. п.)» [35, с. 230].

Возможно ли в итоге, опираясь на существующие теоретические наработки и принимая во внимание реальную историю империй, составить обобщенное рабочее представление об этом феномене? Такое представление, которое позволило бы получить ответ на вопрос: не являются ли современные Соединенные Штаты Америки империей?

Очевидно, все-таки возможно. Прежде всего, видимо, следует констатировать, что империя представляет собой *международную политическую систему*, охватывающую группу политически орга-

¹³⁴ «Империя – ранняя *архаическая форма принудительной национально-государственной интеграции, превращенная реализация исторической тенденции единства мира*... Возникновение империй являлось в истории продолжением и развитием более простой, органичной и стабильной государственности типа “государства-нации...” [32, с. 100].

¹³⁵ Изданный в США «Словарь политической мысли» под редакцией Р. Скратона определяет империю как «государство, характеризующееся (I) значительной территорией, населением и властью, включающее несколько наций, народов или подчиненных государств с различными расами или культурами; и/или (II) возникновением в результате завоевания господствующим племенем или нацией, которая продолжает формировать господствующую группу и осуществляет монопольное принуждение; и/или (III) политической структурой, при которой верховная власть принадлежит одному лицу (императору), являющемуся источником всей власти на местах; и/или (IV) теоретическим обоснованием потенциально универсальной юрисдикции, санкционированной религией, законом или идеологией, выходящими за пределы национальных границ... Главная черта империи – пренебрежительное или неуважительное отношение к суверенитету более слабых держав, обычно сопровождаемое убежденностью либо во врожденном превосходстве определенной расы, либо в преимуществах истории или институтов управляющего народа» [33, р. 145].

низованных территорий (государств) и характеризующуюся *определенным способом возникновения, организации и функционирования*. Причем внутриимперские отношения имеют *достаточно устойчивый характер* и сохраняются в течение более или менее длительного времени. Империи рождаются в результате колонизации или подчинения (в том числе насильственным путем, то есть завоевания) одних государственных образований другими.

В основе имперской системы отношений, имперской мироорганизации лежит принцип *разделения территорий на центр (метрополию) и периферию (колонии и зависимые территории)*. При этом центр выступает по отношению к периферии в качестве *гегемона*, который распоряжается всеми ее ресурсами *по собственному усмотрению и никому не подотчетен в своих действиях*. Институт партнерства в империи отсутствует. Обратная властная связь также отсутствует. Периферийные части империи могут обладать ограниченным суверенитетом (дарованным центром), а их руководители – достаточно высоким политическим статусом (пожалованным все тем же центром). Однако это не исключает *обязательного подчинения* – оно может иметь разное юридическое оформление – *периферии центру*. Неподчинение влечет за собой соответствующие санкции.

Еще один имманентный признак империи (на который исследователи не обращают должного внимания) – это *имперское сознание*¹³⁶, ориентированное на стремление к экспансии (в пределе – к глобализации империи) и универсализацию культивируемых центром ценностей.

Империи выполняли важные *исторические функции*, выступая в условиях гетерогенного мира в качестве механизмов его развития, действие которых было основано на насилии, принуждении и сопровождалось большими человеческими жертвами. Можно выделить по меньшей мере три такие функции. Во-первых, *цивилизаторскую*, благодаря которой элементы цивилизации, создававшиеся в метрополии, выходили за пределы центра и, постепенно до-

¹³⁶ Его правильнее было бы назвать «империалистическим», поскольку оно исходит из центра, от метрополии и выражает ее интересы. Но в рамках империи существует и другое, именно имперское сознание, присущее империи в целом. Это *дихотомичное* и потому внутренне противоречивое сознание. Ориентация на господство, принуждение, неконтролируемое насилие со стороны центра предполагают (только в этом случае оно оказывается функционально возможным) наличие сервильного, ориентированного на подчинение сознания, характерного для периферии. Учитывая, однако, что в повседневной языковой практике понятие «имперский» («имперские амбиции», «имперская политика» и т. п.) фактически отождествляется с понятием «империалистический», мы будем следовать этому обычаю.

ходя до провинции, становились общеимперским достоянием. Во-вторых, *интеграционную*, поскольку связывали разрозненные и существенно отличающиеся друг от друга части мира в единое, хотя и внутренне противоречивое, целое. В-третьих, *мобилизационную*: эксплуатируя провинцию, извлекая из нее необходимые экономические, финансовые и иные ресурсы, центр мобилизовывал средства, необходимые для развития метрополий, выступавших в качестве точек мирового роста.

Совершенно очевидно, что тип связей, соединяющих современную Америку с другими субъектами международных отношений, в общем и целом не соответствует имперской парадигме. И о современной «Американской империи» можно говорить лишь в переносном, метафорическом смысле этого слова. И это закономерно.

Уже к середине XX века стало очевидным, что происходящие в мире изменения – и прежде всего процесс модернизации – сделали институт империи анахронизмом. Наметилась отчетливо выраженная тенденция к цивилизационной, культурной и экономической гомогенизации имперских пространств (не устраняющей колоссальных разрывов в качестве жизни населения колоний и метрополий и в других показателях), к постепенному, хотя медленному и болезненному, выравниванию провинций и центра. А это ломало всю структуру имперских отношений¹³⁷. Тем более что они становятся экономически нерентабельными: издержки, связанные с поддержанием усложняющихся механизмов функционирования империи, начинают сравниваться с получаемой «прибылью» или даже превосходить ее. Меняется нравственно-политический климат в мире, делающий невозможным сохранение в неприкрытом виде отношений господства-подчинения между странами. В итоге из механизма международного развития империи превращаются в механизм его торможения и сходят с исторической арены за ненадобностью...

Чем, однако, можно объяснить тот факт, что о современной Америке многие – и в самих Соединенных Штатах, и за их пределами – говорят именно как об «империи»? Или, осознавая шаткость такой идентификации, как о «квазиимперии»? На то имеются, как уже говорилось выше, политические и психологические причины. Но есть и основания гносеологического порядка. Человеческое сознание лениво и инертно. Оно часто действует по принципу экономии: похожее принимается за подобное, один феномен отождествляется с другим на основании внешнего сходства или совпадения двух-трех признаков, не обязательно самых существенных.

¹³⁷ Это прекрасно выражено в названии одной из статей Г.С. Кнабе: «Империя изживает себя, когда провинция догоняет центр» [36].

Нынешняя Америка действительно чем-то напоминает великие империи давнего и недавнего прошлого, особенно Римскую и Британскую, а по своей относительной (относительно других стран-современниц) мощи, по своему влиянию на остальной мир – превосходит их. Американские военные базы разбросаны по всему миру. Английский язык выступает в роли мирового языка-посредника. Американская поп-культура заплонила мир. Американские университеты притягивают молодежь многих стран, а научные центры собирают в своих лабораториях лучшие мозги мира. Американцы верховодят в большинстве международных экономических, политических и финансовых организаций. Американский доллар стал во многих странах, включая нашу несчастную Россию, «условной единицей» финансовых расчетов. Американцы нахлебисты, энергичны, вездесущи, порой наглы и беззастенчивы. Они пытаются навязать свою волю – в том числе насильственным путем. Чем не империя?! Ведь в обыденном сознании империя – это синоним силы, всемогущества, напористости.

К сожалению, большинство из тех, кто ныне рассуждает об империи, остаются пленниками этого сознания, которое мало помогает при анализе новых явлений. *Империя – не просто сила, но сила определенным образом вписанная в контекст ее действия, определенным образом структурированная и реализуемая. Система отношений, связывающих современную Америку с остальным миром, хотя и напоминает чем-то традиционные империи, в общем и целом организована иначе, чем они, у нее иная внутренняя и внешняя форма, иные функции. Это не империя¹³⁸. Это что-то другое, уникальное, не имеющее аналогов и требующее непредвзятого, лишенного ценностного подхода анализа. Отождествляя а priori этот новый феномен (и при этом наивно исходя из представления о повторяемости*

¹³⁸ Уж если и говорить о современной «Американской империи», то некое подобие ее (исторически некорректна и эта аналогия) существовало в период со второй половины 40-х до конца 80-х годов XX века. Тогда США были единственным центром западного (капиталистического) мира, его общепризнанным лидером, его интегратором. С помощью так называемых связывающих институтов (термин, введенный Джозефом Айкенберри, одним из крупнейших современных американских международных-теоретиков) типа НАТО, ГАТТ, МВФ и др. они сплотили и до известной степени гомогенизировали (американизировали) этот мир. Сегодня (парадокс!) Америка стала сильнее, но ситуация изменилась не в ее пользу. Хотя с распадом двухполюсной системы союзники США и не разбежались в разные стороны, степень сплоченности Запада и его готовности поддерживать заокеанского партнера стала ниже. Этому немало способствовала американская политика так называемого унилатерализма (односторонности), вызывающая раздражение и обиду европейцев, да и не только европейцев.

истории¹³⁹) с империей, мы закрываем себе путь к постижению сути того исторического уникама, каким на самом деле является нынешняя Америка и вся нынешняя система международных отношений, в которую вплетена и Америка. Так что же в действительности скрывается под именем «Американской империи»?

С конца XX века в мире формируется – весьма динамично, хотя и крайне болезненно, противоречиво, – *глобальная политическая система*, близкая в идеале к тому, что крупный британский теоретик-международник Хэдли Булл именовал «мировым международным обществом» (world international society)¹⁴⁰. Сегодня оно предстает в виде гетерогенной системы, включающей несколько групп государств, различающихся по уровню развития (модернизированности), степени включенности в мировую политику и экономику, а в итоге и по роли в этой системе¹⁴¹. Структура этой системы (мировой порядок) еще только выкристаллизовывается. Отношения между образующими ее государствами еще не устоялись, не получили более или менее заверщенного институционального

¹³⁹ «В виде фарса», добавляем мы иногда, кивая на Гегеля и забывая о том, что писал великий мыслитель по поводу повторяемости в истории (между прочим, в связи с попытками провести параллели между Францией эпохи Великой революции, с одной стороны, и Грецией и Римом, с другой). «В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, *каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием* (курсив мой — Э.Б.), что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния... бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизненностью и свободой настоящего. В этом отношении нет ничего более нелепого, как столь часто повторяемые ссылки на греческие и римские примеры в эпоху французской революции» [37, с. 8].

¹⁴⁰ Согласно Буллу, «международное общество», или, как он его еще называл, «общество государств», «имеет место тогда, когда группа государств, осознающих некоторую общность интересов и общность ценностей, образует общество в том смысле, что они (государства — Э.Б.) чувствуют себя связанными общей системой правил, регулирующих их отношения друг с другом, и принимают участие в работе общих институтов» [38, р. 13]. «Мировое международное общество» — это «международное общество», не только охватывающее весь мир, но и ставящее своей целью поддержание жизни всего человечества.

¹⁴¹ Касаясь этой гетерогенности в международно-политическом плане, Генри Киссинджер утверждает, что «сегодня в мире параллельно существуют по меньшей мере четыре системы международных отношений»: одна — в западном мире, другая — в Азии, третья — на Ближнем Востоке и четвертая — в Африке [39, с. 10–12]. Киссинджер прав по существу, однако то, что он именует «системами», вернее, на мой взгляд, называть «подсистемами», ибо при всех различиях между названными регионами они существуют не «параллельно», а во взаимосвязи, как взаимодействующие части глобальной системы.

оформления, они, как правило, юридически не закреплены и лишь частично «покрываются» существующими нормами международного права, которые были выработаны совсем в другую эпоху. При видимом моноцентризме (или, как часто говорят, «однополюсности») это в действительности полицентрическая система. Как писал недавно один из крупнейших американских теоретиков-международников Джозеф Най, современные международные отношения разворачиваются и поддерживаются одновременно на трех уровнях и напоминают (влияние автора «Великой шахматной доски»?) «трехмерные шахматы». Одна доска – царство военной силы, где безраздельно господствуют Соединенные Штаты. Другая – сфера международных экономических отношений, где Евросоюз и Япония ведут успешное соревнование с Америкой в области торговли, телекоммуникаций, установления промышленных стандартов и т. п. Третья доска – царство не контролируемых государствами отношений, где действуют транснациональные корпорации и другие международные организации, осуществляющие крупные финансовые и другие операции, оказывающие влияние на мировое развитие [40].

Так обстоит дело сегодня. Завтра, то есть через десять – двенадцать лет, полагают некоторые исследователи (К. Уолц, Дж. Меаршаймер и др.), на политическом горизонте могут появиться новые центры силы, способные составить солидную конкуренцию Соединенным Штатам, – в первую очередь Германия и, возможно, Китай.

Тем не менее ни у кого нет сомнений в том, что Соединенные Штаты являются *крупнейшим мировым центром* и занимают в мировом международном обществе *эксклюзивное положение*, что во многом обуславливает и их *эксклюзивные претензии*. Америка обладает беспрецедентным военным (силовым) потенциалом, колоссальным экономическим и интеллектуальным ресурсом, огромными техническими возможностями и т. п. Но вот парадокс: использовать *сполна* свою силу *по собственному усмотрению* она может тоже лишь в *исключительных случаях*. Это лишний раз подтвердила война против Ирака. Америка в итоге поступила так, как хотела, однако это потребовало от нее основательной предварительной политической и дипломатической подготовки и сопровождалось неприятными для Вашингтона скандалами (они, думается, не исчерпаны). Причем последствия проведенной операции до конца еще не ясны, и возникновение «послеоперационных осложнений» вовсе не исключено. Зато ясно, что от идеи проведения аналогичной акции в отношении Ирана (что первоначально, похоже, планировалось Вашингтоном) Белому дому пришлось отказаться. По крайней мере на ближайшее время. Одновременно с

этим возросла *степень уязвимости Соединенных Штатов, а возможность обеспечить национальную безопасность, напротив, уменьшилась*, что рождает у американцев, включая их политических лидеров, психологию неуверенности и нервозности, находящую отражение во внешнеполитическом поведении страны. Как писал недавно Джек Снайдер, «Америка воплощает ныне парадокс всемогущества и уязвимости. Военный бюджет США больше военного бюджета следующих за ними четырнадцати стран, вместе взятых, а американская экономика превосходит совокупную экономику трех следующих за ней стран. Тем не менее в своей повседневной жизни американцы сталкиваются с большим, чем когда-либо прежде, риском внезапной смерти в результате террористической атаки» [28, р. 29].

Стремясь разрешить это противоречие между силой и бессилием, обеспечить национальную безопасность и утвердить свое доминирующее положение в мире, Америка пытается выстроить в рамках мирового международного общества своеобразную *систему (механизмов обеспечения) своей мировой гегемонии*, в которой видит ключ к решению стоящих перед страной проблем. Вот эту самую «систему гегемонии» обычно и принимают за «Американскую империю», «Глобальную империю США», «Новую американскую империю»... Но это не империя, не политически организованная система государств, одни из которых подчинены другому и т. п. Это *сетевая система международных отношений* и оформляющих их *механизмов управления глобальными процессами*, призванная обеспечить *гегемонию Соединенных Штатов Америки* в отношении других членов мирового сообщества. «Система гегемонии» связывает страну-гегемона с другими акторами, действующими на международной арене. Среди них – отдельные государства, объединения государств типа Европейского Союза, а также международные организации – правительственные (типа НАТО) и неправительственные (типа ТНК).

«Система гегемонии» не предполагает существования колоний и зависимых территорий – она вообще *не имеет устойчивой пространственной локализации. Не предполагает и существования периферии*, по отношению к которой США выступали бы в качестве и опекуна, и гаранта сохранения статус-кво, и легитимного властного центра, наделенного полномочиями отдавать обязательные для исполнения приказы и распоряжения. «Система гегемонии» – *сложная, многоуровневая структура*, сотканная из политических, экономических, идеологических и военных отношений – как институционализированных, так и не имеющих институционального статуса. Причем в современных условиях воен-

ные институты и отношения (а значит, и военные организации) играют все возрастающую и все более важную, а в некоторых ситуациях – решающую роль¹⁴².

Все эти отношения могут быть *видимыми (наблюдаемыми) и скрытыми, явными* (подчас широко и целенаправленно рекламируемыми с помощью СМИ) и *тайными* (осуществляемыми с помощью спецслужб). При этом роль тайных операций и осуществляющих их людей возрастает. Эти операции, признает Роберт Каплан, не всегда согласуются с демократическими принципами, но ничего не поделаешь: цель оправдывает средства. «Само распространение демократии, за которую мы ведем борьбу, ослабляет нашу хватку в отношении многих из дотоле податливых правительств: пример тому – отказ Турции и Мексики поддержать политику Соединенных Штатов в отношении Ирака. Отсюда следует, что если мы собираемся и дальше двигаться в избранном направлении и в то же время пропагандировать наши демократические принципы, то действовать надо быстро, за закрытыми дверями и не выходя из тени. И при этом использовать средства куда менее очевидные, нежели те, которые были развернуты во всем их величии на земле и в воздухе во время войны с Ираком» [18, р. 68].

«Система гегемонии» допускает отклонение не только от принципов демократии, но и от норм нравственности и международного права (что отчетливо прослеживалось в период агрессии США и их союзников против Югославии и Ирака). Она допускает также игнорирование международных организаций, включая ООН, если решения последних мешают Соединенным Штатам проводить в жизнь поставленные ими перед собой цели.

«Система гегемонии» предполагает использование разных методов достижения цели – *жестких, силовых*, ориентированных на насилие, в том числе в широких масштабах (войну), и *мягких*, построенных на идейно-психологическом воздействии (агитация и пропаганда) на население как самой Америки, так и других стран.

Можно было бы назвать еще ряд характеристик «системы гегемонии», выстраиваемой Соединенными Штатами, но общая картина, думается, ясна. Впрочем есть один момент, о котором нельзя не упомянуть. Устойчивость и порочность глобальной сети механиз-

¹⁴² Дж. Шелл характеризует проводимый ныне Америкой внешнеполитический курс одним словом – «милитаризм» [17, р. 7]. А Р. Каплан передает слова одного из своих соотечественников, по собственному опыту знающего положение дел в слаборазвитых странах: там мнение или приказ американского генерала, действующего по собственному усмотрению или по указанию свыше, порой значит больше, чем мнение посла, проводящего предписанную ему линию. Тем более что руководители некоторых из этих стран сами нередко являются бывшими или действующими генералами [18].

мов господства, создаваемой Америкой, увязывается ею сегодня (это нашло отражение в доктрине национальной безопасности США) с возможностью нанесения упреждающего удара по возможному противнику. Иными словами, перед нами система, имеющая не только оборонительный, но и наступательный характер.

Опасность имперских амбиций

Надо признать, что при всей своей идейно-психологической значимости вопрос о том, могут или не могут современные Соединенные Штаты именоваться «империей», имеет для американцев вторичный характер. Ибо *дискуссия об «Американской империи» – это не спор о понятиях, это спор о политике*. Спор о внешнеполитической стратегии и даже тактике США в начале XXI века. «Пора выйти за пределы констатации очевидного», – настаивает Р. Каплан, и попытаться ответить на вопросы, «как нам следует осуществлять на тактическом уровне управление распущенным миром? Каковы правила и каковы средства?» [18, р. 66].

И в самом деле, прагматичных янки при всем их идеализме (коего у них тоже не отнять) больше всего волнуют вопросы практического плана. Вправе ли Америка или не вправе проводить внешнюю политику имперского типа? Может она или не может вести себя на мировой арене так или примерно так, как Римская и/или Британская империи? Какого рода внешнеполитический курс в наибольшей мере отвечает ее национальным интересам и как следует работать с общественным мнением – американским и международным, – чтобы обеспечить его поддержку?

Именно эти и другие стоящие в одном ряду с ними вопросы вызывают в США наиболее горячие споры. Однако, при всем видимом многообразии высказываемых на этот счет точек зрения, их можно свести к трем достаточно четким позициям, выкристаллизовавшимся в ходе обсуждения проблемы.

Позиция первая. Америке следует – это в ее интересах, – не реагируя на чью-либо критику и возражения, действовать на международной арене так, как она считает нужным, пусть даже ей придется остаться в одиночестве. *И если потребуют обстоятельства, ориентироваться на модель поведения, которую принято считать имперской.* Без колебаний. Военный, экономический и научно-технический потенциал позволяют ей действовать подобным образом. (Но при этом совсем не обязательно – по крайней мере официальным лицам – признавать имперский характер проводимой политики.) «Действуя в общем и целом успешно в качестве импе-

риалистов, – замечает М. Бут, – американцы не испытывали желания называть то, что они делают, своим именем. Пусть так. Учитывая исторический груз, который несет с собой “империализм”, правительству Соединенных Штатов не нужно брать на вооружение этот термин. Но оно должно совершенно определенно взять на вооружение обозначаемую этим термином практику» [19]. Действовать за закрытыми дверями и при этом громко кричать о демократии советует, как мы помним, и Р. Каплан. И не он один.

Что такое империалистическая практика на деле, Бут объясняет на примере Ирака. «Она не означает, – успокаивает он, – что у Ирака отберут его природные ресурсы: не было бы ничего более разрушительного по отношению к нашей цели создания стабильного правительства в Багдаде. Она (империалистическая политика – Э.Б.) означает навязывание власти закона, права на собственность, свободы слова и других гарантий – если потребуется, то силой оружия. Для этого нужно будет выбрать нового правителя, приверженного плюрализму, и затем оказывать ему всемерную поддержку. Иран и другие соседствующие государства без колебаний будут пытаться навязать Ираку свои деспотические взгляды; мы же не должны испытывать колебаний в навязывании наших демократических взглядов» [19].

Мало кто из американских аналитиков столь откровенен, как Бут. Даже из тех, кто отождествляет нынешнюю Америку с империей. Но думают так многие, в том числе и те, кто, не слишком заботясь о дефинициях, видит в Америке «законного» (по праву сильнейшего, которое всегда было в чести за океаном) гегемона, который может творить все, что считает нужным. А объясняют необходимость жесткой имперской политики очень просто: так и только так можно одержать победу над международным терроризмом; так и только так можно навести порядок в мире, где появились государства, которым закон не писан, которые пригревают у себя бомбистов и готовы поднять руку на саму Америку. В былые времена, «при империях», в мире царил порядок, а если он нарушался, его быстро восстанавливали – в том числе с помощью пулемета «Максим».

Об этом напоминает (с чувством глубокого удовлетворения и уже не первый раз) молодой, но быстро входящий в моду английский историк Нэйл Фергюсон, автор только что вышедшей книги «Империя: становление и распад британского мирового порядка и уроки для глобальной державы» [41–42]. И не только напоминает, но и, как свидетельствует подзаголовок книги, дает Америке советы. Британская (как впрочем, и другие) империя, утверждает Фергюсон, была «позитивной силой». На ней держался мировой порядок, пусть посредством насилия. Сегодня настало время возродить имперские традиции. И сделать это должны Соединенные Штаты

Америки¹⁴³. Для этого им потребуется освоить британский колониальный опыт. Американская империя должна стать Британской империей сегодня.

Вторую позицию можно рассматривать как смягченную модификацию первой. Суть ее примерно такова. США – хотя бы они того или нет – поставлены историей перед имперским вызовом. Мир нуждается в сильной руке, в твердом руководстве; и выступить в качестве руководящей силы – имперской силы – придется именно Соединенным Штатам как единственной супердержаве: другой такой силы в мире нет! Иными словами, *Америке суждено стать «империалистом поневоле» (reluctant imperialist) [43]*. Тем самым она как бы выполняет поручение международного сообщества (своего рода «интернациональный долг»), а точнее – «цивилизованного мира», как любят говорить многие авторы. Соединенным Штатам нет необходимости менять свою политическую систему; нужно просто действовать по отношению к другим как империя, оставаясь при этом демократической республикой.

Для этого Америке, конечно, придется постараться легитимизировать имперское поведение, то есть заставить другие страны признать за ней роль руководящего «центра» и оказывать ей помощь всякий раз, когда их об этом попросят. Модели такой легитимизации, как разъясняет известный американский международник Себастиан Моллаби, хорошо всем известны: они воплощены в «гибридных» организациях типа Всемирного банка и Международного валютного фонда. Эти структуры «отражают американское мышление и приоритеты», но при этом, будучи международными, многонациональными организациями, выражают интересы и других стран. Они более профессиональны и эффективны и в меньшей степени находятся под «национальным патронажем», чем специализированные организации ООН. Нечто подобное Всемирному Банку и МВФ, но отличное от ООН с ее принципом «одно государство – один голос» и правом вето для постоянных членов Совета Безопасности, и должно быть создано, по мысли Моллаби, для управления новым мировым порядком; причем главную роль в этой новой, постоянно действующей организации должны будут принять на себя

¹⁴³ Впервые эту мысль английский историк высказал сразу после событий 11 сентября. Америка, писал он, должна без стеснения принять на себя имперские функции во имя того, чтобы «сделать мир безопасным для капитализма и демократии... Истинная роль имперской Америки заключается в том, чтобы установить эти институты (институты, обеспечивающие «законность и порядок» в мире – Э.Б.) там, где они отсутствуют. Если нужно, то – как это было сделано в Германии и Японии в 1945 году – с помощью военной силы» [42, р. 140].

Соединенные Штаты. Это не будет означать появление в мире новой империи, но позволит заполнить «вакуум безопасности» подобно тому, как это было сделано с помощью системы мандатов после Первой мировой войны, покончившей с Османской империей [43].

Есть, наконец, *третья позиция*, разделяемая прежде всего теми, кто отрицает имперский статус Америки, но не только ими. Суть этой позиции проста и ясна. Вне зависимости от того, являются Соединенные Штаты империей или нет, им не следует проводить имперскую политику, не следует брать на себя имперские функции, как бы ни подталкивали их на этот путь свои собственные или зарубежные политики. Времена имперской политики миновали, и в XXI веке с ее помощью не решить ни одной из проблем, включая борьбу с терроризмом и укрепление национальной безопасности. Более того, ее возрождение обернулось бы самым пагубным образом как для самой Америки, так и для остального мира.

Как резонно утверждает Г. Киссинджер, видящий глубокую внутреннюю связь между проведением имперской внешней политики и стремлением к обретению имперского статуса, «намерение доминировать постепенно объединит мир против США и заставит их ограничить [свои претензии], что в конечном счете приведет их к изоляции и истощению. Путь к имперскому статусу ведет к загниванию самой страны, поскольку с течением времени претензии на всемогущество разрушают внутренние барьеры» [39, с. 325].

Киссинджер не верит в то, что новая международная ситуация и беспрецедентная мощь Америки позволили бы ей, взвали она на себя имперскую ношу, избежать проблем, которые традиционно обрушивались на империи минувших веков. «Ни одна империя еще не избежала военной диктатуры, цезаризма, если только, как в случае с Британской империей, она не отказалась от власти [над миром] прежде, чем этот процесс успел развиваться. В империях с долгой историей любая проблема превращается в проблему внутреннюю, поскольку внешний мир уже не является для нее противовесом. И по мере того, как вызовы, с которыми сталкивается империя, становятся все более многочисленными и возникают вне исторической связи с внутренними проблемами, борьба внутри страны принимает все более ожесточенный, а со временем и все более агрессивный характер». Вывод опытного американского дипломата и аналитика категоричен: «Намеренное стремление к гегемонии – это наиболее верный путь к разрушению ценностей, сделавших Америку великой» [39, с. 325].

Эту позицию разделяют многие серьезные аналитики, в частности Джон Айкенберри. Сегодня за океаном, пишет он, рождается «неоимперское видение, в соответствии с которым Соединенные Штаты беспардонным образом претендуют на глобальную роль в установлении

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

стандартов, определении угроз, использовании силы и отправлении правосудия». Базирующаяся на этом видении стратегия, убежден американский международник, «грозит разорвать ткань международного сообщества и политического партнерства как раз в том самый момент, когда существует острейшая потребность в этом сообществе и партнерстве». Но «такой подход чреват угрозами и ведет к поражению. Он не только несостоятелен политически, но и пагубен экономически... Он породит антагонизм и сопротивление, из-за чего Америка окажется в более враждебном и разделенном мире» [44, р. 44–45].

Совершенно очевидно, что сегодня перевес – политический перевес – на стороне приверженцев первой и второй позиций. И дело тут не в силе их аргументации, а в стечении обстоятельств. *Нынешняя Америка поражена имперским вирусом. Она чувствует себя империей. А главное – пытается вести себя как империя*¹⁴⁴. Организованная ею (в обход ООН и вопреки мнению таких держав, как Россия, Франция, Германия) агрессия – а это была именно агрессия – против Ирака, угрозы в отношении ряда других стран, включая КНДР, Сирию и Иран, подтверждают, что официальный Вашингтон проводит именно эту линию. И совсем неважно, что Америка сохраняет за собой республиканско-демократический статус. Это лишний раз подтверждает, что *ни республиканизм, ни демократизм, ни либерализм не могут рассматриваться как панацея от имперского поведения*¹⁴⁵ и что может иметь место радикальный

¹⁴⁴ Это подтверждают и сами американцы, в частности Э. Бацевич. Глобальная стратегия, которой придерживаются в последние годы США, утверждает он, это «стратегия сохранения и расширения американской империи». Причем это не случайная линия поведения, не продукт импровизации. Эта стратегия непосредственно проистекает из внешнеполитических принципов и внешнеполитической практики, разработавшихся и осуществлявшихся Америкой в годы «холодной войны» и в предшествовавший ей период. К этой стратегии приложили руку все американские президенты – будь то республиканцы или демократы: оба Буша, Клинтон, их предшественники [45]. К сказанному уместно добавить, что на протяжении всех лет «холодной войны» американская общественность в массе своей довольно критически относилась к «колониализму» и «империализму», тем более что была уверена: Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к этим явлениям. Но верно и то, что эта общественность, и в первую очередь политический, экономический и финансовый истеблишмент, фактически поддерживали ту самую внешнеполитическую стратегию, которую Бацевич называет «стратегией сохранения и расширения американской империи».

¹⁴⁵ Говорю «лишний раз», имея в виду, что история знала такого рода примеры. Имперская Франция была, как известно, республикой, а имперская Британия – старейшей в мире демократией. Вообще говоря, Великобритания явила миру интереснейший (и, как мне кажется, еще не до конца проанализированный и объясненный) пример сочетания трех начал: демократического, монархического и имперского.

разрыв между политико-юридическим статусом страны и ее внешнеполитическим курсом.

Как скоро изменится такое положение, покажут дальнейшие события. Однако членам международного сообщества следует быть готовыми к тому, что Соединенные Штаты и в дальнейшем – пока не столкнутся с равновеликой силой (которая, впрочем, может иметь самый разный, совсем не обязательно военный, облик и форму), а иначе говоря, пока не натолкнутся на серьезные внешние и внутренние препятствия – будут, *не являясь империей, пытаться вести себя как империя*. Ибо исторический опыт учит: государства, особенно великие державы, не сдерживаемые в своем взаимодействии с другими акторами мировой политики действенными обязательствами, а главное, не встречая на своем пути препятствий, которые невозможно преодолеть, стараются использовать свой силовой потенциал *не по оптимуму, а по максимуму*. Такова уж природа силы, природа власти. Но опыт истории подсказывает: раньше или позже Соединенным Штатам придется отказаться и от притязаний на имперский статус, и от попыток проведения имперской политики. Когда именно это произойдет – зависит не только от Америки.

1. An American Empire? // *Wilsonian Quarterly*. Summer 2002.
2. Bacevich A. New Rome, New Jerusalem // *Wilsonian Quarterly*. Summer 2002.
3. MacMillan M. Queen Victoria's Secret // *The New York Times Book Review*. 2003. April 20.
4. Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея. М., 1993.
5. Washington G. Circular Letter Addressed to the Governors of all the States on Disbanding the Army (8 June 1783) // *The Writings of George Washington from Original Manuscript Sources, 1745–1799* / Ed. by G.C. Fitzpatrick. Wash., 1931–1944. Vol. 10.
6. Brockaway T. America Saved... A Thanksgiving Sermon. Hartford (Conn.), 1784.
7. Gabriel R. The Course of American Democratic Thought. N.Y., 1956.
8. Bell D. The End of American Exceptionalism // *The Public Interest*. Fall 1975.
9. Adams B. The New Empire. N.Y., 1902.
10. Kissinger H. America at the Apex // *The National Interest*. Summer 2001.
11. Уолцер М. О терпимости. М., 2000.
12. Blaney D., Inayatullah N. The Westphalian Deferral // *International Studies Review*. 2000. Vol. 2. No. 2.
13. USA Today. 2003. May 6.
14. Hardt M., Negry A. Empire. Cambr. (Mass.), 2000.
15. Lind M. Toward a Global Society of States // *Wilsonian Quarterly*. Summer 2002.
16. Glennon M. What's Law Got to Do with It? // *Wilsonian Quarterly*. Summer 2002.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

17. Shell J. The New American Order // The Nation. 2003. July 7.
18. Kaplan R. Supremacy by Stealth // The Atlantic Monthly. 2003. July-August.
19. Boot M. American Imperialism? No Need to Run Away from Label // USA Today. 2003. May 6.
20. Lundestad G. «Empire by Invitation?» // The United States and the Western Europe, 1945-1952. SHAFR Newsletter. No 15. Sept. 1984.
21. Lundestad G. «Empire by Invitation?» in the American Century // The Ambiguous Legacy: U.S. Foreign Relations in the «American Century» / Ed. by V.Hogan. N.Y., 1999.
22. Послание великому князю Василию об исправлении крестного знамения и о содомском блуде // Памятники литературы Древней Руси: конец XV — первая половина XVI века. М., 1984.
23. Walker M. What Kind of Empire? // Wilsonean Quarterly. Summer 2002.
24. Litvak R. The Imperial Republic after 9/11 // Wilsonean Quarterly. Summer 2002.
25. Rose G. Imperialism: The Highest State of American Capitalism? // The National Interest. Spring 2003.
26. Financial Times. 2002. Febr. 2.
27. Каспэ С.И. Империи: генезис, структура, функции // Полис. 1997. № 5.
28. Snyder J. Imperial Temptations // The National Interest. Spring 2003.
29. Политическая энциклопедия. Т. 1. М., 1999.
30. Политология: Энциклопедический словарь. М., 1993.
31. Политика: Толковый словарь / Под ред. А. Маклина. М., 2001.
32. Новая философская энциклопедия. Т. 2. М., 2001.
33. Scruton R. A Dictionary of Political Thought. N.Y., 1982.
34. Вергилий. Энеида.
35. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М., 1997.
36. Восток. 1991. № 4.
37. Гегель Г. Философия истории. Сочинения. Т. 8. М.; Л., 1935.
38. Bull H. The Anarchial Society: A Study of Order in World Politics. N.Y., 1977.
39. Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? М., 2002.
40. Nye J. The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't go in Alone. Oxford, 2002.
41. Ferguson N. Empire: The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power. N.Y., 2003.
42. Ferguson N. Clashing Civilizations or Mad Mullahs: the United States between Informal and Formal Empire // The Age of Terror: America and the World after September 11 / Ed. by S. Talbott and N. Chanda. N.Y., 2001.
43. Mallaby S. Reluctant Imperialist // Foreign Affairs. 2002. March/April.
44. Ikenberry J. America's Imperial Ambition // Foreign Affairs. 2002. Sept./Oct.
45. Bacevich A. American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy. Cambr. (Mass.), 2002.

Какая Россия нужна Западу?*

Многие, наверное, помнят, какая эйфория в отношении Запада царила в Кремле, да и не только в Кремле, в конце 1980 – начале 1990-х годов. Тогда немалому числу россиян, жаждавших перемен, казалось, что Америка и Западная Европа – не просто наши новые партнеры и союзники, но и ближайшие друзья. И как подобает друзьям, они готовы, не мешкая и закрыв глаза на наши невольные и неизбежные ошибки и просчеты, заключить нас в свои объятия, принять «в семью цивилизованных народов» и, оказывая щедрую и бескорыстную помощь, всячески способствовать возрождению великой – теперь уже, естественно, либеральной и демократической, но при этом равноправной и независимой – России.

Сладкий сон, увы, длился недолго. Уже в наши дни Михаил Горбачев, оценивая, по случаю двадцатилетия начала перестройки, минувший исторический период, высказывался публично в том духе, что если она дала Западу многое, то он, Запад, своей перестройки в отношении России так и не осуществил. Да и собирался ли он вообще ее осуществлять?

Как утверждает известный американский историк-русист и публицист Стивен Коэн, в начале 1990-х годов американцы попытались повторно решить задачу, которой они первоначально озаботились вскоре после окончания Второй мировой войны, когда решили, что «могут переделать Россию по своему образу и подобию или, по крайней мере, смогут «думать за русских» [1, с. 22]. Тогда этого сделать не удалось. Но «в 1992 году, в первый год постсоветской эры и последний год администрации Буша, эта идея возродилась» [1, с. 22]. Умами washingtonских стратегов (поддерживаемых их союзниками по НАТО) снова овладела идея «превращения посткоммунистической России в некое подобие американской демократии и капитализма». И хотя на достижение этой цели были брошены довольно солидные силы и средства и был объявлен «крестовый поход», все завершилось провалом.

А как обстоит дело ныне, в самом начале нового века? Как теперь смотрит Запад на своего давнего политического «клиента»? Какая Россия нужна ему сегодня и какой он хотел бы ее видеть, а, может быть, и «сделать» в XXI столетии? Да и есть ли у него вообще устойчивая линия в отношении нового российского государства – линия, которая бы просматривалась на протяжении более или менее длительного времени и имела стратегический характер?

* Современная Европа. 2005. №4. С. 5–20.

И если такая линия, такая стратегия есть, то как следует нам – российскому политическому руководству, российскому бизнесу и рядовым россиянам – на нее реагировать?...

Запад: фантом или реальность?

Надо заметить, что в последнее время и в Америке, и в Европе мы все чаще слышим, будто политический Запад, каким он предстал перед миром в середине XX века, – образование искусственное и потому недолговечное: явившись на свет как реакция на враждебность коммунистического Востока, он не переживет исчезновения вчерашнего противника. Это касается прежде всего Соединенных Штатов и Западной Европы. По словам известного английского поэта и исследователя культуры У.Х. Одена, лишь уникальная цепь «духовных явлений XX века» свела их вместе «на короткий миг истории» [2, с. 8]. И вот теперь этот «миг» миновал. «Сегодня Соединенные Штаты и Европа коренным образом отличаются друг от друга, – утверждает видный идеолог американского неоконсерватизма Роберт Кейган. – У Пауэла и Рамсфелда больше общего, чем у Пауэла и министров иностранных дел Франции, Германии или даже Великобритании... при обсуждении основных стратегических и международных вопросов американцы кажутся пришельцами с Марса, а европейцы – с Венеры: они договариваются между собой с большим трудом и понимают друг друга все меньше и меньше» [3, с. 7–8, 10].

Но мало того, что Запад распадается как целостный политический организм. Он идет, говорят нам, к своей гибели. Чарлз Капчан, один из руководителей американского Совета по внешним сношениям, заявляет о приближении «конца американской эры» [4]. Видный республиканец Пэтрик Бьюкенен предрекает «смерть Запада» [5]. Английский политический аналитик Кристофер Коукер пишет о «сумерках Запада» [2]. Его соотечественник историк Тимоти Эш утверждал, что «через 20 лет Запад больше не сможет устанавливать повестку мировой политики так, как он это делает последние 400 лет. Быть может, это и неплохо, но это означает, что сегодня для европейцев и американцев существует последнее «окно возможности», чтобы попытаться распространить в мире то, что они считают общемировыми ценностями» [6].

Эсхатологические настроения в условиях перехода от одних эпох к другим, сопровождающегося множеством неопределенностей и разочарований, – вещь в истории обычная. Так было, например, вскоре после окончания Первой мировой войны. Именно тогда, напомним,

появилась ставшая впоследствии знаменитой книга Освальда Шпенглера «Закат Запада» (в русском переводе – «Закат Европы»), а вслед за ней и ряд других сочинений подобного рода. С тех пор миновало более трех четвертей века. Западный мир не только выжил: в конце 1980-х годов устами Фрэнсиса Фукуямы было объявлено, что история человечества завершилась полной и безоговорочной победой западных ценностей и идеалов. Но прошло десять с небольшим лет, и сегодня снова говорят о распаде Запада и его близкой кончине.

Подобные рассуждения – безусловное свидетельство кризиса западного сознания и той версии западной идентичности, которые начали складываться в 1940-х годах минувшего века и оставались действенными на протяжении всего периода «холодной войны». Но значит ли это, что Запад действительно идет к своей гибели и лет через пятнадцать-двадцать может быть оттеснен Востоком на обочину истории? Думается, эти утверждения не более основательны, чем недавние рассуждения о «конце истории». Другое дело, что Запад вступил в период серьезной трансформации, порождаемой совокупным действием процессов глобализации, поиска новой идентичности и формирования нового мирового порядка. Но трансформацию переживают ныне и Восток, и Север, и Юг. Ее переживает весь мир.

Политический Запад, противостоявший в годы «холодной войны» Востоку во главе с Советским Союзом и включавший в себя некоторые восточные (с географической точки зрения) страны вроде Японии, был системным продуктом. Иначе говоря, он был порождением не только «холодной войны», но всей системы международных отношений, воплощавших ялтинско-потсдамский мировой порядок. Естественно, что распад последнего не мог не затронуть и Запад. Сегодня это уже не столько монолит, сколько конгломерат государств. У него, правда, есть сердцевина – Трансатлантический союз. Но «тело» изборождено заметными и не очень заметными трещинами, некоторые из которых имеют тенденцию к расширению. Это и дает основание говорить о наличии в современном мире нескольких «западов», выступающих на международной арене в качестве более или менее самостоятельных акторов.

Каждому из них нужна – если говорить о целостном видении, включающем нюансы, – своя Россия. Вместе с тем налицо целый ряд представлений о ее современном статусе, состоянии и о политике, которую следовало бы проводить по отношению к ней, разделяемых если и не всеми, то большинством западных стран. Есть и общие интересы, объединяющие США, страны Западной и Восточной Европы, Японию, другие государства в их видении России, которая им нужна. Это и позволяет говорить об общности западного имиджа нашей страны и о «западной стратегии» на российском направлении.

Две стороны одного имиджа

Картина нынешней России, вырисовывающаяся в современном западном сознании, складывается из двух дополняющих друг друга и вместе с тем контрастирующих друг с другом частей.

С одной стороны, Запад констатирует радикальные качественные отличия постсоветской России от Советского Союза, оцениваемые им в общем и целом как позитивные. Главное из этих отличий, не раз отмечавшееся «с чувством глубокого удовлетворения» многими американскими и европейскими политиками и экспертами, заключается в том, что нынешняя Россия не является врагом Запада. Так называемой советской угрозы, которая десятилетиями нависала дамокловым мечом над «свободным миром», больше не существует. Была эта угроза мнимой или реальной, а если реальной, то в какой мере – вопрос, требующий самостоятельного рассмотрения. Факт, однако, остается фактом: США и Западная Европа считали «советскую угрозу» реальной, и это определяло многие черты их поведения на международной арене, в том числе и в отношении СССР. И вот теперь эта угроза исчезла. Именно так и пишет сегодня, выражая доминирующее на Западе мнение, Збигнев Бжезинский: «...советской угрозы больше нет...» [7, с. 123].

Это коренное изменение образа России-наследницы Советского Союза связано как с трансформацией социально-политического и экономического характера российского общества, так и с нынешним международным статусом России, каким его представляет себе Запад. В отличие от СССР, являвшегося супердержавой и отождествлявшегося с империей («империей зла», по словам Рейгана¹⁴⁶), современная Россия не воспринимается многими западными экспертами даже в качестве великой державы. Одни, как, например, тот же З. Бжезинский, характеризуют ее как «державу среднего уровня», другие – как «региональную державу», третьи – как «европейскую державу» и т. п. Впрочем, различия между этими определениями, имеющие порой чисто семантический характер, сути дела не меняют. Не ставя под сомнение статус России как великой державы де-юре (это касается, в частности, ее постоянного членства в СБ ООН), де-факто Запад воспринимает ее – едва ли не единодушно – как политического игрока «средней руки».

¹⁴⁶ Это была не столько политическая, сколько метафизическая оценка: Советский Союз воспринимался христианской Америкой как воплощение зла именно в силу его коммунистической, атеистической природы, находившей воплощение и в проводимой им политике – внутренней и внешней. В метафизическом прочтении нуждается и пущенное в ход Дж. У. Бушем выражение «ось зла».

Гораздо больше споров о значимости и роли этого игрока и особенно о том, какими факторами определяется нынешняя роль России на мировой арене. Одну из позиций недавно «озвучил» бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт. По его словам, «сегодня Россия играет важную роль в мире, но это никак не связано с ее военным, космическим и ядерным потенциалом. Страна, территория которой охватывает 11 часовых поясов, настолько богата полезными ископаемыми, что значение ее в мире трудно переоценить» [8, с. 28].

Подобный подход к оценке роли России представляется односторонним даже многим западным экспертам, которые видят в ней не только «сырьевой придаток» Европы, но и крупную страну, которая в силу ряда присущих ей качеств заставляет считаться с собой остальной мир. Как писал недавно один из специалистов по России Майкл Макфол, «даже после распада Советского Союза Россия остается важной мировой державой» [9, с. 161]. Значимость России, по мнению Макфола, определяется тем, что это «по-прежнему единственная страна в мире, способная нанести ощутимый ядерный удар по Соединенным Штатам»; что от нее во многом зависит нераспространение оружия массового уничтожения; что как постоянный член Совета Безопасности она способна «существенно облегчить или усложнить» попытки США обеспечить продвижение через ООН и другие международные организации жизненно важных для Америки проектов; что как крупнейший мировой производитель и экспортер углеводородов она занимает далеко не последнее место на мировом рынке энергоносителей; что она связана «с Ираном и Северной Кореей, от которых в значительной степени зависит безопасность США»; наконец, что «действия России как регионального гегемона в Евразии способны наносить ущерб или быть полезными американским союзникам в этом регионе» [9, с. 161].

Важно и то, что нынешняя Россия воспринимается как страна, существенно отличающаяся по своей внутренней природе от Советского Союза. При этом особое внимание Запад обращает на следующие три момента.

Во-первых, Россия публично отреклась от социалистической идеи и вступила (повторно) на путь капиталистического развития. И хотя часть (и часть немалая) населения страны с ностальгией вспоминает о советском прошлом, движение по пути «догоняющих» капиталистических преобразований приняло необратимый характер, что, естественно, записывается Западом в актив России.

Во-вторых, она продвигается по пути либеральных преобразований. И хотя последние осуществляются с гораздо большим трудом, чем предполагалось в начале 1990-х, к настоящему времени

Россия превратилась, как официально признано рядом западных экспертных институтов, в «страну с рыночной экономикой» (и, вероятнее всего, станет в ближайшее время членом ВТО).

В-третьих, уже в самом начале своего пути новая Россия объявила о своей приверженности демократическим ценностям. В стране появились органы власти, избранные народом, была принята Конституция, провозгласившая основные права человека, разделение властей и т. д.

Позитивно оценивается Западом и расширение Россией ее контактов с Европой, США, другими странами и регионами не только на уровне государственных и общественных институтов, но и на уровне отдельных граждан и групп; широкое «открытие дверей» для западной культуры (прежде всего массовой) и ряд других явлений, свидетельствующих о движении России в направлении сближения с Западом.

Но есть и другая, негативная сторона образа России, сложившаяся к настоящему времени в Европе и Америке и получившая там (да и не только там) довольно широкое распространение как на массовом уровне, так и среди элит, в том числе политических. Суть этих негативных представлений, при всем их многообразии, может быть суммирована в нескольких словах: Россию отделяет от Запада целая пропасть – экономическая, политическая, культурная. И преодолеть эту пропасть она не спешит даже там, где, как утверждают западные эксперты, могла бы это сделать или, во всяком случае, попытаться сделать.

Да, соглашается Запад, Россия добилась определенных успехов в экономике и политике, свидетельством чего стал ее прием в ряд международных организаций, включая G-8. И тем не менее она «по-прежнему находится в десятилетиях (!) от экономической и политической устойчивости, которые позволили бы ей стать полноценным членом ЕС» [4].

Да, говорят нам, Россия отказалась от попыток (которые все равно были бы безуспешными) воссоздания «советской империи», и тем не менее возрождающиеся «имперские амбиции» России дают о себе знать все отчетливее и отчетливее. Да, она навела мосты с Европой и Америкой, однако делает слишком мало для того, чтобы «возвратиться в семью цивилизованных народов». Многих европейцев и американцев смущают продолжающиеся в России поиски «своего», «особого» пути исторического развития, национальной идеи, русской идеи. В этом они усматривают ее стремление противопоставить себя Западу и свидетельство усиления позиций националистических сил.

Еще больше настораживают Запад предпринимаемые в последние годы российскими властями, и прежде всего нынешним прези-

дентом, шаги по реформированию системы государственного управления. Упреки в отступлении России от демократии в этой области Запад дополняет постоянным (идушим через Совет Европы, ОБСЕ и ряд других организаций, через прессу и заявления отдельных государственных и политических деятелей) напоминанием о систематическом нарушении прав человека в России, особенно в Чечне; о неоправданном усилении вмешательства государства в экономику; об ограничении свободы прессы и т. п. В итоге в последние годы на Западе сложилось и получило довольно широкое распространение представление о чуть ли не принципиальном изменении вектора исторического движения России от демократии к авторитаризму.

«Младший партнер Запада»

Значит ли это, что Запад больше не верит в то, что ему удастся «изменить традиционную схему русской истории» и «сделать» Россию такой, какой он хотел ее видеть десять-двенадцать лет назад? Думается, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. Совершенно очевидно, что какие-то уроки из прошлых своих провалов на поприще переделки России извлекли и Соединенные Штаты и их европейские союзники. Но это касается в основном темпов и методов, а отчасти глубины и радикализма преобразований.

Вместе с тем, судя по высказываниям западных экспертов и политиков, нет оснований сомневаться в том, что и Соединенные Штаты, и НАТО, и Евросоюз, и отдельные страны западного мира будут и впредь прилагать усилия к тому, чтобы придать России тот образ и поставить ее в такое положение, которые бы в максимальной степени отвечали их интересам – групповым и национальным.

Какой же, по их мнению, должна быть «эта страна», чтобы удовлетворять названному требованию? Общий ответ очевиден: максимально приближенной к Западу в социальном, экономическом, политическом, культурном отношении. При этом многие европейские и американские политики и политические аналитики выражают готовность принять вестернизированную (или даже вестернизирующуюся) Россию в сообщество западных государств в качестве партнера. Правда, по вопросу о характере этого партнерства нет единодушия даже в пределах Атлантического союза. Достижение консенсуса осложняется не только различием взглядов на возможные глобальные функции и международный статус России, но и смысловой неопределенностью таких понятий, как «партнерство», «сотрудничество», «союзничество» и т. п. Не-

сколько лет назад бывший американский посол в России Александр Вершбоу назвал Россию и США «почти настоящими союзниками» [10]. О желательности превращения России в «важного торгового партнера и сильного союзника США и Европы» говорят и некоторые западные эксперты [9, с. 168]. Но есть и другое мнение: Россия может быть принята Западом в свои ряды лишь в качестве «младшего партнера». Об этом мало кто решается сказать вслух (за исключением таких любителей резать правду-матку, как Бжезинский), но думают так многие.

Быть «приближенной к Западу» – это прежде всего быть страной с рыночной экономикой, гарантированными гражданскими и политическими правами и ограниченным по своим функциям и масштабу государством. Крупное и сильное государство, являющееся (как это почти всегда бывает в России) чем-то большим, нежели обычный политический институт западного типа, ассоциируется в сознании американцев и европейцев с авторитарным режимом. Отсюда и обвинения в адрес В. Путина, стремящегося к укреплению властной вертикали, в отступлении от демократии в сторону авторитарных методов руководства.

Словом, Запад хотел бы видеть Россию страной либеральной, капиталистической и демократической. И в искренности этого устремления сомневаться не приходится. Курс на содействие построению в России демократического общества вполне вписывается в принятую Вашингтоном еще в конце прошлого века стратегию глобальной демократизации. Считается, что иметь дело с демократическими режимами и их официальными представителями, а тем более договариваться с ними по принципиальным вопросам, легче, чем с представителями других режимов, – даже если с ними поддерживаются союзнические отношения. К тому же современные западные политики, похоже, хорошо усвоили получившую в последние годы распространение теорию, согласно которой демократические страны не воюют друг с другом, и потому глобальная демократизация (обретающая ныне, как утверждают некоторые известные теоретики, характер тенденции [11]) рассматривается как одна из гарантий установления на земле всеобщего мира. Надо ли говорить, сколь значимым представляется в этой связи Западу утверждение либеральных и демократических институтов на просторах России?

Однако демократичность, либеральность и капиталистичность – не самоцель и не главные качества той России, какую Запад хотел бы видеть у себя под боком. Главное для него – сделать Россию безопасной для западного мира. Это легче всего обеспечить, полагают в Вашингтоне и Брюсселе, если бывшая супердер-

жава будет страной демократической, капиталистической, либеральной, да к тому же еще связанной с Европой и Америкой партнерскими отношениями.

Безопасная в военном, политическом и экономическом отношении Россия – голубая мечта Запада. Сегодня история предоставила «цивилизованному миру» шанс, воспользовавшись слабостью своего восточного соседа, поставить его в такие рамки, какие освободили бы наконец этот мир от вечного страха перед такой «чужой», «непонятной», «непредсказуемой», «нецивилизованной» страной, как Россия. Пройдет совсем немного времени – и шанс может быть упущен. Значит, надо «ковать железо, пока горячо». Так или примерно так думают (но очень редко говорят об этом прямо) многие из западных, в первую очередь американских, политиков и аналитиков, голос которых играет не последнюю роль в выработке политики и стратегии Запада в отношении России.

Стратегия на российском направлении

Но как Запад мог бы повлиять на пути дальнейшего развития России и сделать ее такой, какой хотел бы ее видеть? Единства мнений на сей счет у западных политиков и экспертов не было и нет. И трудно ожидать, чтобы оно появилось в ближайшем будущем, особенно в условиях обозначившегося кризиса Европейского Союза и довольно напряженных отношений между некоторыми членами трансатлантического сообщества. И тем не менее есть, как представляется, основания говорить о существовании некой единой стратегической линии Запада в отношении России. Линии, объединяющей не только Соединенные Штаты и Великобританию, но и Францию, ФРГ, другие страны «старой Европы», не говоря уже о бывших «верных друзьях» СССР вроде Польши, Венгрии и т. д. или бывших республиках Прибалтики.

Эта стратегическая линия никогда не провозглашалась с официальных трибун. Она не зафиксирована в открытых документах. В то же время многие западные аналитики, включая тех, кто в прошлом занимал крупные государственные посты, делают порой довольно откровенные заявления, раскрывающие основное содержание стратегического курса трансатлантического сообщества на российском направлении.

В последние год-два, особенно в связи с «цветными революциями» в ряде бывших советских республик, а также некоторыми событиями и процессами внутри самой России, у многих ее граждан стало складываться впечатление, что Запад стремится создать

предпосылки для дестабилизации и максимального ослабления России, либо даже (в перспективе) для ее развала, расчленения и/или превращения в некое подобие своего протектората.

Думается, это ошибочное впечатление. Ни предельное ослабление России, ни тем более ее дезинтеграция не отвечают долгосрочным интересам ни Запада в целом, ни Европы, ни Соединенных Штатов – по крайней мере, в обозримой перспективе – и не входят в число политических задач, которые они намереваются решить. Даже если предположить, что подобные идеи бродят в умах некоторой части зарубежных (в том числе западных) политиков, то и в этом случае последние не могут не отдавать себе отчета в том, что, пока Запад не установит гарантированного эффективного контроля над российскими ядерными арсеналами (чего он упорно добивается, но что представляется проблематичным), дезинтеграция России чревата утратой контроля над этими арсеналами со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями.

Вместе с тем очевидно, что Западу не нужна и очень сильная, самодостаточная (в той мере, в какой вообще можно говорить о самодостаточности наций-государств в наступившую эпоху) Россия, способная конкурировать на равных с Европой и США, а тем более – превзойти их, пусть и в отдаленной перспективе. Одержав победу в глобальном соревновании двух социально-политических систем во главе с двумя ведущими державами мира, Запад стремится увековечить статус-кво в новом мировом порядке и новой геополитической конфигурации, раз и навсегда закрепив свое положение победителя.

Этим политическим дуализмом интересов и определяется, на наш взгляд, стратегический курс Запада в отношении России. Цель этого курса – поставить Россию в такие условия, при которых она не смогла бы возродиться в качестве военно-политического игрока глобального масштаба и значения (супердержавы), способного на равных конкурировать с Западом и тем более – превзойти его. А по возможности – сделать Россию страной, ориентированной на Запад в социальном, политическом, экономическом и культурном отношении, зависимой от него или даже подконтрольной ему. То есть в конечном счете сделать Россию неопасной для Запада.

Для успешного достижения этой цели Западу необходимо решить минимум две задачи (две группы задач). Во-первых, способствовать созданию внутри России таких политических, экономических и культурных условий, которые бы если и не исключили, то минимизировали ее стремление противопоставить себя Западу, а также ограничить возможность осуществления ею такого рывка в экономике, который позволил бы ей со временем обойти Европу и

Америку. Во-вторых, создать внешние условия для решения первой задачи. Продвижение НАТО на восток и приближение блока вплотную к границам России диктовалось не столько военными, сколько геополитическими, политическими и экономическими соображениями: связать ей руки, ограничить пространство маневра на европейской части Евразии и под предлогом борьбы с «новым империализмом» предотвратить любые попытки России заново вовлечь бывших союзников и бывшие союзные республики в сферу своего влияния. Таким образом, стратегия Запада в отношении России складывается из трех взаимосвязанных компонентов, а именно: вовлечения ее (в разных областях – на разную глубину) в западную сферу; ограничения возможностей ее развития и пространства для маневра; и в этих целях – максимально возможного окружения России по периметру ее границ государствами, выступающими в роли форпоста Запада. Говоря коротко, современная стратегия Запада на российском направлении – это стратегия вовлечения, ограничения и окружения.

В последние годы вектор этой стратегии сместился в южном и юго-восточном направлении. Грузинская «революция роз» и украинская «оранжевая революция», спонсировавшиеся, а отчасти и спланированные, как утверждают эксперты, Западом, были направлены в числе прочих, на решение тех же задач, что и продвижение НАТО на восток. «...Как утверждал Збигнев Бжезинский, Россия вместе с Украиной – империя, а без Украины – просто страна. Иными словами, успешно демократизированная и ориентированная на Запад Украина – это хороший стимул и гарантия от попыток России вновь поддаться искушению играть роль империи в отношениях с Европой и Западом» [12, с. 183]¹⁴⁷.

Справедливости ради следует добавить, что и Украина, и Грузия, рвущиеся на Запад, вполне солидарны с последним в нежелании видеть на своих границах сильную, самостоятельную Россию. Не желают ее возрождения в качестве супердержавы (и постараются в меру своих сил и возможностей не допустить этого) и другие страны – крупные и мелкие. И дело тут не только в России. Многие члены мирового сообщества были бы не прочь вообще избавиться от института супердержавности. Но с Америкой они ни-

¹⁴⁷ «Эта мысль, — поясняет автор цитируемой статьи (занимавший в 1997–2000 гг. пост заместителя помощника госсекретаря США по европейским делам — Э.Б.), — особенно важна сегодня, когда на Западе все чаще задаются вопросами, является ли демократический эксперимент в России не совсем удавшимся или вовсе провалившимся и не скатывается ли постепенно Москва к новому виду авторитаризма и неоимпериализма».

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

чего не могут поделаться. А на слабой России можно и отыграться. Другое дело – стремление сориентировать ее однозначно на Запад, а тем более – привязать к нему. Это устраивает далеко не все страны, и потому поддержка ими стратегии «вовлечения» не столь однозначна и велика, как поддержка стратегии «ограничения» и «окружения». Вопрос, однако, в том – и он принципиально важен прежде всего для самой России, – насколько избранная Западом стратегия исторически обоснована, т.е. насколько она соответствует обозначившимся тенденциям мирового развития и можно ли ее радикально изменить.

Опасные тупики конспирологии

Велик соблазн провозгласить проводимую Западом в отношении России стратегию результатом тайного сговора или заговора (инициированного, разумеется, Соединенными Штатами), а сами западные страны – во всяком случае, некоторые из них (опять же во главе с Америкой) – врагами или, если мягче, недоброжелателями России. Однако и тот и другой выводы были бы не только неверными, но и опасными для нее, ибо ориентировали бы на ложную ответную реакцию и неадекватный политический курс в отношении Запада в целом и отдельных его стран в частности.

Подобно тому как у Запада нет никаких оснований считать нынешнюю Россию своим врагом или противником (да он сегодня, слава богу, и не делает этого), так и у нас нет оснований видеть в Западе – берем ли мы его в целом, или по регионам и странам – врага России.

Отсюда, разумеется, вовсе не следует, что между руководителями западных стран не проводятся консультации или не вырабатывается согласованная линия относительно политики на российском направлении. И что Запад не стремится при этом защитить свои интересы – в том числе и в ущерб России. Никто также не даст гарантий, что западные эксперты из разведывательных и военных сообществ не планируют тайные операции, которые так или иначе подрывают позиции России в мире. Но разве не занимаются тем же самым политики, разведчики и военные других стран? Разве не пытаются они отыскать способы защиты своих национальных и региональных интересов – в том числе за счет других стран и регионов? Это обычная борьба между политическими соперниками и хозяйствующими конкурентами, пронизывающая всю историю человечества. И если все договоренности одних стран, затрагивающие интересы их соперников, отождествлять с заговорами (в основе ко-

торых лежат сознательные и целенаправленные подрывные действия), то тогда едва ли не всю историю дипломатии придется квалифицировать как историю заговоров.

Рассматривать стратегию Запада в отношении России как результат заговора – значит вредить самим себе, закрывая глаза на то, что она отражает реальный расклад и соотношение сил на мировой арене, явившиеся итогом долгосрочных тенденций исторического развития. Именно слабость России и сила Запада, действующего в согласии с определенным пониманием своих долгосрочных интересов (закрепить раз и навсегда собственное превосходство), логики исторического развития («время России миновало») и сложившейся политической культурой («победитель получает все!»), позволяют Западу вести себя в отношении России так, как он это делает сегодня.

Дают о себе знать и такие факторы, как давний страх Запада (в первую очередь Европы) перед Россией и желание (его испытывают прежде всего восточноевропейские страны и бывшие прибалтийские республики СССР) отыграться за бывшие обиды, станцевав канкан на трупе убитого льва. Но сказываются и ошибки самой России. Давно известно, что чрезмерные уступки в политике развращают тех, кому уступают, и возбуждают у них повышенные притязания. За время пребывания в Кремле Горбачев сделал столько безответных шагов в сторону Запада, а Ельцин надавал последнему столько необоснованных обещаний и совершил столько опрометчивых поступков, что это не могло не разбудить у вчерашнего противника повышенных аппетитов. Не прошли бесследно и попытки некоторых российских политиков и бизнесменов «кинуть» западных партнеров (что откровенно признавали некоторые из олигархов) и поживиться за чужой счет, как они это делали в отношении соотечественников.

Разумеется, признать ту или иную стратегию объективно обоснованной и отражающей реальное соотношение сил – вовсе не значит легитимизировать ее как необходимую, продуктивную и безальтернативную, а тем более – согласиться с ней. Именно так и обстоит дело со стратегией «окружения и ограничения» России. Она может принести Западу временный успех. Но с точки зрения долгосрочной перспективы она недальновидна и контрпродуктивна.

Нужна ли Западу «веймарская Россия»?

Несколько лет назад бывший министр обороны США У. Перри и его заместитель Э. Картер, анализируя перспективы развития событий на постсоветском пространстве, говорили о необходимости «избежать формирования так называемой «веймарской России», когда

действия бывшего врага, изолированного от окружающего мира, могут развиваться по наихудшему сценарию» [13, с. 59]. Но «веймарский синдром» порождается не только попытками изоляции проигравшей стороны от остального мира, а еще и непродуманными попытками загнать ее своей жесткой политикой в угол, лишив, говоря словами тех же авторов, «достойного места в мире» [13, с. 30].

Стратегия «окружения и ограничения» – это «веймарская» стратегия, и она обречена на неизбежное противодействие со стороны России. Последняя просто не сможет отказаться – если, конечно, не пойдет по пути политического самоубийства – от ориентации на воссоздание сильного (но при этом совсем не обязательно громоздкого, авторитарного, диктаторского) государства. На этот путь ее подталкивает не столько даже традиция, сколько жизненная необходимость.

Россия ни при каких обстоятельствах не станет – какой бы ее аспект мы ни взяли – стопроцентно западной страной: пока она существует, русский государственный орел не потеряет своей «азиатской» головы. Это, кстати сказать, понимают и серьезные западные аналитики, вроде Генри Киссинджера.

Очевидно и другое: Россия будет всячески противодействовать – насколько это позволят силы – установлению господства Запада над Евразией и стремиться выступать в роли интегратора (в рамках СНГ или каких-то иных международных структур) по крайней мере части бывшего советского пространства. И это не проявление пресловутых имперских амбиций, каких у России сегодня, слава богу, нет и быть не должно, а условие ее выживания в качестве суверенной и великой державы, каковой она все еще остается.

Не примирится Россия и с ролью «младшего партнера» Запада, пусть даже обстоятельства будут вынуждать ее де-факто пребывать на протяжении некоторого времени в этой роли, а какие-то из российских политических элит – проявлять готовность признать последнюю.

Наконец, Россия не согласится со статусом «средней» или «региональной» державы, хотя, по всей видимости, не будет, отдавая себе отчет в несостоятельности этой идеи, предпринимать усилий для того, чтобы вернуть себе роль супердержавы.

Добрые соседи, равные партнеры

Само собой разумеется, что официальный Запад – будь он представлен Брюсселем или Вашингтоном – не признается в проведении, как, впрочем, и в самом наличии стратегии «окружения и ограничения» России. Тем более что ее, скорее всего, не существует в виде не-

коего тщательно разработанного, положенного на бумагу, согласованного плана. Соответствующим образом следовало бы, видимо, реагировать и России, для которой подобная стратегия не новость: бывали и похуже времена, когда Запад хотел «удушить в колыбели» только что народившуюся советскую власть (о чем тогда, впрочем, говорил открыто). Но сегодня на дворе XXI век, и нынешняя Россия хотя и не выздоровела до конца, обладает достаточными возможностями, чтобы спокойно¹⁴⁸, без ажиотажа, без антизападной истерии наращивать свой экономический потенциал; стабилизировать государство, не забывая при этом о гражданском обществе и о человеке; укреплять безопасность и развивать отношения со всеми членами международного сообщества, включая западные страны. Тем более что, даже придерживаясь стратегии «окружения и ограничения», Запад вынужден проводить политику сотрудничества, партнерства, а где-то даже и союзничества с Россией – политику, объективно идущую вразрез с принятым им стратегическим курсом.

Отгораживаться от Запада было бы для России смерти подобно. И потому, что это противоречило бы объективным мегатрендам исторического развития. И потому, что Запад нужен России. Нужен как экономический партнер. Нужен как политический контрагент, партнер, а где-то и союзник. Нужен как культурно-цивилизационная модель, которую не обязательно во всем копировать, но с которой полезно по меньшей мере сверять свои собственные модели и планы. А еще Запад полезен нам как своеобразный стимулятор. Старая пословица «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», к сожалению, приложима и к новой России: нам вечно нужен какой-нибудь «гром» (чтобы не сказать «шило»), который бы заставил «встать с печи» (нередко с большим опозданием), осенить себя крестным знамением и взяться за дело. Политика Запада для нас – такой «гром», нередко неприятный, однако порой полезный.

Так что укрепление связей России с Евросоюзом и отдельными европейскими государствами, с Соединенными Штатами Америки, с НАТО, другими западными игроками – веление времени. Но строить отношения с Западом нашей стране следовало бы в соответствии с собственной внешнеполитической стратегией, которая пока еще остается, мягко говоря, невнятной, но суть которой представляется очевидной – обеспечение внешних условий для внутреннего

¹⁴⁸ Российское руководство делает совершенно правильно, что не пускается в публичные рассуждения о стратегии Запада, хотя внимательное прочтение некоторых высказываний официальных лиц, включая президента (особенно его заявления после трагедии в Беслане), ясно показывают, что в Кремле отдают себе отчет в происходящем.

развития России. Разумеется, с учетом достаточно глубокой временной перспективы и конкретных пространственных дифференциаций. Было бы несправедливо, если бы любители политических полонезов, проводящие недружественную политику в отношении России, встречали со стороны Москвы такой же прием, как и официальные представители нынешних Берлина и Парижа.

Запад нужен России, но и Россия нужна Западу, в том числе – а может быть, прежде всего – Соединенным Штатам Америки: «парадокс силы» последних, по выражению известного заокеанского политического аналитика и бывшего помощника министра обороны США Джозефа Ная-мл., заключается в том, что, обладая колоссальными возможностями, они не в состоянии самостоятельно, без сотрудничества с другими странами, включая Россию, решить ни одной крупной проблемы современности.

Первой из таких проблем сегодня называют проблему терроризма. Это действительно глобальная и, судя по многим признакам, долгосрочная опасность, хотя, как справедливо отмечает ряд аналитиков, место международного терроризма на шкале глобальных стратегических опасностей завышено. И тем не менее это серьезная опасность, с которой Западу не справиться без России, что, впрочем, он и сам открыто признает.

Невозможно решить без России и проблему предотвращения ядерных войн – локальных и глобальных – и нераспространения оружия массового уничтожения. Это Запад тоже признает, порой пытаясь при этом, правда, превратить обсуждение путей решения этой проблемы в торг, направленный на обеспечение собственных интересов – экономических и политических.

Все большую актуальность приобретает в последние годы проблема поддержания глобального и регионального сырьевого баланса. Яркое тому подтверждение – динамика конъюнктуры на мировых рынках энергоносителей, большие запасы которых делают Россию одним из главных игроков на этом поле. Нефть и газ давно уже стали фактором не только экономической, но и политической безопасности. И роль этой их функции будет, по всей видимости, возрастать.

Не менее важной в условиях глобализирующегося мира оказывается проблема поддержания глобального и регионального политического баланса. В силу исключительного сочетания ее геополитического положения, цивилизационного многообразия (выступающего при этом в органически единой форме), исторического опыта, природно-ресурсного богатства и значительного силового потенциала Россия могла бы выступить в роли (отвечающего интересам Запада) уникального стабилизатора международных

отношений. Причем одновременно по нескольким линиям (направлениям), которые способны в определенных (вполне реальных) ситуациях стать линиями международной напряженности, конфликтов и разломов.

Во-первых, по линии Восток-Запад (атлантистско-тихоокеанское направление). Россия не только единственная крупная страна, расположенная в Европе и Азии, но и единственная страна, соседствующая одновременно с европейскими странами, Китаем и Америкой, соединяющая их и имеющая с ними тесные отношения, а значит, способная выступить при необходимости в роли своеобразного «модератора», «посредника», «балансира» и т. п.

Во-вторых, Россия могла бы, будучи страной не только северной (европейской) и южной (азиатской), но также христианской и мусульманской, выступить в роли стабилизатора международных отношений по линии Север-Юг, разделяющей страны, входящие и не входящие в «золотой миллиард».

И последнее. Хотя трансатлантический союз занимает сегодня прочное положение в мире и играет весьма существенную роль в мировой политике, в последние полтора десятилетия наблюдаются, по выражению одного отечественного исследователя, «спазмы аккомодации» во взаимодействии Европы и США» [14, с. 215]. А в перспективе, по мере того как Евросоюз будет набирать силу, а США – терять ее, возможно обострение противоречий и возникновение конфликтов между ними. В этих условиях Россия, хотя она и не является ни членом ЕС, ни членом НАТО (а может быть, именно по этой причине) могла бы выступить в роли силы, смягчающей противоречия между Европой и США и тем самым если и не гарантирующей внутриатлантический баланс, то вносящей существенный вклад в его обеспечение.

* * *

Таковы некоторые из проблем, решение которых является необходимым условием выживания человечества и поддержания качества его жизни на достойном уровне, где Россия могла бы внести более или менее существенный вклад. Но выполнить эту функцию она сможет лишь при условии, что сама будет обладать необходимыми качествами.

Речь идет о стране демократической, свободной, экономически развитой и эффективно управляемой. О стране целостной при всем своем внутреннем многообразии и единой. О стране, уверенной в себе, чувствующей себя в безопасности, не испытывающей ощущения ущемленности в интересах и правах во взаимодействии с другими мировыми игроками. А в итоге – о стране стабильной, способ-

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

ной полностью контролировать внутреннюю ситуацию и обеспечивать осуществление избранного внешнеполитического курса. Именно такая Россия нужна ее гражданам. Но такая России нужна, по большому счету, и Западу.

1. Коэн С. Провал крестового похода. США и трагедия посткоммунистической России. М., 2001.
2. Коукер К. Сумерки Запада. М., 2000.
3. Кейган Р. О рае и силе. М., 2004.
4. Kupchan Ch. The End of American Era. N.Y., 2004.
5. Buchanan P. The Death of the West. N.Y., 2002.
6. The Washington Times. 2005. Feb.7.
7. Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2004.
8. Шмидт Г. Бремя глобальной ответственности // Россия в глобальной политике. 2002. № 1.
9. Макфол М. Новый разговор с Россией // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 5.
10. Вершбоу А. Почти настоящие союзники // Независимая газета. 2001. 7 дек.
11. Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. М., 2003.
12. Асмус Р. Украина: путь на Запад // Россия в глобальной политике. 2004. Т. 2. № 5.
13. Картер Э.Б., Перри У.Дж. Превентивная оборона: новая стратегия безопасности США. М., 2003.
14. Троицкий М.А. Трансатлантический союз. М., 2004.

КОНТУРЫ «НОВОЙ ЭРЫ»

Два кануна*

Наступил ли новый век? Начался ли новый миллениум? Двухтысячный год отмечался как *рубежный*. Казалось бы, рубикон перейден, но напряжение тревожно-радостного ожидания, сопровождающее кануны вступления социума в новые пространства и новые времена, не спадает. И это понятно: переживаемый период все еще остается – и будет оставаться по меньшей мере на протяжении ближайшего десятилетия – *пограничным*, а лучше сказать *рубежным*. Периодом, когда в человеке и человечестве раскрывается или приоткрывается многое из того, что уходит вглубь, притупляется, исчезает из вида в середине пути.

Сравнительное исследование начальных и заключительных фаз столетних исторических циклов не только в плане объективных характеристик, но и с точки зрения их восприятия современниками, а значит, и выявления перцептуальных закономерностей пограничного времени, представляет интерес и в социально-психологическом, и в эстетическом, и в философском планах.

К сожалению, одна из самых интересных форм, используемых и в компаративистике – *de visu et auditu*, – практически исключена из подобного рода исследований. Сравнить на личном опыте кануны хотя бы двух столетий, вплетенных в единую временную цепь, сравнить при равной свежести восприятия и твердости памяти, не дано, увы, никому. Да и массив культурных, в первую очередь письменных памятников, позволяющих с достаточной надежностью сопоставить погранично-временные перцепции, не столь велик, чтобы охватить долгую череду веков. И все-таки можно попытаться, опираясь одновременно на собственный опыт и свидетельства современников и историков, сравнить – пусть и схематично – кануны двух последних столетий. Быть может, это поможет лучше понять природу и свойства таких пока еще слабо изученных феноменов, как пограничное время и порождаемое им пограничное сознание.

* Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох – типы пограничного сознания. Материалы российско-французской конференции. Ч. I. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 22–36.

«Конец века»

Когда весной 1888 г. в Париже была впервые разыграна пьеса Микара и Жювено «Fin de siècle», никому и в голову не могло прийти, что всего через несколько лет ее название – «Конец века», «Конец эпохи» - удивительным образом превратится не только в символ экстравагантной моды, но и устойчивый знак умонастроений, овладевающих в конце XIX – начале XX столетия «просвященной Европой».

Тогда, на рубеже веков, не было надобности объяснять, что именно скрывалось за сакраментальной формулой. Достаточно было просто сказать: поэт *fin de siècle*, искусство *fin de siècle*, и даже человек *fin de siècle* – и все прекрасно понимали, а вернее, чувствовали, что речь идет о чем-то гораздо большем, нежели хронологическая привязка.

Полнее и раньше других смысл этой формулы раскрыл – его имя гремело в те годы и на Западе, и в России – писатель и публицист Макс Нордау, автор напумевшей книги «Вырождение» (1892–1893). «Как ни глупо выражение «Fin de siècle», – писал Нордау, – умственное настроение, которое им характеризуется, действительно существует в руководящих общественных группах. Это настроение чрезвычайно смутное; в нем есть лихорадочная неутолимость и тупое уныние, безотчетный страх и юмор приговоренного к смерти. Преобладающая его черта – чувство гибели, вымирания» [1, с. 24].

Впрочем, Нордау делал немаловажное уточнение, называя *fin de siècle* «междущарствием»; т.е. эпохой, отмеченной, с одной стороны, «смущением властей, беспомощностью лишившихся своих вождей масс, произволом сильных, появлением лжепророков, нарождением временных, но тем более деспотичных властелинов, а с другой – ожиданием «новой эры». Правда, ожиданием смутным, ибо никто не имеет «ни малейшего понятия, откуда она придет и какова будет» [1, с. 26].

Нордау списывал настроения «конца века» на моду и... патологию, видя в современном ему искусстве и поэзии, в настроении «мистиков, символистов, декадентов» и в образе действий их поклонников, в склонностях и вкусах «модного общества» отчетливые признаки «вырождения и патологии».

Совсем иначе воспринимал и объяснял *fin de siècle* такой философски вышколенный ум, как Томас Манн. Для него это был не просто «распад», «декаданс», гибель старой культуры. Манн поставил социальный диагноз болезни. «Вне зависимости от того, какое содержание вкладывали в модное тогда по всей Европе выражение “fin de siècle”, – вспоминал он в “Моем времени”, – считалось ли, что это неокатолицизм или демонизм, интеллектуаль-

ное преступление или упадочная свехутонченность нервного опьянения, ясно было, во всяком случае, одно: это была формула близкого конца, “сверхмодная” и несколько претенциозная формула, выражавшая чувство гибели определенной эпохи, а именно “буржуазной эпохи”.

Так думали не только в Западной Европе, но и в России¹⁴⁹. Тем более что русское общество, его интеллектуальная элита воспринимали «конец эпохи» как собственную боль, что и нашло отражение в литературе и искусстве пограничных десятилетий. Причем не столько даже в модерне, запечатлевшем дух времени изнутри, сколько в творениях художников, наблюдавших «процесс» со стороны. Первым в этом ряду стоит человек, который был очень далек от «людей конца эпохи», открыто издевался над автором «Вырождения» («таких свистунов, как Макс Нордау, я читаю просто с отвращением») и, кажется, никогда не был замечен критикой в пристрастиях к модерну. Это Чехов. Его «Вишневый сад» может быть адекватно прочитан только в контексте *fin de siècle*. Больше того, в этой «комедии», как Чехов назвал свою пьесу, психология и жизненная позиция несчастных обывателей, живущих на стыке времен, в эпоху распада традиционных ценностей, воспроизведены с такой силой, которую не найти ни в одном модернистском шедевре.

Глубокое внутреннее единство кризисов, поразивших на рубеже столетий Россию и Западную Европу, ощущалось в то время представителями разных политических и идейных направлений — от социалистов до монархистов. «Прошрое столетие приближалось к своему окончанию с твердой уверенностью в наступлении светлой эры Разума, — писал Лев Тихомиров. — Ее осуществление оно завещало в XIX в. Но вот наш век подходит к концу в состоянии какого-то нравственного банкротства. Со всех сторон слышишь выражения “*fin de siècle*”, “*fin d’un monde*”, “декадентство”, “вырождение”. Печальные венки на еще не зарытую могилу века, вступившего в историю с такими пышными и самоуверенными надеждами!..

¹⁴⁹ «Потеряв веру и уважение ко всему существенному — во что другое уверовал человек конца XIX века? — спрашивал в 1893 г. со страниц “Русского обозрения” известный публицист и критик Лев Тихомиров. — Еще недавно он указывал на идею социализма, да и теперь, по господствующему сознанию, будущее считается принадлежащим социализму. Но эта перспектива уже представляется только *неизбежной*, а вовсе не светлой и радостной» [2, с. 410]. Следует подчеркнуть, что отрицательное отношение русского публициста к социализму, разделявшееся многими его современниками, не меняло сути прогноза: «конец века» неизбежно завершится приходом социализма.

Об этих *fin de siècle*, декадентстве, вырождении толкуют и у нас... Все это может показаться отчасти простой болтовней. Европа “вырождается”, нельзя же нам отставать от века! Русский мальчик, подражая “большим”, закуривает декадентскую папироску, в которой даже и вкуса по-настоящему не разберет. К сожалению, с таким взглядом трудно согласиться. В иных отношениях мы, пожалуй, перецегаляем старушку Европу по части этого “вырождения”» [2, с. 408].

В самом деле, российский *fin de siècle* при всей его национальной специфике и особенностях восприятия культурной элитой происходящих в стране кризисных процессов вовсе не был случайным отражением настроений, царивших в Париже или Берлине. Тогда, на рубеже веков, отечественная интеллигенция, буржуазия, дворянство были тысячами нитей связаны с Европой, а сама Россия и западноевропейский мир составляли (как принято теперь говорить) единое культурно-политическое пространство. И это единое пространство порождало не только *единое восприятие времени*, но и *единую по сути модель восприятия мира*, вполне гармонизировавшую с русской эсхатологической традицией. Органической частью этой модели было и ожидание – со страхом и надеждой – очистительного революционного вихря, в котором многим виделся апофеоз «конца века».

Вообще надо заметить, что революционные, утопические и эсхатологические ожидания часто идут рука об руку. Так было, кстати сказать, и накануне Великой французской революции. Это только «пост фестум», когда появилась возможность взглянуть на французскую революцию с новых, отдаленных точек временного потока, стало казаться – и то далеко не всем – что тот канун был овеян исключительно или преимущественно рационалистическим духом. На самом деле все революции – и Франция здесь не была исключением – порождают и великие ожидания, и великие разочарования и страдания, сопровождаемые массовыми апокалиптическими настроениями. Тем более, когда революции совершаются вблизи границ смены веков. Возвестив через своих вождей и сторонников наступление «светлой эры разума», французская революция устами ее противников и жертв объявила о гибели «освященного божественной властью порядка» и порожденных им ценностей. Для этих людей переживаемая ими эпоха тоже была не чем иным, как «концом эпохи», «концом мира», «концом жизни». 100 лет спустя история повторилась: не по фактам – по перцептуальной оптике.

«Конец истории»

XX век, этот «век-волкодав», по определению поэта, чуткого к «шуму времени», мало походил на своего предшественника. Два столетия отличались друг от друга и по содержанию политических событий, и по динамике социального развития, и по характеру господствовавших идейных концепций и художественных течений, и по составу действовавших на исторической арене факторов, да и по многим другим параметрам. Но разительнее всего – по общим историческим итогам.

Свершив научно-техническую революцию, современное человечество добилося успехов, о каких 100 лет назад не могло даже мечтать. Повысился средний жизненный уровень населения планеты. Увеличилась продолжительность жизни. Разительные перемены произошли в области культуры и образования, в сфере межличностных и межнациональных коммуникаций, а в конечном свете и в жизненном укладе огромной части населения Земли...

Казалось бы, кануны XX и XXI вв. тоже должны были принципиально отличаться друг от друга по своей социально-перцептуальной доминанте и представлениям о перспективах развития, основанным на опыте, накопленном человечеством за последние 100 лет. Но нет. Завершающая фаза нынешнего столетия пронизана все тем же *эсхатологическим духом*, все таким же обостренным ощущением близкого конца. Однако если прошлое столетие угасало, как казалось тогда, под знаком гибели буржуазной эпохи, то нынешнее завершает свой путь в истории под знаком гибели коммунизма, а в радикальном варианте – еще и под знаком гибели России как великой державы, способной соперничать на равных с атлантическим миром и оказывать существенное влияние на развитие всемирной истории. Словом, то, что 100 лет назад выглядело обреченным на гибель, возродилось к новой жизни, а то, что казалось набирающим жизненную силу, испустило дух¹⁵⁰. На этом «ди-

¹⁵⁰ Любопытно сравнить картину с иным – акварельным – изображением «смерти века». «Я помню хорошо глухие годы России – девяностые годы, их медленное сползание, их болезненное спокойствие, их глубокий провинциализм – тихую заводи: последнее убежище умирающего века. За утренним чаем разговоры о Дрейфусе, имена полковников Эстергази и Пикара, туманные споры о какой-то «Крейцеровой сонате» и смену дирижеров за высоким пультом стеклянного Павловского вокзала, казавшуюся мне сменой династий... девяностые годы слагаются в моем представлении из картин, разорванных, но внутренне связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни» [3, с. 45]. Легко заметить, что, являя собой зеркальные отражения один другого, кануны XX и

алектическом» фоне и рождается новая эсхатологическая идея, далеко превосходящая по своей радикальности то, о чем говорили Макс Нордау и его единомышленники.

В самом деле, при всей тяжести обвинений, которые автор «Вырождения» бросал в адрес Франции и других европейских стран, он говорил лишь о *конце определенной исторической эпохи*. За ней, по мысли Нордау, неминуемо должна была последовать другая эпоха, переводящая исторический процесс в новое русло¹⁵¹. Теперь же, в канун нового столетия и тысячелетия, на всеобщее обсуждение был выставлен тезис о возможности реализации старой гегелевской идеи (поставленной немецким мыслителем в чисто логическом плане) о *завершении человеческой истории как таковой*.

«То, чему мы, вероятно, свидетели, — не просто конец «холодной войны» или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления. Это не означает, что в дальнейшем никаких событий происходить не будет и страницы ежегодных обзоров “Форин афферс” по международным отношениям будут пустовать, — ведь либерализм победил пока только в сфере идей, сознания; в реальном, материальном мире до победы еще далеко. Однако имеются серьезные основания считать, что именно этот, идеальный мир определит в конечном счете мир материальный» [4, с. 291]. Так писал в своей известной статье американский социолог Фрэнсис Фукуяма. И хотя вскоре стало очевидным, что ее автор поторопился с выводами, это не меняло сути дела.

Мысль о том, что человеческая история рано или поздно подойдет к финальной черте, повторяли в XX в. не раз. Об этом говорил, в частности, Н.Бердяев, много размышлявший о проблемах эсхатологии. Смысл истории, утверждал он, «лежит за ее пределами и предполагает ее конец. История имеет смысл потому, что она кончается. История, не имеющая конца, была бы бесконечна. Бес-

XXI вв. в семиотическом плане соотносятся друг с другом как «левая» и «правая» стороны предмета. Имеется в виду, что во многих культурах сложились устойчивые, восходящие к древним мифологиям, представления о «левом» как чем-то адском (ад — слева, рай — справа), дьявольском, и далее — радикальном, оппозиционном и т.п.; и «правом» — как умеренном, консервативном и пр. В самом деле, не только канун, но и значительная часть XX столетия прошла под антибуржуазными, бунтарскими, радикальными знаменами. И в этом смысле оно было, несомненно, «левым» столетием, которое на исходе неожиданно переросло в собственную противоположность. Так что новый, XXI век начался под звуки «правого марша». Банальная (она же классическая) бинарная оппозиция — налицо.

¹⁵¹ «Целый период истории, видимо, приходит к концу и начинается новый» [1, с. 36].

конечный процесс бессмыслен. Поэтому настоящая философия есть философия истории эсхатологическая, есть понимание исторического процесса в свете конца, и в ней есть элемент профетический» [5, с. 286–287].

Не вступая в полемику с Бердяевым, отметим лишь то, что имеет прямое отношение к рассматриваемой проблеме: русский мыслитель, как и Гегель, ставил вопрос о конце истории в теоретическом, абстрактном плане. Он говорил о принципиальной возможности такого конца. Фукуяма перевел проблему из абстрактно-философского в конкретно-социологический план: час пробил, возможность стала реальностью¹⁵².

Очевидно, ни сам Бердяев, ни мыслители далеких от него 60–70-х годов XX в. не могли в таком плане поставить вопрос, не рискуя репутацией серьезных аналитиков и здравомыслящих людей. Иное дело – ситуация кануна нового века и нового тысячелетия. Она оказалась благоприятной не только для безнаказанного проявления эсхатологической смелости а ля Фукуяма, но и – что не менее показательно – для вполне серьезного, пусть и с элементами легкой укоризны, академического обсуждения вопроса, который в иные времена мог вызывать у представителей научной общины лишь саркастическую усмешку.

Возникает невольный вопрос: а не являемся ли мы свидетелями попыток – пока еще неудачных и наивных – сформулировать *новую парадигму глобального финализма*, которая могла бы послужить современным ответом на дискредитировавшую себя в XX в. классическую идею социального, политического и культурного прогресса? Тем более что утверждение Фукуямы отнюдь не было пронизано апокалиптическими настроениями. Напротив, оно звучало вполне оптимистично: История окончена – начинается Жизнь. Почти по Марксу, у которого история завершается (та же гегелевская основа) полной победой коммунизма во всемирном масштабе.

К сказанному стоит добавить, что на протяжении всей второй половины XX в. – и чем ближе к его завершению, тем отчетливее – в социально-политической мысли прослеживается финалистский

¹⁵² Любопытно, что представление о текущем времени как моменте, когда можно если и не привести, то хотя бы попытаться привести мир или большую его часть, включая Россию, к общему социально-политическому «знаменателю» и положить конец двухполюсному миру и соперничеству двух супердержав, под знаком которого прошли последние десятилетия XX в., разделяют и некоторые западные политики. Речь идет, разумеется, о либерально-демократическом «знаменателе» в его атлантическом варианте.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

подход ко многим социальным, экономическим, идеологическим процессам, в том числе и таким, возможность завершения которых в обозримой перспективе не подкреплялась весомыми доводами.

Сначала, на фоне завораживающих успехов НТР был выдвинут тезис (Д. Белл и др.) о *«конце идеологии»* и вытекающем отсюда завершении или, по крайней мере, существенном смягчении идеологического противоборства между Востоком и Западом. Позднее, в контексте выступлений «новых левых» был сформулирован тезис о *«конце утопии»* (Г.Маркузе и др.) как возможности реализовать в условиях постиндустриального мира едва ли не любой проект, отвергаемый истеблишментом как утопический. Широкое распространение получает «теория конвергенции», являющаяся по сути своей не чем иным, как теорией *конца противоборства капитализма и социализма*. Одновременно ставится (советскими обществоведами и политиками) задача *завершения строительства коммунизма* в СССР, а позднее, уже в годы перестройки, задача *«устранения войн из жизни общества»* и *«всеобщего и полного разоружения»*. Это был мощный финалистский аккорд, выдержанный в оптимистическом духе и, кажется, не имевший прецедентов в предшествующей истории.

Но канун ХХІ в. отмечен и отчетливым усилением алармистских настроений, приобретающих порой ярко выраженную эсхатологическую окраску с апокалиптическим оттенком. Алармизм, надо заметить, вообще становится во второй половине столетия одним из постоянных мотивов социально-политических проектов и концепций. Таков был прямой результат попыток – далеко не всегда успешных – осмыслить и решить обрушившиеся на человечество проблемы, в первую очередь глобальные. Такие, как предотвращение мировой термоядерной войны, защита окружающей среды, рост народонаселения, предотвращение голода и др. Особенно острое и тревожное звучание мотивы угрозы существованию человечества приобретают в 90-е годы. Свидетельством тому – появляющиеся в эти годы книги, статьи, интервью западных авторов, успевших снискать мировую известность и потому говорящих не только то, что они хотели бы поведать миру, но и то, что хотела бы от них услышать публика и что, следовательно, уже заложено в той или иной форме в массовом сознании.

Речь идет, в частности, об Одвине Тоффлере, авторе «Футурошока» и «Третьей волны», выступившем затем с книгой «Эра смещения власти», в которой он прогнозирует «дальнейшее усиление и распространение факторов, вызывающих потрясения власти на всех уровнях человеческого общества» [6, с. 333]. Примечательно, что в отличие от большинства западных авторов, рассматривающих мир, складывающийся после распада мирового социализма как исключительно благоприятный для Америки, Тоффлер полагает, что последняя

может столкнуться в не такой уж далекой перспективе с рядом серьезных проблем, связанных не столько даже с экономикой, сколько с «неспособностью США по-новому решить этнические вопросы» [7].

Бьет тревогу и известный американский политолог Сэмюэль Хантингтон. В программной статье «Столкновение цивилизаций?», вызвавшей не меньший резонанс, чем работа Фукуямы, он рассматривает грядущий мир как арену жестокого столкновения западной, конфуцианской, японской, исламской, православно-славянской и африканской цивилизаций – столкновения, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств способно поставить человечество на грань катастрофы [8].

Тревогой проникнута и новая книга историка Пола Кеннеди «Готовясь к двадцать первому веку» (русский перевод: «Вступая в двадцать первый век»), Как пишет, обобщая ее выводы, российский историк В. Соргин, «главный нерв мирового развития в ближайшие десятилетия, согласно Кеннеди, заключается в углубляющемся конфликте между объективными потребностями интенсивной модернизации большинства современных государств и быстро истощающимися возможностями планеты Земля удовлетворить эти потребности. И если не будут найдены эффективные способы разрешения данного конфликта, то человеческую историю ожидает конец, но, увы, не счастливый, как декларировал Фукуяма, а трагический» [9, с. 7].

Императивы перцептуального времени

Совершенно очевидно, что эсхатологические перцепции и настроения, обостряющиеся и усиливающиеся в канун смены столетий, провоцируются в той или иной степени материальными и духовными процессами, завершение которых совпадает с этими канунами. Свежие тому примеры – окончание «холодной войны», крушение мировой социалистической системы, распад Советского Союза и ряд других глобальных по масштабам и значению процессов, конечные границы которых пришлись на последние годы XX столетия.

Но как объяснить тот факт, что и в XIX, и в XX в. – при всех существенных различиях между ними – массовый рост эсхатологических настроений совпадал с канунами новых столетий? Почему вообще приближение «круглых дат» и других временных границ, рассматриваемых человеком как рубежные (сакральные), порождает у него, независимо от характера событий, сопровождающих эти даты и границы, эсхатологические ожидания?

По всей видимости, искать причину, – по крайней мере, одну из причин – этого явления следует в особенностях восприятия совре-

менным человеком исторического времени. Как это было показано Б. Расселом и другими исследователями [10], существует различие между реальным (событийным) и *перцептуальным временем*, абстрагируемым от реальных событий. Перцептуальное время обладает способностью оказывать воздействие на человека, его восприятие окружающего мира и его поведение независимо от того, как течение этого времени соотносится с ходом реальных событий и процессов.

Конечно, перцептуальное время – явление сравнительно новое в истории культуры. Для человека варварской эпохи, напоминает А.Я. Гуревич, время есть «нечто совершенно иное, нежели для нас: это не форма существования мира, абстрагированная от вещей, а конкретная предметная стихия... Время и пространство в восприятии варварства – не априорные понятия, существующие вне и до опыта, они даны лишь в самом опыте и составляют его неотъемлемую часть, которую невозможно выделить из жизненной ткани» [11, с. 111].

Однако по мере перехода от аграрного общества к индустриальному и от него – к постиндустриальному, информационному обществу происходит все большее абстрагирование времени от мира конкретных вещей и процессов. При этом детерминирующая роль перцептуального времени возрастает. Это относится и к такой его разновидности, оформившейся в последнее десятилетие XX в., как *виртуальное время*. Родившееся в компьютерном мире на базе современной электроники и видеотехники, виртуальное время, конечно же, остается человеческим временем, связанным через цепь опосредований с реальным (физическим) временем или тем, что может быть отождествлено с ним. Однако отрыв виртуального времени от последнего столь велик, чтобы о нем уже сегодня можно было говорить как о новом, самостоятельном выражении «априорных форм чувственности и рассудка». А это значит, что мы все в большей мере воспринимаем мир и строим жизнь, подчиняясь не только императивам реальных процессов, но также императивам воображаемого мира, включая виртуальный хронотоп.

Все это имеет прямое отношение и к внутренней организации временного потока. Хорошо известно, сколь велико влияние на жизнь человека, его психику и поведение естественных временных циклов, в которые он погружен. Как замечает Ю.М. Лотман, «константы вращения земли (движения солнца по небосклону), движения небесных светил, временных природных циклов оказывают непосредственное влияние на то, как человек моделирует мир в своем сознании» [12, с. 176]. Не меньшее детерминирующее воздействие оказывают на человека искусственные («культурные») циклы, создаваемые им под влиянием, а отчасти и в подражание естественным циклам.

Временные циклы задают ритм и темп как жизни отдельного человека, так и, синхронизируя поведение миллионов, жизни целых народов и человечества в целом. Они оформляют повторяющиеся периоды, в рамках которых люди планируют свои действия и/или с которыми их соотносят. Больше того, человек непроизвольно стремится – к этому его приучила принудительная сила природных явлений – «уложить» свои деяния в рамки «культурных» циклов, совместить начала и концы этих деяний с началами (верхняя граница, «вдох») и концами (нижняя граница, «выдох») циклических ритмов – в том числе вековых.

Век – самый крупный из циклов, с которым человек соотносит как долгосрочную стратегию деятельности, так и события минувшего. И хотя в интересах повседневной практики он обычно разбивает его на «половины» («вторая половина XIX века», «первая половина XX века» и т.п.), «трети», «четверти», «начала» и «концы», сакральное значение в культуре и сознании «век» приобретает именно как нерасчлененное целое. Этому способствует и широкое использование этого понятия в культурном обиходе, что, впрочем, не лишает его некоей таинственности; и редкая смена столетий; и магия «сотни», относящейся к классу знаков, ориентирующих не только на количественную, но и на качественную оценку; и многозначность слова «век», означающего еще и (по В. Далю) «срок жизни человека или годности предмета», «продолжение земного бытия», «время чего-либо, замечательное чем-либо».

Переход к новому веку – это переход *границы*, отделяющей один век от другого. И это не просто мысленное пересечение тонкой грани, условно разделяющей столетия, длящееся какое-то мгновение – как последний удар курантов в новогоднюю ночь. Для человека гораздо существеннее *длящееся ожидание перехода* из одного времени в другое, психологическая подготовка к пересечению границы, настроенность на новую жизнь. Именно эти ожидания и предчувствия формируют наши психологические установки и оказывают влияние на наше поведение¹⁵³. Поэтому *пограничное время*, столь значимое для человека, – это не столько время непосредственного пребывания на пограничной полосе, сколько время приближения к ней и нахождения поблизости от нее. В этом смысле по-

¹⁵³ Возможно, значимость предвещающего переживания человеком знаковых временных границ имеет экзистенциальную подоплеку. Еще Эпикур говорил, что никто не знает собственной смерти. Но никто не знает и собственного рождения. Одна граница осмысливается и переживается индивидом апостериори, другая – априори, однако в обоих случаях мы ни при каких обстоятельствах не в состоянии вырваться за пределы воображаемого мира.

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

граничное время есть *кануническое время*, способное растягиваться на более или менее длительный срок по обе стороны границы.

Кануническое время формирует и соответствующее – его тоже можно назвать кануническим – сознание, имеющее эсхатологическую (в широком смысле слова) природу. Сознание, воспринимающее реальность сквозь призму Начала и Конца, Бытия и Небытия, Жизни и Смерти. Сознание, режущее ткань реальных событий по живому и строящее картину мира сообразно логике собственного видения и собственных оценок.

Эсхатология и утопия

Что же скрывается за всеми этими периодически повторяющимися формулами близкого «конца», выступающими то в виде смутных предчувствий, то в форме рационализированных футурологических сценариев? Есть ли это тревожная констатация реальных тенденций и вероятных перспектив развития событий, грозящих человечеству гибелью? Или же это – всего лишь порождение канунического сознания, онтологизирующего эсхатологические переживания растерянного субъекта, заброшенного временем в пограничную зону истории?

По всей видимости, и то и другое. Реальная угроза существованию человеческого рода – если ограничиться современной эпохой – налицо. Похоже, впервые в своей истории оно встречает новое столетие и тысячелетие на грани жизни и смерти. В прямом смысле этих слов. Гигантские запасы термоядерного, химического и бактериологического оружия, способного истребить все живое и превратить Землю в пустыню. И непредумышленное (а это страшнее всего) самоуничтожение человечества может произойти в любую секунду. Нет у специалистов сомнений и в том, что алармистские по духу (и охватывающие едва ли не все важнейшие аспекты бытия глобального мира) доклады, представляющиеся на рассмотрение Римского клуба на протяжении последних десятилетий, в большинстве своем фиксируют реальные угрозы, подстерегающие человека на рубеже столетий. Словом, «судный день» может оказаться вполне реальной перспективой.

Вместе с тем из опыта прошлого, в том числе недавнего, известно, что многие апокалиптические предчувствия, получавшие широкое распространение в обществе в пограничных ситуациях, оказывались несостоятельными, а массовые фобии – иллюзорными. Больше того, социальные недуги, казавшиеся в свое время неотвратимо смертельными, успешно преодолевались, открывая перед миром новые гори-

зонты. Так случилось, например, с капитализмом. Подстегиваемый социалистическим конкурентом, он не только выжил, но и создал новые модели (социальное государство) организации общества. А «упадочное» искусство конца XIX – начала XX в. внесло огромный вклад в становление «модерна», без которого трудно представить себе эстетику и художественную жизнь нынешнего столетия.

Равным образом нет никаких гарантий, что многое из того, что сегодня воспринимается кануническим сознанием как мортотенное, действительно окажется таковым в ближайшей или отдаленной перспективе. В самом деле, никто пока не представил убедительных доказательств, что, скажем, существенное снижение темпов прироста народонаселения Земли, благоприятно сказавшись на одних аспектах глобального развития, не отразится отрицательно на других его аспектах; или что конфликты между цивилизациями не дадут нового импульса их взаимному оплодотворению. А кто поручится, что через несколько десятков лет благополучно «похороненный» социализм и «победивший» либерализм не поменяются местами на шкале ценностных и политических приоритетов человечества?.. Одним словом, далеко не все из того, что современное кануническое сознание воспринимает как обреченное на смерть или несущее с собой угрозу гибели мира, действительно является или может стать таковым.

Но есть у эсхатологии и другая ипостась. Финалистские предчувствия и предсказания «конца эпохи», «конца истории» и пр. могут отражать не страх человека – обоснованный или беспочвенный – перед конечным, перед смертью, но неизбывную внутреннюю *устремленность к конечному как трансцендентному и абсолютному*. В такой устремленности, не всегда и не вполне осознаваемой самим ее субъектом, находит проявление стремление *покончить* с реальностью, которая питает страх и вызывает отторжение, и начать Новую Жизнь. Это стремление к Концу во имя нового Начала, усиливающееся и обостряющееся в канунических ситуациях.

Такого рода устремленность присуща каждому человеку и каждому народу. В то же время, как свидетельствует история культуры, есть народы и формируемые ими цивилизации, которым – в силу сложившейся судьбы – дух творческой, амбивалентной по своим потенциалам, эсхатологии присущ в наибольшей мере. Повидимому, в этом ряду стоит и Россия – страна, где независимо от того, какое «у нас тысячелетие на дворе» и в каком политическом режиме функционирует государство, дух устремленности к Концу во имя нового Начала всегда чувствовал себя «дома». «У русских всегда есть жажда иной жизни, иного мира, всегда есть недовольство тем, что есть. Эсхатологическая устремленность принадлежит к структуре русской души» [13. с. 217].

Это Бердяев. И он же: «В России всегда было и всегда будет духовное странничество, всегда была эта устремленность к конечному состоянию. У русской революционной интеллигенции, исповедывавшей в большинстве случаев самую жалкую материалистическую идеологию, казалось бы, не может быть эсхатологии. Но так думают потому, что придают слишком исключительное значение сознательным идеям, которые часто затрагивают лишь поверхность человека. В более глубоком слое, не нашедшем себе выражения и сознания, в русском нигилизме, социализме была эсхатологическая настроенность и напряженность, была обращенность к концу. Речь всегда шла о каком-то совершенном состоянии, которое должно прийти на смену злему, несправедливому, рабьему миру» [13, с. 220].

Тут, разумеется, есть предмет для спора. Но разве не убеждает отечественная история в том, что русские всегда были среди тех народов, которые стремились к *Абсолютному Конечному* и ради него готовы были привести в жертву себя и других? Разве не ради этого Абсолютного Конечного бросали они, словно боясь застрять на полпути, начатое и, не желая (а значит, и не умея) обустроить уже обретенное, устремлялись на поиски и освоение все новых и новых пространств и времен?

Так было и задолго до Октябрьской революции, и после нее. В этой связи уместно заметить, что внутренняя эсхатологическая заряженность во многом объясняет «марксистский выбор», сделанный Россией. Выбор, что бы там ни говорили, вполне логичный. Ведь марксизм был единственный светской социальной доктриной XIX в., глубоко и последовательно пронизанной эсхатологическим духом: он обещал раз и навсегда положить конец человеческим бедам и решить эту проблему во всемирном масштабе.

Ну, а как оценивать апокалиптические прогнозы будущего России, появляющиеся в обилии в последние годы? По большей части – это не столько продукт объективного трезвого анализа, сколько порождение канунического сознания, в котором находят отражение и традиционное стремление к Абсолютному Конечному, и страхи – обоснованные и беспочвенные – перед грядущим. В том числе и страхи целых общественных групп и поколений (нынешняя Россия – стареющее в демографическом отношении общество) перед собственной социальной и физической смертью, проецируемые на весь социум. Естественно, что и отношение к такого рода прогнозам должно быть осторожное, чтобы не сказать, скептическое. Не все так плохо, как мы это себе порой представляем. Или лучше сказать так: не все обязательно окажется таким плохим, каким это видится сегодня пограничному сознанию.

Но не будем забывать и о другом. Мишель Фуко как-то высказался в том духе, что, проследив траекторию жизненного пути, пройденного личностью, можно представить себе, какой окажется оставшаяся часть траектории. Думается, это справедливо и по отношению к народу с многовековой историей. В таком случае на вопрос уставшего от непрерывных жизненных испытаний российского обывателя «Когда же начнем жить по-человечески?» напрашивается единственный ответ. Если «по-человечески» – это с той же упорядоченностью, стабильностью, размеренностью, исторической медлительностью, с какими живут, скажем, в Швеции, Голландии или Швейцарии, то, по всей видимости, – никогда. Эсхатологический дух, сопровождаемый утопическими ожиданиями – порой потаенными – и упованием на Чудо, будет снова и снова гнать Россию на поиски новых Концов и новых Начал. И Россия всегда будет Накануне.

Снова Накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами –
И опять, опять чего-то жду.

Иван Бунин

1. Нордау М. Вырождение. Современные французы. М., 1995.
2. Тихомиров Л.А. Конец века // Лев Тихомиров. Критика демократии. М, 1997.
3. Мандельштам О. Музыка в Павловске // Мандельштам О. Собрание сочинений: В 4 т. / Под ред. Г.П.Струве и Б.А.Филиппова. Т. 2. М., 1991.
4. Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории: Антология. М., 1995.
5. Бердяев Н. Самопознание. М., 1990.
6. Тоффлер О. Эра смещения власти // Философия истории: Антология. М., 1995.
7. Тоффлер О. Америку ждет раскол или единство с азиатским оттенком // Независимая газета. 1994. 7 июня.
8. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. 1994. №1.
9. Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. М., 1997.
10. Рассел Б. Человеческое познание. М., 1957.
11. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.
12. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. М., 1996.
13. Бердяев Н. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990.

Новая эпоха — новый мир*

«Завтра» началось «вчера»

Вот мы и перевернули последний листок календаря за 2000 год. Вот и переступили черту, отделяющую XX век от XXI и второе тысячелетие от третьего. И — ничего не случилось! Небо не упало на землю. Мир не перевернулся. Не было даже массовых сбоев в работе компьютеров, чего так опасались военные.

А, впрочем, нет, неправда, что ничего не случилось. Мир все-таки перевернулся! Точнее сказать, начал грузно и неотвратно переворачиваться, образуя гигантские разломы и пропасти, в которых уже сгнули миллионы людей и целые государства. Обнаружились и катастрофические сбои. Только не в компьютерных сетях, а в общественном сознании и в нашей жизни. Но началось все это не в новогоднюю ночь, а за пять-десять-пятнадцать (разные процессы — разные темпы и точки отсчета) лет до этого. А в некоторых отношениях и того раньше.

Календарные границы вообще никогда не совпадали с границами исторических (социальных, экономических, политических) метаморфоз. Так было много веков назад, когда общественная жизнь текла неспешно и один цикл изменений растягивался на несколько столетий. Так обстоит дело и теперь, когда динамизм мировых процессов резко возрос и за одно столетие общество порой проживает несколько разных, иной раз перечеркивающих одна другую жизней. Нечто подобное случилось в XX столетии с Россией, Германией, Китаем. Завтра это станет уделом всех стран. Так что, несмотря на магию круглых дат и временных пределов, границы фундаментальных мировых сдвигов не совпадают с календарными границами. Поэтому смотреть на последние следует (если это не границы природных циклов) как на архаичные культурные символы, почти лишенные практического смысла. И кто знает, быть может, уже в недалеком будущем человеческую историю станут делить не на столетия, а на другие и притом имеющие неодинаковую временную протяженность периоды. Но это дело будущего. А пока ограничимся простой констатацией: очередная, далеко еще не ясная по большинству параметров трансформация человеческого мира началась еще вчера и закончится не завтра.

Знаковые политические события, знаменовавшие разрушение мира, складывавшегося с середины 40-х по конец 60-х годов XX столетия, протекали у всех на глазах и с чисто внешней стороны были

* Свободная мысль-XXI. 2001. №1. С. 4—13.

ограничены в основном Восточной Европой и Советским Союзом. Началось все с горбачевской «перестройки», которая похоронила советскую политическую систему. Потом «по камешкам, по кирпичикам» разобрали сначала Берлинскую стену, а в конечном счете и весь «социалистический лагерь». Ну а в 1991-м рухнула основная его опора – Советский Союз.

На самом же деле это была лишь видимая (аналитически не вооруженным глазом) часть процесса распада существовавшего мира, причем в завершающей его стадии. Рухнул не только социалистический строй, не только социалистический лагерь – рухнула вся миросистема, весь ялтинский политический порядок. И то был естественный исход: когда разрушается какая-то из подсистем сложной системы, то и последняя претерпевает радикальные, пусть и не драматические по форме, изменения.

Начало этого процесса, резко ускорившегося в середине 80-х (теперь мало кто помнит, что лозунгу «перестройки», выдвинутому новым советским руководством, предшествовал другой лозунг: «ускорение»), восходит к так называемому детанту, или «разрядке», когда «вдруг» выяснилось, что земной мир – один на всех, что его не разрезать, как пирог, на отдельные куски и что слишком долго жить в ожидании возможного ядерного апокалипсиса невозможно. Это и было начало конца...

Конечно, для того чтобы осмыслить и оценить должным образом все происшедшее и происходящее, потребуется некоторая временная и пространственная дистанция. Потребуется время и для того, чтобы понять, что ждет нас впереди, как будет выглядеть грядущий миропорядок, какими окажутся определяющие его черты. Ну а сегодня, как отмечается (не без юмора) в подготовленном Всемирным банком Докладе о мировом развитии 1999/2000 года, «единственное, что можно сказать о будущем с уверенностью, это то, что оно будет отличаться от настоящего» [1, с. 26].

И тем не менее в последние годы было предпринято немало попыток, в том числе и курьезных, очертить абрис социально-политического мира XXI века, обнаружить его фундаментальные, системообразующие черты, выявить генеральные тенденции, определяющие направление исторической эволюции человечества.

Иллюзии «конца истории» и «Pax Americana»

Одним из самых известных предприятий подобного рода, вызвавших шумиху в околонуучных (а отчасти и в научных) кругах, стала концепция наступления «конца истории», выдвинутая аме-

риканским социологом японского происхождения Ф. Фукуямой. С тех пор минуло десять лет, и теперь, кажется, все аналитики сходятся в том, что пресловутый «конец» не прощупывается ни одним аналитическим прибором, что человечеству предстоит еще шагать и шагать, прежде чем оно создаст (если вообще создаст) разумную форму организации государства, являющую высшее воплощение свободы. Ведь только в этом случае по Гегелю (а именно ему, как известно, принадлежит использованная Фукуямой концепция) наступает естественный конец истории, которая, по мысли великого философа, «есть только то, что составляет существенную эпоху в развитии духа» [2, с. 135]. И тем не менее есть резон снова вернуться к рассуждениям Фукуямы, поскольку, как теперь выясняется, они представляли своего рода теоретическую «шифровку» одной ныне очень популярной политической концепции. Но обо всем по порядку.

Сам Гегель, как известно, видел признаки завершения исторического процесса уже в начале XIX века и связывал его с победой идей и идеалов Французской революции. Иное дело Фукуяма: «конец истории» он увязывает с победой идеи либерализма во всемирном масштабе, которой, по его мнению, и было ознаменовано окончание «холодной войны». XX век, писал он, «возвращается теперь, под конец, к тому, с чего начал: не к предсказывавшемуся еще недавно «концу идеологии» или конвергенции капитализма и социализма, а к неоспоримой победе экономического и политического либерализма. Триумф Запада, западной идеи очевиден прежде всего потому, что у либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив» [3, с. 290]. И те, кому довелось жить в конце XX столетия, стали свидетелями последнего исторического события: «универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления» [3, с. 291].

Но где либеральная демократия получила сегодня наиболее широкое и последовательное воплощение? Какая страна служит практическим оплотом либерализма? Конечно, Соединенные Штаты Америки. Так что, следуя логике рассуждений заокеанского философа и социолога, нам следует прийти к естественному заключению: XXI век должен стать, как говорил в свое время политический деятель и издатель Г. Люс (правда, применительно к XX столетию), «Американским веком» (American Century), или, как говорят теперь, веком господства Pax Americana (то есть мира по-американски). Мира, в котором господствуют американские ценности, властвует один настоящий хозяин и существует один социальный, военный и политический «полюс» – Соединенные Штаты Америки. «В процессе глобализации вокруг Америки и под ее вли-

янием, – пишет российский политолог, – формируется ядро новой мировой системы – международное сообщество, разделяющее единые базовые ценности и обладающее высокой степенью общности интересов. По традиции его продолжают называть Западом, хотя по своим географическим границам оно существенно шире: на него ориентируются многие незападные страны, стремящиеся попасть в сообщество» [4, с. 9]. Так полагают, естественно, и очень многие американские политики, политологи, историки, а также их европейские коллеги [5].

Однако есть и совсем иная точка зрения. Как писал, например (еще в начале 90-х годов) такой серьезный аналитик, как И. Валлерстайн, мы находимся ныне «в конце эры гегемонии США в мировой системе. Хотя многие комментаторы провозглашают 1989 год началом Pax Americana, он, напротив, знаменует конец Pax Americana. Годы холодной войны были временем Pax Americana. Теперь холодная война окончена. А вместе с ее концом пришел конец и Pax Americana».

Так или примерно так думают многие аналитики – американские, российские, европейские. Линии их аргументации не всегда совпадают, однако выводы оказываются зачастую близкими по сути. Валлерстайн, к примеру, выводит нечто вроде закона мирового господства. Согласно его концепции, «периоды настоящей гегемонии, когда актуализируется способность державы-гегемона навязывать свою волю и свой «порядок» другим великим державам, не опасаясь серьезных вызовов с их стороны, в истории современной миросистемы сравнительно коротки» [6, с. 179]. Валлерстайн определяет длительность этих периодов примерно в 25–50 лет. Соединенные Штаты, конкретизирует он свою формулу, были гегемоном «в середине XX века». Теперь их гегемонии приходит конец.

Концепция Валлерстайна небесспорна ни с философско-исторической, ни с социологической точек зрения. Но вывод о том, что (при всем нынешнем могуществе США) впереди нас ждет не Pax Americana, а какой-то более сложный, более разнородный мир, представляется достаточно обоснованным. Не будем забывать, что никакая военная и экономическая мощь не способна сама по себе обеспечить обладающей этой мощью державе статус устойчивого мирового гегемона и гарантировать создание миропорядка по ее «чертежам», если это противоречит интересам других держав и если ситуация позволяет последним сделать свободный выбор.

В условиях существования двухполюсного мира страх перед «советской угрозой» цементировал западный блок, заставляя даже такие претендовавшие на самостоятельность государства, как Франция, идти по многим вопросам в фарватере США. Ныне ситу-

ация кардинально изменилась. «Непредсказуемая» Россия, правда, по-прежнему вызывает беспокойство Запада. Однако с распадом Варшавского блока и самого Советского Союза ушел в прошлое и страх перед «советской угрозой». А вместе с ним исчезла и необходимость действовать солидарно с США, поступаясь при этом национальными интересами.

Сегодня ни одна страна, даже столь мощная, как Соединенные Штаты, не способна в одиночку нести на своих плечах бремя мировых проблем. Но у американцев с их диктаторскими замашками, непомерным высокомерием и традиционным смещением интереса в сторону «домашних» проблем нет ни возможности самостоятельно решать «мировые задачи», ни вкуса к согласованному устойчивому взаимодействию. «Американцы нуждаются в партнерах, способных и готовых разделить бремя совместных усилий, но временами от этих партнеров устают и не всегда способны договориться о приемлемых условиях взаимодействия» [4, с. 14].

США, повторю, будут еще в течение какого-то времени оставаться главным центром силы. Но рассчитывать на то, что мировое сообщество XXI века будет представлять собой Pax Americana, – не более реалистично, чем ожидать наступления в ближайшем будущем «конца истории».

Мир без полюсов

Как же все-таки мог бы выглядеть в обозримом будущем формирующийся ныне мир? По словам авторов цитированного выше доклада Всемирного банка, «любой перечень наиболее существенных перемен, которые произойдут в мире в ближайшие десятилетия, в какой-то степени был бы условным» [1, с. 26]. Исходя из этого постулата, я и хотел бы обозначить пунктиром некоторые признаки нарождающегося сообщества, которые представляются и достаточно существенными, и вместе с тем уже в какой-то степени обозначившимися на мировом горизонте.

Первое, о чем, мне кажется, следовало бы сказать, это о том, что грядущий мир не будет – по крайней мере в обозримой перспективе – ни однополюсным, каким он видится многим на Западе, ни многополюсным, каким его желали бы видеть некоторые российские государственные деятели и оппоненты США в других странах.

Военно-политические полюса – это не просто мировые центры силы. Полюса – это мощные контрарные мировые подсистемы, образующие крайние точки глобальной оси, на которой держится (вокруг которой вращается) миросистема. Полюса представляют раз-

ные цивилизации, разные, во многом прямо противоположные, социальные, политические и экономические системы. Они суть воплощение разных, вплоть до взаимоисключающих, идейных и ценностных ориентаций.

Полюса симметричны и соизмеримы по силам и оперативному потенциалу. Это позволяет им уравнивать и сдерживать друг друга, выступая одновременно в качестве гарантов мирового порядка и законодателей правил политической игры, которых вынуждены придерживаться все или почти все акторы, выступающие на мировой политической сцене.

Отношения между полюсами строятся по принципу взаимопритяжения и взаимоотталкивания. Они и нуждаются друг в друге для поддержания внутреннего и внешнего статус-кво, и стремятся устранить друг друга как соперника. Но с уничтожением одного полюса автоматически исчезает и другой, а вместе с ними и весь старый миропорядок.

Именно так и произошло в конце 80-х – начале 90-х годов. Исчезновение полюса, представлявшегося советским блоком с центром в СССР, автоматически привело к исчезновению полярного блока во главе с США. «Капиталистический мир» одержал победу над «социалистическим миром», но при этом перестал существовать как военно-политический полюс.

Ныне многие политики, обеспокоенные неустойчивостью сложившейся в мире ситуации, растерянностью США как бывшего лидера «свободного мира» и их очевидной неспособностью разумно распорядиться своей мощью, ратуют за построение нового миропорядка на многополюсной основе. Но многополюсных миров не бывает: полярные характеристики могут быть присущи лишь двум оппозиционным друг по отношению к другу центрам силы, играющим определяющую роль на данном этапе исторического развития. А то, что обычно именуют «многополюсным» миром, оказывается на поверку не чем иным, как миром многоблоковым, причем ни один из блоков не имеет полярных по отношению к другим характеристик.

Что касается нового двухполюсного мира, то возможность его появления в обозримой перспективе близка к нулю. Ни одна из существующих держав или даже групп держав не в состоянии достойно конкурировать с США одновременно на военном, экономическом, социальном и масс-культурном поприщах. К тому же – и это весьма существенный момент – в современном мире отсутствуют симметричные и более или менее эквивалентные американским глобальные силы, придерживающиеся антилиберальных, антикапиталистических, антидемократических ориентаций.

Двухполюсный мир был при всех своих врожденных пороках более или менее упорядоченным и упорядочивающим миром¹⁵⁴. В его отсутствие упорядочивающим и стабилизирующим фактором могло бы стать относительно устойчивое равновесие между несколькими мировыми центрами силы либо неоспоримое легитимное господство одной из великих держав, что не раз случилось в истории международных отношений. Сегодня нет ни того, ни другого. Это, как показывает история, временное явление. Тем не менее, приходится согласиться с аналитиками, которые утверждают, что мир вступил если не в полосу глобального беспорядка, то уж во всяком случае в полосу глобальной нестабильности. И сколь долго будет сохраняться такое положение вещей, не скажет сегодня никто.

Глобализирующийся мир

Еще одна черта нарождающегося мира, которая признается едва ли не всеми аналитиками, — его глобальный характер. Глобализацию определяют по-разному, фиксируя те или иные аспекты интеграционных процессов, охватывающих практически весь мир и отражающихся на реальном и формальном статусе всех стран и на жизни всех народов Земли. При этом особое внимание обращается на глобализацию информационных и финансовых потоков. Как замечает М. Делягин — один из первых в России исследователей рассматриваемого феномена, глобализация характеризуется такими чертами, как «разрушение административных барьеров между странами, планетарное объединение региональных финансовых рынков, приобретение финансовыми потоками, конкуренцией, информацией и технологиями всеобщего, мирового характера. Важнейшей чертой глобализации является формирование в масштабах всего мира не просто финансового или информационного рынка, но финансово-информационного пространства, в котором во все большей степени осуществляется не только коммерческая, но и вся деятельность человечества» [7, с. 133–134].

¹⁵⁴ Двухполюсный мир не обязательно предполагает военное (в том числе и в «холодной» форме) противоборство между полюсами. «Холодная война» между СССР и США закончилась, на мой взгляд, не с распадом двухполюсного мира, а значительно раньше, когда обе страны пришли к выводу, что уничтожение одной из них неизбежно чревато уничтожением другой. Тогда на смену «холодной войне» пришло активное взаимное противостояние — состояние иного качества, нежели война, будь она «горячей» или «холодной».

Глобализация, начавшаяся, строго говоря, лишь в 90-х годах XX столетия, была «подготовлена» предшествующими процессами (тесно связанными с НТР) – развитием мирохозяйственных связей, ростом взаимозависимости стран и регионов, деятельностью ТНК. Она стала логическим продолжением и в каком-то смысле синтезом этих и некоторых других процессов, протекавших в мире в 70 – 90-х годах. Уже сегодня очевидно, что глобализация способна со временем изменить – причем в некоторых отношениях радикально – не только экономическую, но также политическую, социальную и культурную жизнь планеты. Очевидно и то, что порождаемые ею последствия окажутся неоднозначными.

Глобализация создает материальные предпосылки для преодоления информационного провинциализма и отсталости, появления новых форм образования, оптимизации процесса принятия и реализации управленческих решений во всех сферах деятельности человека и т. п. Кажется, впервые за всю свою историю «человечество», как нечто единое и целостное, обретает материальную плоть. Утверждается даже, что она способствует распространению в мире демократии, тем более что в этом заинтересованы Соединенные Штаты, под «эгидой» которых – такова реальность – протекает сегодня и будет протекать, по всей видимости, еще в течение некоторого времени процесс глобализации.

Но есть и иные стороны процесса, иные прогнозы. Если принять во внимание, что управление информационными и финансовыми потоками составляет прерогативу медиакратии и финансовых группировок (пользующихся, разумеется, услугами профессионалов, численность которых, впрочем, тоже относительно невелика) и что это управление оказывает огромное влияние на политический процесс, то резонно сделать вывод: при сохранении демократических атрибутов реальная власть во многих странах может оказаться в руках сравнительно ограниченных по численности элитных групп, став тем самым, в сущности, авторитарной. Причем не исключено, что центры принятия властных решений могут оказаться за пределами стран, которых эти решения непосредственно касаются.

Есть и другая угроза. Если согласиться с выводами экспертов (в том числе российских), что глобализация в конечном счете «предопределяет полное прекращение или как минимум качественное замедление прогресса (по крайней мере технического) за пределами развитых стран (а со временем – и за пределами наиболее развитых стран), с одной стороны, и необратимую социальную и финансовую деградацию развивающихся стран – с другой» [7, с. 132], то есть все основания охарактеризовать процесс глобализации (это, разумеется, лишь одна из его характеристик) как форму скрытой

реколонизации мира. Иными словами, создания (без возрождения классических колониальных структур) устойчивой системы отношений материального и политического неравенства различных групп стран, позволяющих одним (прежде всего Соединенным Штатам) получать материальные и иные выгоды за счет других.

Конечно, это лишь один из возможных сценариев развития событий, из которого ни в коем случае не вытекает, что человечество должно искать пути «преодоления» процесса глобализации. Последний только взял старт, и вполне возможно, что ход мировых событий переведет его в иное русло. Однако в любом случае нелишне подумать о создании механизмов, способных нейтрализовать или хотя бы ограничить возможные негативные последствия глобализации мира.

Гетерогенный мир

Переход мира к бесполюсной организации не только не исключает, но предполагает существование отдельных центров силы: только они способны отстаивать в борьбе друг с другом частные интересы наций, государств, регионов, транснациональных объединений, других субъектов международных отношений.

Не препятствует появлению таких центров и процесс глобализации. Степень и формы вовлеченности в глобальные информационные, финансовые и иные сети, равно как и социально-политические последствия глобализации, не могут быть равновеликими и равновыгодными для всех стран и регионов. К тому же имеются веские основания полагать, что глобализация будет использоваться (и это уже происходит) Соединенными Штатами и другими передовыми странами, занимающими стратегически выгодное положение в этих сетях, в своих собственных интересах. А это в свою очередь будет порождать противоречия и борьбу между отдельными странами, группами стран, международными объединениями, подталкивая их на путь блоковой консолидации.

Таким образом, становясь более гомогенным в одних отношениях, мир будет в других отношениях оставаться гетерогенным, мозаичным, внутренне разорванным. Высказывается даже точка зрения, что «информационные технологии, эти технологии всеобщей коммуникации и мгновенной связи всего со всеми, парадоксальным образом несут человечеству эпоху многообразной, глубокой и окончательной разделенности, рядом с которой эпоха феодальной раздробленности выглядит праздником международной и межклассовой солидарности» [7, с. 133]. Это, конечно, крайняя точка зрения, которая может и не подтвердиться практикой. Однако тенденция к фрагмента-

ризации мира налицо. А это значит, что классическая формула организации сложных живых систем – «единство в многообразии» – останется, по всей вероятности, истинной и применительно к нарождающемуся миру. В роли центров силы (центров власти) будут, судя по нынешнему развитию событий, выступать отдельные крупные нации-государства, военные, политические и экономические объединения (блоки), транснациональные корпорации и другие международные многосоставные структуры. Сотрудничая и соперничая друг с другом, они в итоге образуют многоуровневую разветвленную систему разномасштабных и разнопрофильных властных структур, одновременно и объединяющих человечество, и разделяющих его.

В этих условиях чрезвычайно остро встанет вопрос о роли, компетенции и даже суверенитете тех наций-государств, которые будут не в состоянии выступать в роли самостоятельных центров силы или играть ключевую роль в международных отношениях. Не исключено и другое: радикальному пересмотру подвергнется само представление и о национальном суверенитете, и о суверенитете как таковом.

Что же касается конкретной конфигурации мировых центров силы, то на этот вопрос сегодня нет однозначного ответа. Единодушие большинства аналитиков проявляется, пожалуй, лишь в том, что Соединенные Штаты рассматриваются либо в качестве главного, либо даже в качестве единственного полноценного центра, у которого не только нет, но и не появится в обозримом будущем достойных соперников.

Есть, разумеется, и альтернативные варианты. Предполагается, в частности, что в качестве «узловых центров» наряду с США могли бы выступить Западная Европа и Япония; что в рамках самой Западной Европы могли бы заявить о себе Германия и Франция; что в не таком уж далеком будущем заговорят в полный голос Китай и Индия и т. д. и т. п.

Какие из множества выдвигаемых вариантов окажутся жизнеспособными – покажет будущее. Но в любом случае не следовало бы забывать о двух вещах. Первое соображение касается России. Рассчитывать на то, что в ближайшие 10–15 лет она восстановит прежний международный статус, нет никаких оснований. Однако Россия остается великой державой, которая могла бы сыграть чрезвычайно важную, возможно, даже ключевую роль в рамках многоцелевого и многосоставного международного союза. Второй момент касается Соединенных Штатов. При всей своей мощи они остаются одной из самых зависимых (в сырьевом, финансовом и некоторых других отношениях) стран мира, а значит, – как ни парадоксально, – одной из самых уязвимых стран, причем эта уязвимость не может компенсироваться военным фактором.

Конвергирующий мир

Распад мировой социалистической системы во главе с Советским Союзом знаменовал победу капиталистического мира. Политическую победу. Однако общественный строй, который существует ныне в большинстве стран Запада, включая и Соединенные Штаты, и Европу, нельзя однозначно и безоговорочно идентифицировать как капитализм. Он, конечно, сохраняет и, видимо, долго еще будет сохранять (особенно в сфере экономики) сущностные черты капитализма. Но при этом нельзя не отметить, что за последние десятилетия этот строй интегрировал в себя ряд черт, которые традиционно связывались с социализмом. Причем в последние десятилетия эта тенденция развивалась по нарастающей.

Возможно, самое яркое тому подтверждение – формирование так называемого социального (социально ответственного) государства – welfare state. Наиболее развитые и богатые государства затрачивают огромные средства (какие и не снились социалистическим странам) на социальные программы (развитие человеческих ресурсов), выплаты и пособия малоимущим слоям, финансирование подготовки и переподготовки рабочей силы, поддержку образовательных программ и т. п. Существует достаточно устойчивая тенденция не только к абсолютному, но и к относительному росту социальных затрат. Показательны в этом отношении макрофункциональные изменения в структуре расходных статей федерального бюджета США в 1990-е годы. Как отмечает российский экономист В. Васильев, за последние десять лет «расходы на развитие человеческих ресурсов возросли в США с 49,4 процента в 1990 финансовом году (что и так было весьма высоким показателем – Э.Б.) до беспрецедентных за всю американскую фискальную историю новейшего времени 62 процентов (!) к концу века» [8, с. 197].

Возможные кризисы (финансовый, энергетический, политический и др.) могут внести изменения в эту динамику. Но сама социальная функция, взятая на себя западными государствами и ее приоритетный характер могут исчезнуть только с самими этими государствами.

Нельзя не добавить к сказанному, что изменения в социальной сфере лишь дополняют изменения в сфере производства и обмена, которые происходили в капиталистическом мире на протяжении всего XX века и которые Ленин с полным на то основанием называл «материальной подготовкой социализма».

Таким образом, общество, сложившееся к концу XX века в развитых странах мира и выступающее в качестве стартовой площадки для общества XXI века в его начальной фазе, есть если и не конвергентное, то, по крайней мере, конвергирующееся общество. Оно, ко-

нечно же, далеко не во всем совпадает с теми образами, которые рисовались воображению У. Ростоу, Я. Тинбергена, Дж. Гэлбрейта и других сторонников теории конвергенции и которые (образы) выглядят сегодня несколько механистичными и прямолинейными. Но сама идея воплощается в жизнь. Рождается общество-гибрид, интегрирующее в себя черты различных социальных систем (в том числе и докапиталистических, если брать страны Востока), обнаруживающие функциональную релевантность. И ничто пока не говорит о том, что эта тенденция сойдет в обозримом будущем на нет.

Динамичный мир

Сегодняшнюю Россию, как и некоторые другие бывшие социалистические общества, принято характеризовать как «транзитную», совершающую переход от социалистического прошлого к неведомому будущему. Процесс идет болезненно, с отходами в сторону, задержками, повторением пройденного... При этом образ будущего, к которому «транзитники» держат путь, меняется по ходу движения¹⁵⁵, а сам переход воспринимается как неизбежно длительное, сложное предприятие.

Не являет ли собой современная Россия пусть несколько гипертрофированную и драматизированную, но тем не менее универсальную модель мира начала новой эпохи? Мира, в котором транзитность и динамизм составляют его существенные черты? Мира, в котором всем без исключения странам, в том числе являющим ныне образец стабильности, предстоит претерпеть существенные изменения?

Общепризнано, что минувший век отличался от предшествующих возросшим динамизмом во всех сферах жизни. Судя по всему, эта тенденция найдет свое продолжение и в новом столетии. И хотя ускорение – так оно было и прежде – будет вероятнее всего происходить неравномерно в пространстве и времени, объектом постоянных трансформаций станет весь мир. Уже сегодня глобальные информационные сети сокращают сроки передачи информации до ничтожно малой величины. Процесс подготовки профессионалов превращается в процесс перманентной переподготовки. Возрастают скорости и масштабы движения капиталов, рабочей силы и материальных цен-

¹⁵⁵ Эти изменения отчетливо прослеживаются при сопоставлении виртуальных образов России, какой мы ее хотели бы видеть в обозримом будущем, с образами Соединенных Штатов Америки, в которых мы долгое время видели страну-образец. Десять лет назад многим представлялось, что для России было бы благо походить на США, а сама эта возможность казалась реальной. Сегодня из общественного сознания россиян почти исчезли и сами эти ожидания, и желание быть «второй Америкой».

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

ностей. А это неизбежно будет отражаться на динамике представлений о целях и направленности человеческой деятельности во всех областях, равно как и на динамике ценностных и политических ориентаций. Не останется в стороне и сфера политики. Соотношение сил между отдельными странами и объединениями станет, вероятно, изменяться еще более динамично, чем во второй половине XX века. При этом изменяться будут – как по составу, так и по ориентации и структуре – и сами объединения. И это даст дополнительный стимул к дальнейшему развитию процесса конвергенции.

В этой ситуации одним из важнейших условий поддержания национальной и международной стабильности станет создание механизмов идейно-психологической адаптации индивидов и групп к происходящим изменениям и предотвращение реакций, названных О. Тоффлером «футурошоком».

В поисках собственного лица

Те, кто внимательно следит за событиями в постсоветской России, знают, что вот уже на протяжении десяти с лишним лет она мучительно пытается решить проблему своей национально-государственной идентичности. Что за страна Россия? Что мы за народ? В чем смысл нашего существования в мировом сообществе, наша «миссия»? Куда держим путь?..

Поиск ответов на эти непростые вопросы для нашего общества тем более труден, что еще каких-нибудь пятнадцать – двадцать лет назад советские люди знали (или им казалось, что знали) эти ответы. И вот теперь – новые поиски. Впрочем, при более внимательном взгляде на нынешний мир нельзя не заметить, что вынужденные поиски национально-государственной идентичности ведет не только Россия. Практически все страны, расположенные в бывшем советском и социалистическом пространстве, стоят перед этой проблемой. В том числе те, кто изначально решил ориентироваться на США.

В условиях крушения старого миропорядка все страны, включая Соединенные Штаты, Японию, Германию, Корею и т. д., вынуждены заново осмысливать и свое положение в мире, и свои функции в глобальном сообществе, и свое будущее. Другое дело, что в странах со стабильной политической системой и высоким жизненным уровнем проблема реидентификации лишена российской остроты. Однако это не снимает саму проблему как таковую.

Кроме того, перед полиэтничными странами, каких в современном мире десятки и к числу которых относятся и такие гиганты, как США, Россия, Индия, Китай, и менее крупные страны (Испания, Ка-

нада, Венгрия, Румыния и множество других), встает со всей остротой проблема этнической самоидентификации. Например, в Соединенных Штатах активно (и остро) обсуждаются вопросы о роли афроамериканцев в создании американского общества и формировании американской культуры, о «корректном», как теперь говорят, отношении белых к чернокожим и англо-говорящих к испано-говорящим американцам, о создании в стране условий для развития у представителей этнических групп чувства собственного достоинства как условия корректной национально-этнической самоидентификации¹⁵⁶ и т.д. и т.п. Похожие проблемы волнуют и другие полиэтнические общества. Тем более что от их решения зависит в немалой степени решение многих других проблем, включая, между прочим, проблему терроризма, которая имеет важную этническую составляющую.

Впрочем, «решение» – это, возможно, не то слово. Потребность в социальной, политической, этнической самоидентификации приобретает в новых условиях не только всеобщий, но и перманентный характер. Динамизм нарождающегося мира ведет к тому, что, возможно, уже в самом недалеком будущем периодическое переосмысление вопросов о своем месте и роли в мире, о путях дальнейшего развития, о задачах и целях собственной деятельности станет предметом такой же заботы, как и забота о хлебе насущном. А добывается хлеб насущный – так было, есть и вечно будет – в поте лица своего.

1. На пороге XXI века: Доклад о мировом развитии 1999/2000 года. М., 2000.
2. Гегель Г. Сочинения. Т. 8. М.; Л., 1935.
3. Фукуяма Ф. Конец истории? // Философия истории: Антология. М., 1995.
4. Тренин Д. Третий возраст: российско-американские отношения на пороге XXI века // Pro et Contra. Весна 2000.
5. Renwick N. America's World Identity. Chippenham, 2000.
6. Валлерстайн И. Политические дилеммы на рубеже тысячелетий // Полис. 1996. № 4.
7. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи / Под ред. М. Делягина. М., 2000.
8. Политическая система США. Актуальные измерения / Отв. ред. С. Червонная, В. Васильев. Авторский коллектив В. Васильев, В. Власихин, Н. Долгополова и др. М., 2000.

¹⁵⁶ Н. Рэнвик, автор интересного исследования об американской идентичности, приводит – они кажутся ему очень важными – слова учительницы из Детройта: «В чем они (чернокожие студенты – Э.Б.) испытывают потребность, так это в сильном чувстве идентичности. Мы также учим их уважать другие культуры, но этого не произойдет, пока они не станут уважать самих себя» [5, с. 228].

Единство в многообразии — принцип живого мира*

«**Ч**еловечество — одно дыхание, одно живое теплое существо. Больно одному — больно всем. Умирает один — мертвеют все. Долой человечество-пыль, да здравствует человечество-организм... Будем человечеством, а не человеками в действительности». Так писал в 1921 году Андрей Платонов.

В своем пылком и искреннем призыве революционный романтик Платонов едва ли не дословно воспроизводил одну из самых существенных мыслей философа и богослова Владимира Соловьева: «...мы должны рассматривать человечество в его целом, как великое собирательное существо или социальный организм, живые члены которого представляют различные нации. С этой точки зрения очевидно, что ни один народ не может жить в себе, чрез себя и для себя, но жизнь каждого народа представляет лишь определенное участие в общей жизни человечества» [1, с. 4].

Была ли платоновская мысль нечаянной цитатой или озарением, оба они — и Владимир Соловьев, и Андрей Платонов — выражали на родственных языках одну из самых заманчивых и роковых идей всей историософии — идею предначертанного единства человеческого рода и действительного единения разбросанных по свету людей в большую дружную вселенскую семью, идею придания человечеству как системному целому онтологического статуса.

Как и другие великие и роковые замыслы, эта идея была сама по себе интернациональна и, конечно, совсем не нова. Представление о том, что в стародавние времена дети Земли жили единой одноязыкой семьей, а потом были «покараны разнообразием» [2, с. 14] и что придет день, когда грех будет искуплен и люди, принадлежащие к разноликим и разноразным нациям и расам, исповедующие неодинаковые политические убеждения и религиозные верования, не только установят друг с другом прочные внешние связи, но и ощутят себя частью общечеловеческого целого, сольют усилия во имя общего дела, — это представление уходит корнями едва ли не в первозданные пласты разных культур. Об этом говорили и древние греки, и восточные мудрецы, и европейские средневековые мыслители. Мотив единства человеческого рода звучит в стихах английского поэта XVII века Джона Донна, у которого Эрнест Хемингуэй отыскал эпиграф к роману «По ком звонит колокол»: «Нет челове-

* Вопросы философии. 1990. №8. С. 13–23.

ка, который был бы как остров, сам по себе; каждый... есть часть материка, часть суши; и если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа... смерть каждого человека умалет и меня, ибо я един со всем человечеством; а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол, он звонит по тебе».

С особенной силой мотив единения людей начинает звучать в XX веке, в атмосфере революционных бурь и научно-технических открытий. Настоячивее всего этот мотив повторяется, конечно, в России – у Николая Федорова, Константина Циолковского, Владимира Вернадского, Александра Чижевского, Михаила Пришвина... «Человек впервые реально понял, – пишет В.И. Вернадский, – что он житель *планеты* и может – должен – мыслить и действовать в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но и в планетном аспекте» [3, с. 24]. Что уж говорить о российских революционерах-марксистах, шедших в «последний решительный бой» – плечом к плечу с интернациональной гвардией единомышленников – под лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Для них вселенский социально-политический переворот был радикальным средством объединения народов Земли в грандиозную коммуну – всемирный Союз Советских Социалистических Республик.

Влечение к единению с другими общностями (не всегда, впрочем, на равно-правной основе) пронизывает всю историю человечества. Даже те общности, которые стремились выделиться социально и культурно из мировой этнической среды и доходили при этом до националистических крайностей, как и те, кто искал путь к самосохранению в изоляции от внешнего мира, даже они раньше или позднее вынуждены были менять стратегию, вступать в обмен деятельностью и ее продуктами с другими общностями, устанавливать с ними интеграционные связи. Потребность в дополнении собственной деятельности, собственного мировоззрения, культуры и самого своего существования деятельностью, мировоззрением и пр. других национально-этнических общностей оказывалась сильнее страхов, опасений и предрассудков. Влечение к единению, устремленность к тотальному миру подтверждали век от века свою неизбывность.

«...Без меня народ неполный», – горделиво бросает один из персонажей Платонова. Но платоновские герои испытывают и другое постоянное чувство: они сами «неполные» без мира и вне мира. Тут все взаимосвязано, все едино. И это ощущение продолженности себя в другом и другого в себе присутствует явно или скрыто в экзистенции всех этносов.

Практическое взаимодействие народов в сфере экономики и политики, становившееся от века к веку все более интенсивным;

Э.А.Баталов. Человек, мир, политика

зарождение и рост глобальных проблем – глобальных не только по масштабам охвата, но и по «масштабам субъекта», способного справиться с этими проблемами, – ориентировали человека в сторону тех же ожиданий, рождали представление, что только всем миром можно выжить и идти дальше. Объединить же усилия в планетарном масштабе, переплавить «человечество-пыль» в «человечество-организм» возможно, как казалось мыслящим умам, только на какой-то единой материальной платформе, порождающей однотипные условия социального бытия.

И вот тут открывается на горизонте еще одна идея, которая, как и мечта об интегрированном человечестве, пленяла многих чутких историософов XIX и XX веков и была столь же глубоко укоренена в мировых культурах. Идея унификации мира – формационной и цивилизационной, согласно которой человечество, поднимаясь в процессе исторической эволюции с одной «ступени» на другую, достигает в конце концов некоего общего для всех формационного и цивилизационного состояния и обретает тем самым «адекватную» материальную основу коммунального бытия.

Идея объединенного человечества в объединенном мире владела в разные эпохи умами и сердцами многих искателей правды, воли и покоя на Востоке и Западе. Но, пожалуй, наиболее последовательное и практически значимое воплощение этот тип мышления и чувствования и соответствовавшая ему идеология получили в коммунистической (социалистической) традиции.

Соединенные «братскими узами» обитатели миров, созданных воображением Мора, Кампанеллы, Мелье, Чернышевского, Беллами, Морриса, десятков других «социальных изобретателей», сплочены воедино прежде всего однотипными социально-экономическими отношениями, общественной собственностью на средства производства, общностью своего бытия. Равенство, доходящее до уравниловки, царящей во многих утопиях, – это, в сущности, лишь наиболее зримое, наглядное, даже символическое воплощение тотальной общности бытия.

В этом есть своя логика: ведь идея исторического (социально-экономического) прогресса, венцом которого и должен был стать золотой век объединенного человечества в объединенном мире, являла собой не столько результат объективного анализа естественного хода мировой истории, сколько концептуальную конкретизацию пронизанных духом нравственного императива представлений утопических доктринеров о путях решения фундаментальных проблем человеческого существования: чтобы «спастись», надобно объединиться, но объединить накрепко может только социально однородный мир, единая мировая цивилизация, которую надо спроектировать и создать.

К. Маркс и Ф. Энгельс, будучи приверженцами коммунистической идеи и связывая (как и их утопические предшественники, «на плечах» которых они, по словам Энгельса, стояли) с реализацией этой идеи решение «вечных проблем» человека, смотрели на коммунизм как на объективное следствие развития капиталистического производства по логике мировой эволюции – логике отрицания отрицания.

При этом, что существенно, коммунизм рассматривался Марксом и Энгельсом как явление глобальное – и по характеру становления, и по сущности. «Коммунизм эмпирически возможен только как действие господствующих народов, произведенное «сразу», одновременно, что предполагает универсальное развитие производительной силы и связанного с ним мирового общения, – подчеркивают они в «Немецкой идеологии»... – Коммунизм... вообще возможен лишь как «всемирно-историческое» существование...» [4, т. 3, с. 34–35].

Но коммунизм, согласно марксистской логике, потому и обретает «всемирно-историческое» существование», что вместе с «универсальным развитием производительных сил устанавливается *универсальное* общение людей..., местно-ограниченные индивиды сменяются индивидами *всемирно-историческими*, эмпирически универсальными» [4, т. 3, с. 34–35]. Другими словами, единение мира на коммунистической основе идет рука об руку с единением человечества. Повсюду на Земле воцаряется высокоорганизованное сообщество свободных и сознательных тружеников, характеризующееся однородной бесклассовой структурой и «единой общенародной» собственностью на средства производства; полным социальным равенством всех членов общества; всесторонним развитием личности каждого, дополняемым высоким уровнем развития производительных сил на основе постоянно развивающихся науки и техники; наличием условий, при которых «все источники общественного богатства польются полным потоком» и осуществится принцип «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям»; переходом от государственного управления к общественному самоуправлению и превращением труда на благо общества в «первую жизненную потребность».

Так представляли себе марксисты вселенский коммунистический «дом», в котором объединенное человечество смогло бы наконец разрешить свои фундаментальные проблемы и, вступив в стадию «подлинной истории», начать жить «по-человечески».

XX век, особенно вторая его половина, отмеченная всплеском НТР, принесли с собой ускорение интеграционных процессов в экономике, социальной сфере, политике, научной и культурной жизни. Однако формационно-цивилизационной унификации мира, ко-

торая, по логике ожиданий, должна была сопутствовать его структурно-функциональному «сжатию», не произошло.

В самом деле, если рассматривать общественно-экономические формации как последовательные «ступени лестницы» исторической эволюции, характеризующиеся специфическим типом отношений собственности и базирующимся на них способом производства – «ступени», по которым народы мира продвигаются в процессе исторической эволюции, надстраивая над ними соответствующие цивилизационные и культурные структуры, то нельзя не признать, что различные национально-этнические группы человечества стоят сегодня на различных «ступенях» этой «лестницы». Больше того, с точки зрения формационного многообразия современный мир богаче, чем мир минувших тысячелетий. Все «ступени лестницы» исторической эволюции «заняты» какой-то, пусть очень незначительной в численном отношении, частью населения Земли. Абсолютное большинство, конечно же, «сгрудилось» на «ступенях», идентифицируемых как «капитализм» и «социализм». Но, во-первых, некоторые из наиболее крупных капиталистических и особенно социалистических стран, прежде всего многонациональных, внутренне не однородны и включают в себя локальные образования, воспроизводящие, хотя и в превращенном виде, предшествующие формации. А кроме того, мы найдем на земном шаре и такие – пусть опять-таки малые – области, где господствуют или по крайней мере сохраняются в несколько размытом или модернизированном виде феодальные, рабовладельческие или даже первобытнообщинные отношения.

И хотя на каждом из «перегонов» исторического пути неизменно появлялась «ведущая» формация, воплощавшая наиболее передовой для своего времени тип производственных отношений, это не означало, что данная «ступень» исторической лестницы непременно должна быть и будет пройдена всеми народами. Перескакивание через «ступени» было нормальным явлением на протяжении всей мировой истории, а разные группы народов восходили от одной стадии своего развития к другой по разным историческим «лестницам». Сравнительная история стран Запада, Востока, Севера и Юга дает множество тому подтверждений. В этом смысле можно сказать, что человечество как целое не прошло в своем развитии ни одной из известных общественно-экономических формаций. Разные его отряды двигались в процессе эволюции разными путями.

Еще более разнообразен современный мир в цивилизационном отношении. Вопрос о содержании понятия цивилизации остается и по сей день дискуссионным. Многие авторы трактуют вслед за Энгельсом «цивилизацию» как общее обозначение той исторической эпохи, которая приходит на смену «варварству» и противостоит ему, либо – в про-

светительском духе – как синоним такого состояния общества, которое воплощает наиболее рациональный в данных исторических условиях способ воспроизводства общественной жизни и наиболее гуманные формы существования человека, другими словами – как синоним высших и общезначимых достижений человека в различных сферах его деятельности. (Отсюда, кстати сказать, популярные у нас сегодня разговоры о необходимости «вести дела цивилизованно», «жить цивилизованно», равняться на «цивилизованные страны» и т. п.)

Наряду с этим понятие цивилизации используют – следуя опять-таки марксистской традиции, но уже в ином ее русле – для обозначения «качественной специфики, своеобразия той или иной страны, группы стран, народов на определенном этапе развития... для обозначения исторически определенного качества общества, выражающегося в специфической общественно-производственной технологии и составляющей ее культуре» [5, с. 36–37]. Однако цивилизация – это не просто исторически складывающаяся интегральная материально-духовная социетальная система, характеризующаяся уникальным единством внутренней и внешней формы и специфическим способом воспроизводства общественной жизни. В отличие от формации цивилизация есть конкретное, живое социальное тело, наделенное тысячью доступных непосредственному восприятию черт. Когда человек попадает, скажем, в Китай, Индию или Соединенные Штаты Америки, он погружается не в «социализм» или «капитализм» как таковой, а в современную китайскую, индийскую, североамериканскую цивилизацию в ее конкретном формационном проявлении, которое по отношению к великой цивилизации может быть лишь «моментом» ее исторического бытия.

Цивилизация может ограничиваться рамками как национальными («китайская цивилизация», «индийская цивилизация», «русская цивилизация», «английская цивилизация» и т. п.), так и региональными («западная цивилизация», «западноевропейская цивилизация», «арабская цивилизация» и т. п.)¹⁵⁷. Зарождаясь на каком-то

¹⁵⁷ Помимо национальных и региональных, исследователи выделяют также и цивилизации, отождествляемые однозначно с той или иной формацией: «феодалная цивилизация», «капиталистическая (буржуазная) цивилизация» и т. п. Очевидно, такого рода «формационные», как их можно было бы назвать, цивилизации фиксируют определенную стадию развития той или иной конкретной национальной или региональной цивилизации либо всех цивилизаций вкупе. Так, например, с помощью понятия «феодалная цивилизация» мы обозначаем и, скажем, «английскую цивилизацию» на ее феодальной стадии, и совокупность других цивилизаций на данной стадии их эволюции. Как правило, «формационные цивилизации» содержат беднее национальных и региональных цивилизаций, формирующихся зачастую на базе нескольких последовательно проходимых формаций.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

этапе исторической эволюции, национальная или региональная цивилизация движется вплоть до ее распада по формационным «ступеням» исторической «лестницы», задерживаясь на одних, минуя другие, относительно быстро проскакивая третьи. Наиболее мощные цивилизации, как, скажем, китайская или индийская, складываясь на протяжении столетий или даже тысячелетий и аккумулируя опыт и достижения многих десятков поколений, оказывают активное обратное воздействие на проходимые ими формации, так что в результате «скрещивания» одной и той же формации с разными цивилизациями получается далеко не однородный «продукт». Заметим в этой связи, что именно характер цивилизации (а не уровень социально-экономического развития), «привитой» к определенной формации, определяет облик конкретных воплощений «капитализма» и «социализма». С этой точки зрения современное советское общество – естественный продукт эволюции российской цивилизации на «платформе» социалистического способа производства. Отсюда также и очевидные различия в положении человека между, скажем, США, Японией и Италией, хотя все эти страны относятся к числу капиталистических, или между Советским Союзом, Китаем и Польшей, хотя все они на протяжении десятков лет принадлежали к социалистической системе.

Одним словом, мир конца XX века характеризуется не только формационным, но в еще большей мере цивилизационным многообразием. В нем существуют десятки цивилизаций – западноевропейская (распадающаяся, в свою очередь, на французскую, английскую, испанскую и т. д.), североамериканская, китайская, индийская, латиноамериканская (тоже внутренне неоднородная), российская (с ее мощным верхним советским «слоем»), африканская, арабская и другие, каждая из которых сложилась на разнородной формационной основе и, конечно, не может быть однозначно редуцирована до примитивной схемы, подразделяющей мир на «капиталистический», «социалистический» и «развивающийся», или «третий».

Мир продолжает оставаться разнородным и в культурном отношении. Культура есть код, матрица цивилизации, позволяющая человеку, следующему ее нормам, воспроизвести эту цивилизацию – через посредство собственной деятельности – в том или ином аспекте и таким образом освоить новый жизненный массив. Хотя культура развивается в русле цивилизации, она тем не менее обладает достаточно устойчивой относительной самостоятельностью. Она может продолжать существовать – пусть, в несколько размытом, фрагментаризованном виде – даже после того, как породившая ее цивилизация отошла в небытие. Люди и по сей день продолжают пользоваться элементами древнегреческой и древнеримской культур, хотя цивилизации, слепком с которых и элементами ко-

торых они были, давно перестали существовать. Так что если количество существующих в современном мире цивилизаций превышает количество формаций, то количество культур значительно превышает количество существующих цивилизаций¹⁵⁸.

Таким образом, складывается парадоксальная на первый взгляд ситуация: чем более тесными и интенсивными становятся связи между странами и народами, чем более усиливаются интеграционные процессы в политике и экономике, чем большее значение и масштабы приобретают глобальные процессы и проблемы, тем более многообразным в формационном, цивилизационном и культурном отношении – и в этом смысле более «мозаичным», более «сегментизированным» – становится мир.

Не есть ли это, однако, всего лишь «момент» всеобщего исторического движения по пути к глобальной формационной или даже цивилизационной интеграции на какой-то общей платформе – капиталистической, коммунистической или иной? Как выглядит с этой точки обозримое будущее? Какие просматриваются тенденции?

Анализ процессов, происходящих в современном мире, и тенденций его эволюции приводит к выводу об отсутствии перспектив глобальной интеграции на коммунистической (социалистической) основе в обозримом будущем. В самом деле, если непредвзято оценить нынешнее состояние социалистических стран, то нетрудно заключить, что они не только не приблизились к коммунизму (каковой, согласно обещаниям некоторых партийных руководителей, должны были бы уже построить, по крайней мере в СССР), но оказались от него дальше, чем десять или двенадцать лет назад. Не удалось решить и некоторые из насущных проблем обеспечения существования человека, с которыми более или менее успешно справился капитализм. Ныне социалистический мир оказался в полосе экономического, политического, социального и духовного кризиса, выход из которого потребует, вероятнее всего, немало сил и времени. Но даже и по выходе из кризиса он, судя по динамике его экономического и социального развития, вряд ли получит возможность реализовать на практике – в обозримой перспективе – принцип «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям», обеспечить гармоническое развитие членов общества, заменить государственное управление самоуправлением. А без всего этого нет и коммунизма.

Не менее проблематична перспектива реализации коммунистического идеала за пределами социалистического мира. За сто с лиш-

¹⁵⁸ Об этом говорит хотя бы то обстоятельство, что число существующих ныне в мире языков, этих важнейших ингредиентов и индикаторов культуры, специалисты определяют в 4–5 тысяч [6, с. 25].

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

ним лет, прошедших с тех пор, как Маркс предпринял свой анализ капитализма, последний претерпел значительные изменения¹⁵⁹. И хотя фундаментальное противоречие между общественным характером труда и частной формой присвоения в целом остается присущим капитализму, его серьезная само-реконструкция (начавшаяся еще в 30-е годы и резко усилившаяся после Второй мировой войны), стимулированная внутренними противоречиями, глобальными процессами, включая НТР, а также воздействием социалистического мира и наглядно проявившаяся в формировании «социально ответственного государства»¹⁶⁰ дала ему возможность решить, хотя бы частично, некоторые из экономических, социальных и политических проблем (регулирование экономики, создание системы социальных гарантий, повышение жизненного уровня основной массы населения и т. п.).

Это позволило не только снять внутреннюю напряженность, которая, как казалось еще несколько десятилетий назад, должна вот-вот взорвать капитализм, но и укрепить его социальную базу, увеличить творческий потенциал. В итоге капитализм предстает сегодня в массовом сознании Запада и Востока во многих отношениях в более выгодном свете, нежели социализм, переживающий общий кризис.

Означает ли это, что капитализм обретает способность выступить в качестве формационной базы глобальной интеграции? По-видимому, тоже нет, ибо сам капитализм пребывает ныне в процессе сложной эволюции, по ходу которой он «отрицает», «снимает» некоторые существенные черты и либерального, и государственно-монополистического капитализма, интегрируя в себя ранее чуждые ему элементы.

Эта эволюция началась много десятилетий назад, позволив Ленину еще до революции утверждать, что «диалектический процесс развития действительно всовывает еще в пределах капитализма элементы нового общества, и материальные и духовные элементы его» [7, т. 11, с. 370]. За последние полвека этот процесс продвинулся далеко вперед, породив бытующее в народе представление, что в наиболее развитых странах Запада, вроде Швеции, социализм уже построен.

¹⁵⁹ Начало этих изменений констатировал уже Ф. Энгельс. В «Предисловии ко второму немецкому изданию «Положения рабочего класса в Англии» 1892 года» он отмечал, что «описанное в этой книге положение вещей, по крайней мере поскольку оно касается Англии, в настоящее время во многих отношениях принадлежит прошлому» [4, т. 22, с. 326].

¹⁶⁰ Такая интерпретация термина «welfare state» (переводимого у нас обычно как «государство благосостояния», «государство всеобщего благоденствия»), предложенная советским американистом А.А. Поповым, представляется наиболее точно отражающей социальную суть этого нового феномена.

Что же касается перспективы капиталистического «реверса» социалистического мира в целом, то он представляется нереальным по многим причинам, в том числе и цивилизационного характера, ибо капитализм плохо «ложится» на цивилизации некоторых (социалистических) стран¹⁶¹.

Нельзя, конечно, исключать – особенно имея в виду тенденции, наметившиеся в самом конце 80-х годов, – что та или иная страна, входившая на протяжении послевоенных десятилетий в мировую социалистическую систему, перейдет в процессе внутренней эволюции на путь капитализма и этот путь откроет перед ней новые перспективы. Тем более, если у нее имелся в прошлом опыт такого развития, что в сущности делало бы этот «переход» в каком-то смысле продолжением прерванной несколько десятилетий назад «исторической судьбы».

Другое дело – «реверс» таких стран, как, скажем, Советский Союз или Китай. Для такого переворота нет ни социально-политической базы, ни адекватной цивилизационной основы. Если, скажем, предположить, что в такой стране, как Советский Союз, обнаружили бы вдруг достаточно мощные политические силы, которые попытались бы воспроизвести на имеющейся цивилизационной основе существующую в развитых странах Запада систему экономическо-социальных отношений, то это, по всей вероятности, привело бы не к скорому решению стоящих перед страной проблем, а к кризисному росту социальной, политической и экономической напряженности, исходом которой могло бы явиться установление тоталитарной диктатуры нового типа. В результате страна оказалась бы отброшенной еще дальше назад.

Необходимо подчеркнуть: речь идет именно о попытках системного поворота, трансплантации западных формационно-цивилизационных структур на российскую почву. Что касается горячо дискутируемых на всех уровнях советского общества идей о внедрении в наше хозяйство рыночных механизмов и признании частной собственности, то эти механизмы и формы, говоря строго, формационно и цивилизационно нейтральны и далеко не при всех условиях и не во всяком социальном контексте ведут к воспроизводству капитализма.

¹⁶¹ К. Маркс утверждал в «Капитале», что «не все народы имеют одинаковые данные для капиталистического производства. Некоторые самобытные народы, как, например турки, не имеют для этого ни темперамента, ни склонности» [4, т. 26, с. 467]. Маркс, правда, тут же добавляет, что «с развитием капиталистического производства создается средний уровень...темпераментов и склонностей у самых разных народов» [4, т. 26, с. 467]. Но развитые страны и цивилизации в неодинаковой мере вовлекаются в орбиту капиталистического производства. Некоторые страны социализма, как известно, шли по «некапиталистическому пути». И это отразилось на всех сторонах их жизни, включая «средний уровень темпераментов и склонностей».

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

Говоря о современном кризисе социалистического движения и социалистической системы, мы должны, однако, иметь в виду, что сама идея социализма, идея такого общественного строя, «при котором не будет несправедливости, неравенства и взаимной вражды между людьми» [8, с. 9], относится к числу тех великих идей, которые сопровождали человечество на всем протяжении его культурного существования. Неизбывные проблемы и противоречия реального мира, с которыми сталкивается человек, не могут не порождать, не поддерживать мечту об альтернативном, свободном от этих противоречий, идеальном мире. Эта мечта и получает воплощение в идеях и идеалах социализма и коммунизма.

Перестройка разожгла среди историков, философов, да и среди всего населения страны горячий спор, существует ли в Советском Союзе (и в других странах, именующих себя «социалистическими») социализм на самом деле, и если да, то что это за социализм. Спор резонный, если учесть не только противоречивость рассматриваемых обществ, но и неоднозначность самого понятия «социализм», имеющего по крайней мере два значения.

С одной стороны, это понятие, с тех пор как оно было введено П. Леру в 30-х годах минувшего века, использовалось для обозначения общества, которое независимо от формационных признаков характеризуется такими качествами, как «справедливость», «солидарность», «равенство», – т.е., как сказали бы сегодня, обеспечивает высокое «качество жизни». С другой же стороны, социализм, приобретая с течением времени значение фазовой характеристики коммунистического общества, стал использоваться для идентификации общества, характеризующегося общественной собственностью на средства производства, отсутствием антагонистических классов и присвоения чужого труда. Порою «социализм» брался в первом своем значении, порою – только во втором. Но нередко это понятие истолковывалось в обоих значениях сразу (в чем преуспела наша официальная пропаганда), и тогда социализм трактовался как первая фаза коммунистического общества, которая, возникая на базе общественной собственности, характеризуется «солидарностью», «справедливостью» и т. п. и при этом обеспечивает высокий жизненный уровень и иные блага, ставящие социализм далеко впереди капитализма.

Сегодня приходится констатировать, что социализма как общества справедливого, солидарного, обеспечивающего при этом высокий уровень благосостояния, в мире не существует. Но мечта о таком обществе жива в народном сознании, и трудно представить, чтобы жизненные коллизии лишили ее притягательной силы. Как заметил известный историк Н. И. Конрад, мысль об утопическом пределе «никогда не покидала человечество и вдохновляла его на борьбу с

тем, что препятствует достижению идеального, достойного человека состояния общества. Об этом с великой яркостью и силой сказал русский писатель Достоевский: «Золотой век – мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже умирать» [9, с. 512].

В марксистской традиции социализм трактуется как историческое преддверие коммунизма, его «первая», «низшая» фаза. И прежде в этом была своя логика. Ныне же, когда возможность практической реализации коммунизма в обозримом будущем выглядит столь же призрачной, как и в 1848 году, когда «призрак коммунизма» «бродил по Европе», резонно по-новому взглянуть и на этот вопрос. Возможно, следует, не связывая социализм фазовыми отношениями с коммунизмом, рассматривать его как самостоятельную формационную структуру, которая может не только воплощаться в различных типах (военно-бюрократический социализм, демократический социализм и т. п.), но и сама распадаться на исторические фазы. Какими именно окажутся эти фазы, чем будут они отличаться друг от друга, – этого сегодня не скажет, наверное, никто. Но, думается, вполне можно утверждать, что сегодня и наша страна, и другие члены «социалистического содружества» находятся на стадии «раннего социализма», уступающего по ряду параметров «позднему капитализму» и практически уже давно исчерпавшего свой фазовый потенциал.

Не следует ли из сказанного, что в нынешних условиях наиболее реальной выглядит перспектива глобальной социальной интеграции на какой-то «третьей», «нейтральной» основе? Что грядет, иначе говоря, та самая «конвергенция» капитализма и социализма, идею которой прежде с порога отвергала наша официальная идеология?

Но что такое «конвергенция»? Если брать механистическую ее трактовку – а таковая тоже имеет место, – в соответствии с которой в результате постепенного «слияния» капитализма и социализма произойдет образование некоей «средней», синтетической формационной структуры, имеющей универсальный характер, то здесь мы, по сути дела, сталкиваемся все с той же, тоталитарной по своей сущности, моделью, которая ищет унитарное основание планетарного общества.

Другое дело, когда конвергенция трактуется как преодоление глубокого и опасного для судеб мира разделения, во многом искусственного, между двумя системами, как отказ от необоснованного противопоставления их друг другу и вытекающей из такого противопоставления конфронтации. То есть когда конвергенция рассматривается как процесс взаимного обмена деятельностью, «глубокое встречное сближение мировых систем капитализма и социализма, охватывающее экономические, политические и идеологические от-

ношения» [10, с. 14]. Такого рода процессы давно уже идут в мире. К сожалению, до недавнего времени они имели односторонний характер, ибо в то время как во многих капиталистических странах формировались институты социальной защиты, государственный сектор в экономике и т. д., в социалистических странах опыт Запада в социальной, политической и экономической сферах использовался лишь в малой степени или не использовался вообще.

Результатом подобного рода конвергенции стало бы, по всей вероятности, не исчезновение капитализма и социализма как формационных структур, а, напротив, дальнейшая цивилизационная фрагментаризация мира¹⁶², поскольку появилось бы множество новых, отличных друг от друга цивилизационных структур, складывающихся на неоднородных, смешанных формационных платформах и как бы находящихся на разных расстояниях от капиталистического и социалистического «полюсов».

Одним словом, анализ тенденций социальной эволюции мира в обозримом будущем приводит к выводу о проблематичности перспективы его унификации на базе какой-то одной формации или цивилизации. Гораздо более вероятным представляется сохранение или даже увеличение той структурной разнородности, «мозаичности», которая характеризует нынешний мир.

Изучение функционирования сложных живых эволюционирующих систем позволяет сделать вывод, что стабильность и жизнеспособность подобных систем зависит во многом от внутренней дифференцированности составляющих их элементов, своеобразия и богатства заключенного в этих элементах потенциала жизнеобеспечения. Чем выше уровень дифференцированности (разделения функций) и чем богаче уникальное содержание элементов системы, чем мощнее их потенциал жизнеобеспечения, тем больше – естественно, при наличии прочных внутренних связей – и потенциал системы в целом, возможности ее эволюции и совершенствования.

Резонно в таком случае допустить, что социально неоднородный, асимметричный, противоречивый мир – это нормальный жизнеспособный мир. Что минувшие тысячелетия, на протяжении которых возникали и уходили в небытие страны, народы, государства и цивилизации, не «предыстория» к гипотетической всемирной идиллии, а самая что ни на есть подлинная история челове-

¹⁶² Заметим, что А.Д. Сахаров, один из наиболее последовательных сторонников и защитников идеи конвергенции, увязывает ее именно с плюрализмом. «Конвергенция тесно связана с экономическим, культурным, политическим и идеологическим плюрализмом. Если мы признаем, что такой плюрализм возможен и необходим, то мы тем самым признаем возможность и необходимость конвергенции» [10, с. 15].

ства. И, наконец, что внутренняя разнородность – формационная, цивилизационная, культурная, этническая – нынешнего мира, обретающего признаки целостной замкнутой системы – это не проклятие на голову человека, не «кара господня», а великое богатство, которым надо просто уметь распорядиться. При условии налаживания адекватных связей между элементами этой системы (странами, блоками, союзами и т.п.), между цивилизациями, культурами, этносами ее внутренняя разнородность способна выступить не как деструктивный, а как конструктивный фактор.

Эмпирия нынешнего мира свидетельствует о четко выраженной тенденции к его интернационализации, о необходимости единения человечества перед лицом обрушившихся на него глобальных проблем. Но единый мир, о котором грезили мудрецы, пророки и святые и становление которого идет у нас на глазах, – это вовсе не монолит. Именно многообразие, вплоть до взаимоисключения по сущностным признакам, составляющих этот мир формаций, цивилизаций и культур, которые дополняют, подпитывают, стимулируют – в том числе и через борьбу – друг друга, экономят друг для друга энергию и время, обеспечивает «сцепление» составляющих мир элементов, придает ему устойчивость, делает его внутренне единым, человеческим миром.

Мирное сосуществование в его современном понимании – это не только признание легитимности существования другой стороны, но и конструктивное взаимодействие с ней, взаимопомощь, сотрудничество, обмен опытом, словом – содействие развитию другого как условие обеспечения собственного выживания и совершенствования. Если, как справедливо замечает Э. Пестель, «соревнование необходимо для прогресса, а солидарность – неперемнное условие выживания» [11, с. 239] и если капитализм и социализм являются собой ныне наиболее мощное воплощение соперничества и возможностей сотрудничества, то нельзя ли отсюда сделать вывод, что обе структуры суть взаимонеобходимые исторические образования и что в контексте нынешнего мира одна сторона глобальной оппозиции является условием дальнейшего существования и совершенствования другой стороны, тем более что и капитализм, и социализм переживают период интенсивной внутренней эволюции, характеризующей переход к целостному миру.

В мозаичном мире важнейшее условие продуктивного общения народов и прочности самого этого мира – существование метацивилизации и метакультуры, этих «метаязыков», всем понятных и всеми принимаемых. Не поглощая полностью и не вытесняя национальные, региональные цивилизации и культуры, не дублируя их полностью, «метаязыки» как бы надстраиваются над ними,

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

выступая в качестве своеобразного цивилизационно-культурного «общего знаменателя».

Сегодня мы еще не можем говорить о существовании метацивилизации, адекватной потребностям времени. Ее только предстоит создать. Но некоторые существенные элементы искомой структуры уже налицо. К ним можно отнести такие международные социально-политические образования, как ООН с ее специализированными учреждениями, включая ЮНЕСКО; международные экономические объединения, в том числе ГАТТ и МВФ; международный суд и т. д. Важнейший элемент метацивилизации – общезначимые достижения науки и техники, ставшие неотъемлемым условием экономики времени и энергии, охраны труда и здоровья, повышения производительности труда и т.п.

Равным образом, когда говорится о метакультуре, то имеется в виду своеобразный кодекс, писанный и неписанный, общечеловеческих ценностей: норм восприятия и оценки друг друга, принципов поведения, способствующих выживанию и развитию человечества как единого целого, моделей воспроизводства тех элементов, которые входят в состав метацивилизации. Характерное и наглядное проявление метакультуры – международное право, международные соглашения (типа хельсинкских), документы о правах человека и т.п.

Задача нынешних и грядущих поколений, какой она видится сегодня, – не только активно способствовать дальнейшему формированию метацивилизации и метакультуры, но и содействовать в максимально возможной мере приобщению как можно большего числа народов, включая, естественно, и наш народ, к этому общечеловеческому достоянию.

1. Соловьев В. Русская идея. М., 1911.
2. Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1988.
3. Вернадский В. Научная мысль как планетное явление. Размышления натуралиста. Кн. 2. М., 1977.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения.
5. Гудожник Г.С. Цивилизация: развитие и современность // Вопросы философии. 1986. № 3.
6. Народы мира. М., 1988
7. Ленин В.И. Полное собрание сочинений.
8. Горев Б.И. История социализма. Т. 1. М., 1924.
9. Конрад Н.И. О смысле истории // Восток-Запад. М., 1966.
10. Сахаров А. Конвергенция, мирное сосуществование // 50/50: Опыт словаря нового мышления. М., 1989.
11. Пестель Э. За пределами роста. М., 1988.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ Э.Я. БАТАЛОВА

Монографии

1. О философии международных отношений. М.: НОФМО, 2005.
2. Мировое развитие и мировой порядок. Анализ современных американских концепций. М.: РОССПЭН, 2005.
3. Русская идея и американская мечта. М.: Ин-т США и Канады РАН, 2001.
4. Политическая культура современного американского общества. М.: Наука, 1990.
5. В мире утопии. Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. М.: Изд-во политической литературы, 1989.
6. Идеологическая стратегия США на мировой арене / Э.Я. Баталов, И.Е. Малащенко, А.Ю. Мельвиль. М.: Международные отношения, 1985.
7. Американская утопия. М.: Прогресс, 1985. На англ. яз.
8. Социальная утопия и утопическое сознание в США. М.: Наука, 1982.
9. Современное политическое сознание в США / Э.Я. Баталов, Ю.А. Замошкин, А.Ю. Мельвиль и др. М.: Наука, 1980.
10. Философия бунта. Изд. на англ. и франц. яз., перераб. и доп. М.: Прогресс, 1975.
11. Философия бунта. Критика идеологии левого радикализма. М.: Изд-во политической литературы, 1973.

Брошюры, сборники, главы в коллективных монографиях и сборниках

12. Европа о России, Россия о Европе // Россия в многообразии цивилизаций. Ч. II. Европа глазами России. М.: Ин-т Европы РАН, 2007.
13. Европейские образы России: вчера, сегодня, завтра // Россия в Европе. Как нас воспринимают в Европе и евроатлантическом сообществе. М.: Ин-т Европы РАН, 2007.
14. Национальный хронотоп в интернациональном общении // Пространство и время в мировой политике и международных отношениях. Материалы 4 Конвента РАМИ. Т. 3. Время и пространство мировых религий и локальных культур. Локальные культуры и межкультурный диалог / Под ред В.С. Глаголева и А.В. Шестопала. М.: МГИМО(У), 2007.
15. О категориях философии международных отношений // Мировая политика: проблема теоретической идентификации и современного развития. Политическая наука. Ежегодник 2005. М.: РОССПЭН, 2006.
16. Россия и Запад: эволюция российского общественного сознания // Россия между Западом и Востоком: мосты в будущее / Отв. ред акад. РАН Н.П. Шмелев. М.: Международные отношения, 2003.
17. Соперники или соратники? / Э.Я. Баталов, В.А. Кременюк // Там же.
18. Два кануна // Кануны и рубежи. Типы пограничных эпох — типы пограничного сознания. Материалы российско-французской конф. В 2-х ч. Ч. I. М.: ИМЛИ РАН, 2002.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

19. Политическое — «слишком человеческое». М.: Эдиториал УРСС, 2000.
20. После «марксизма». О теоретико-методологической ситуации в современном российском обществоведении // Российская американистика в поисках новых подходов. Материалы 5 науч. конф. ассоц. изучения США. М.: Изд-во МГУ, 1998.
21. Политическая культура // Общая и прикладная политология. / Под общ. ред. Жукова В. И., Краснова Б.И. М.: Изд-во Моск. гос. социального ун-та, 1997.
22. Американские ценности в современном мире // Американское общество на пороге XXI века. М.: Изд-во МГУ, 1996.
23. Политическая культура: понятие и феномен // Политика: проблемы теории и практики. Вып. VII. Ч. II. М.: ИНИОН АН СССР; Ин-т молодежи, 1990.
24. Почему возрос интерес к будущему? / Э.Я. Баталов, Н.В. Мотрошилова // Наука и будущее. Борьба идей. М.: Наука, 1990.
25. «Американская мечта» и внешняя политика США // Общественное сознание и внешняя политика США. М.: Наука, 1987.
26. Консерватизм и либерализм: современные внешнеполитические ориентации / Э.Я. Баталов, А.Ю. Мельвиль, Б.В. Михайлов // Там же.
27. Политическое сознание и внешняя политика США / Э.Я. Баталов, А.Ю. Мельвиль // Там же.
28. Американский либерализм в середине 80-х годов (некоторые новые тенденции) / Отв. ред. Э.Я. Баталов, Б.В. Михайлов ; Э.Я. Баталов, П.В. Гладков, Б.В. Михайлов и др. М.: Ин-т США и Канады АН СССР, 1985.
29. Идеи К. Маркса и проблемы исследования политического сознания современного буржуазного общества // Учение Карла Маркса и современная идеологическая борьба. Сб. статей. Вильнюс, 1984.
30. Современный американский капитализм и духовная ситуация в США // Противоречия современного американского капитализма и идейная борьба в США. М.: Наука, 1984.
31. Формирование теоретического сознания и идейная борьба в США / Э.Я. Баталов, А.Б. Панкин, Е.В. Перфилова, М.М. Петровская // Там же.
32. Изучение структуры политического сознания // Новый мировой порядок и политическая общность. М.: Наука. 1983.
33. Противоречия современного «левого» радикализма // Борьба идей в современном мире. Т. 2. М.: Изд-во политической литературы, 1976.
34. «Новые левые» и Герберт Маркузе. М.: Знание, 1970.

Статьи в периодических изданиях

35. Сотворить учебник // Международные процессы. 2007. № 3.
36. Идея демократии в Америке XX века // США ♦ Канада: экономика, политика, культура. 2006. № 4.
37. Антропология международных отношений // Международные процессы. 2005. № 2.
38. Восхождение к политической науке // Общественные науки и современность. 2005. № 3.

Библиография

39. Глобальный кризис демократии? // Свободная мысль-XXI. 2005. № 2.
40. Какая Россия нужна Западу? // Современная Европа. 2005. № 4.
41. Демократия и война. О книге Боба Вудворда «План нападения», но не только о ней // Свободная мысль-XXI. 2004. № 7.
42. Предмет философии международных отношений // Международные процессы. 2004. № 2.
43. Америка: страсти по империи // Свободная мысль-XXI. 2003. № 12.
44. Долгое соло Валлерстайна // Международные процессы. 2003. № 3.
45. «Новый мировой порядок»: к методологии анализа // Полис. 2003. № 5.
46. Иллюзии и реалии «новой эры» // Свободная мысль-XXI. 2002. № 1.
47. Любим ли мы Америку? // США ♦ Канада: экономика, политика, культура. 2002. № 2.
48. Материя между Эросом и Танатосом, или Материя в поисках формы // Синий диван. 2002. № 1.
49. Политическая культура России сквозь призму civic culture // Pro et Contra. 2002. Т. 7.
50. Новая эпоха — новый мир // Свободная мысль-XXI. 2001. № 1.
51. Политическая система США сегодня: взгляд из Москвы // США ♦ Канада: экономика, политика, культура. 2001. № 2.
52. Русская идея и американская мечта // США ♦ Канада: экономика, политика, культура. 2000. № 11—12.
53. Либеральная идея в России: новая волна // Государственная служба. 1999. № 1.
54. Конец «левого века»? Незавершенный опыт метафизических вопрошаний // Пушкин. Тонкий журнал — читающим по-русски. 1998. № 3(9).
55. «Народный капитализм» как новая утопия // Свободная мысль. 1998. № 1.
56. Гибель химер // Свободная мысль. 1997. № 8.
57. Куда путь держим? О национальной идее и государственной идеологии // Российская федерация. 1996. № 15.
58. Нужна ли России государственная идеология? // Власть. 1996. № 1.
59. Чем заполним идейный вакуум? // Свободная мысль. 1996. № 11.
60. Экономика и политика в формационный период // Бизнес и политика. 1996. № 1.
61. Американский либерализм, или о пользе изучения зарубежного опыта // Свободная мысль. 1995. № 3.
62. Лицом к лицу с историей. От перестройки к постперестройке // Свободная мысль. 1995. № 4.
63. Политика в рыночном обществе // Бизнес и политика. 1995. № 5.
64. Политическое — «слишком человеческое» // Полис. 1995. № 5.
65. Топология политических отношений // Полис. 1995. № 2.
66. Советская политическая культура (К исследованию распадающейся парадигмы) // Общественные науки и современность. 1994. № 6; 1995. № 3.
67. Тоталитаризм живой и мертвый // Свободная мысль. 1994. № 4.
68. Фашизм или национал-авторитаризм? // Российская федерация. 1994. № 18.
69. Социальное пространство свободной мысли // Свободная мысль. 1993. № 10.

Э.Я.Баталов. Человек, мир, политика

70. Политическая культура как социальный феномен // Вестник МГУ. Сер. 12. 1991. № 5.
71. Единство в многообразии — принцип живого мира // Вопросы философии. 1990. № 8.
72. Американский опыт и наша перестройка // США: экономика, политика, идеология. 1989. № 1.
73. Перестройка остро нуждается в лидерах // Общественные науки. 1989. № 4.
74. Политическая реформа и эволюция советского государства / Г.А. Арбатов, Э.Я. Баталов // Коммунист. 1989. № 4 (1338).
75. Перестройка сознания — императив истории // Общественные науки. 1988. № 5.
76. Социалистическая перспектива и утопическое сознание // Коммунист. 1988. № 3.
77. США в 80-е годы: специфика общественных процессов // Общественные науки. 1985. № 3.
78. Американский либерализм: поиски новых путей / Э.Я. Баталов, Б.В. Михайлов // США: экономика, политика, идеология. 1984. № 9.
79. Массовое политическое сознание современного американского общества: методология исследования // Общественные науки. 1981. № 3.
80. Социальная реальность и социалистический идеал / Э.Я. Баталов, Р. Рихта // Проблемы мира и социализма. 1977. № 3.
81. Современное капиталистическое общество и утопическое сознание // Вопросы философии. 1973. № 10.
82. Воображение и революция // Вопросы философии. 1972. № 1.
83. Разрушение практики // Вопросы философии. 1969. № 3.

Статьи в справочных изданиях

84. Борьба идеологическая ; Догматизм в политике ; Идеал политический ; Иллюзии политические ; Инерция мышления ; Мышление политическое ; «Новые левые» ; «Новые правые» ; Политическое сознание массовое ; Самосознание политическое ; Сознание общественное ; Сознание политическое // Политическая энциклопедия: В 2 т. Т. 1—2. М.: Мысль. 1999.
85. Политическая культура; Политическая утопия; Политическое сознание; Франкфуртская школа // Зарубежная политология: Словарь-справочник / М.: Социально-политический журнал; Независимый открытый ун-т, 1998.
86. Контркультура; Маркузе // Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989.

Сведения об авторе

Баталов Эдуард Яковлевич (1935 г.р.) – доктор политических наук («Политическая утопия в XX веке: вопросы теории и истории», Московский государственный педагогический университет им. В.И. Ленина, 1997), первый в России разработчик тематики философии и антропологии международных отношений. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР в 1958 г. и аспирантуру Института философии Академии наук СССР в 1964 году. Работал в Институте философии АН СССР и др. научно-исследовательских учреждениях. В настоящее время – главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Преподавал в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД России и других высших учебных заведениях Москвы. Автор свыше 200 публикаций. В их числе – сборник статей «Политическое – «слишком человеческое»» (2000), монографии «Философия бунта» (1973), «Современное политическое сознание в США» (в соавт., 1980), «Социальная утопия и утопическое сознание в США» (1982), «В мире утопии» (1989), «Политическая культура современного американского общества» (1990), «Русская идея и американская мечта» (2001), «Мировое развитие и мировой порядок» (2005). «О философии международных отношений» (2005) и др. Ряд работ переведен на иностранные языки.

Научно-образовательный форум по международным отношениям — неправительственная некоммерческая организация, созданная для содействия научным, образовательным и просветительским программам, нацеленным на формирование в России современного профессионального сообщества международных и политологов.

Под нынешним названием Форум работает с 2000 года. В 1996–1999 годах он был частью Московского общественного научного фонда.

Директор Форума
Алексей Богатуров

С 1996 года Форум дважды в год проводит зимние и летние школы по международным отношениям и политологии для университетских преподавателей и научных сотрудников исследовательских центров России и стран СНГ.

С 2003 года Форум издает журнал «Международные процессы».

Одновременно в рамках своих программ и приоритетов Форум поддерживает межрегиональные исследовательские коллективы.

За время работы Форум опубликовал 15 монографий и сборников, среди которых:

Дацышен В.Г. Христианство в Китае: история и современность. М.: НОФМО, 2007. 240 с.

Фиона Хилл, Клиффорд Гэдди. Сибирское бремя. Присчеты советского планирования и будущее России. М.: НОФМО, 2007. 328 с.

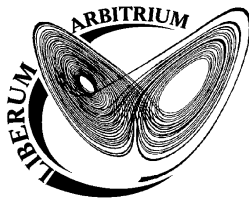
Системная история международных отношений. 1918–2003. События и документы. В 4-х томах / Под ред. А.Д. Богатурова. Том 1 и том 2. М.: Московский рабочий, 2000; том 3. М.: НОФМО, 2003; том 4. М.: НОФМО, 2004.

Сайт Форума: <http://www.obraforum.ru>

Адрес: 125009, Москва, Газетный пер., д. 9, строение 2, офис 29

Телефон: (495) 790 73 94, факс: (495) 202 39 34

E-mail: info@obraforum.ru



LIBERUM ARBITRIUM
СВОБОДА ВЫБОРА

На эмблеме Форума изображен «аттрактор Лоренца» — фигура, воплощающая вариантность движения потоков частиц в неравновесных системах. Эмблема зарегистрирована как товарный знак.

Academic Educational Forum on International Relations is a Moscow-based non-profit organization working to promote education and research in the field of International Relations, Security Studies and Political Science and strengthen Russia's community of IR scholars and educators. Our overarching goal is to support younger academics and university faculty from Russia's regions and CIS states in achieving maximum professional independence and sustainability. We do that by helping our target audiences to expand their professional tool-kits and develop their research agendas.

Our projects are grouped into five tracks:

- winter and summer schools on theory and methodology for younger scholars and faculty;
- publication of “International Trends” – a journal of international relations theory and world politics;
- networking and community-building among IR scholars and analysts;
- conferences and workshops on applied issues in international politics, and
- collaborative network research projects.

The Forum alumni network embraces over 200 personalities in 89 cities of the Russian Federation and 7 CIS nations.

We receive support from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Open Society Institute - Russia and other grant-making institutions.

The Forum is directed by Prof. Dr.

Alexei D. Bogaturov

Visiting address: Gazetny pereulok, 9, bldg. 2, office 29, Moscow 125009

Phone: (495) 790 73 94, fax: (495) 202 39 34

E-mail: info@obraforum.ru

<http://www.obraforum.ru>

<http://www.intertrends.ru>

Международные процессы

Журнал теории международных отношений и мировой политики

Главный редактор

д.пол.н., профессор *А.Д. Богатуров*,
заместитель директора Института проблем международной безопасности РАН

«Международные процессы» — первый российский научный журнал, посвященный теории международных отношений и мировой политике. В журнале публикуются статьи, анализирующие новые тенденции в развитии международных отношений и мировой экономики, а также освещающие современные теоретические дискуссии по конфликтологии, международным организациям, этическому измерению внешней политики и международного права, международной безопасности, геополитике.

Журнал является независимым изданием, созданным в целях содействия научному общению между русскоязычными исследователями и преподавателями международных отношений и смежных дисциплин. Мы также стремимся помочь становлению и развитию в России школ теоретического осмысления международных отношений и мировой политики.

Среди наших авторов — сотрудники образовательных и исследовательских учреждений России, стран СНГ, Западной Европы и Северной Америки. Помимо академической аудитории, журнал распространяется среди представителей российских федеральных и региональных органов власти, включая Министерство иностранных дел и Федеральное Собрание РФ.

«Международные процессы» приглашают к сотрудничеству авторов. Объем рукописей представляемых на рассмотрение Редакционного совета, не должна превышать 40 тысяч знаков с пробелами. К рассмотрению принимаются только ранее не публиковавшиеся материалы, не представленные одновременно к публикации в других периодических изданиях или в составе коллективных работ.

Журнал выпускается три раза в год Научно-образовательным форумом по международным отношениям при поддержке Фонда Макаруров.

ISSN 1728-2756

E-ISSN 1811-2773

Открыта общедоступная подписка на журнал «Международные процессы» на второе полугодие 2008 года. Индекс издания по каталогу «Роспечать» — 46768.

<http://www.intertrends.ru>



International Trends

Journal of International Relations Theory and World Politics

Edited by *Alexei D. Bogaturov*,
Institute of International Security Studies,
Russian Academy of Sciences

International Trends is the first Russian academic journal dedicated to international relations theory and methodology of world-political studies.

The journal features first-class articles on new fundamental trends in international relations and world economy, the evolving theoretical agenda of security and conflict studies, international organizations, the ethical dimension of foreign policy and international law, ecology, geopolitics and international political economy. Having no direct affiliation with any state or private university or think-tank, the journal seeks to facilitate communication among all Russian-reading scholars and educators and to foster their concerted effort focused on developing theoretical approaches to international relations and world politics.

Our authors come from universities and research centers based in the former Soviet area as well as Western Europe and North America. Apart from Russian-speaking intellectuals, analysts and university faculty, the journal circulates among policy makers and officials serving in Russian federal and regional government bodies, including the Ministry of Foreign Affairs and the Russian Federal Assembly.

"International Trends" welcomes manuscripts in Russian. Their length should not exceed 40,000 characters. Submitted manuscripts should be original and should not be considered simultaneously for publication in full or in part in any other journal or collective monograph.

International Trends is published three times a year by the Academic Educational Forum on International Relations with financial support from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation

ISSN 1728-2756

E-ISSN 1811-2773

Индекс журнала «Международные процессы» по каталогу агентства «Роспечать» за 1 полугодие 2006 г. — 46768

<http://www.intertrends.ru>

**Книги, изданные Научно-образовательным форумом
по международным отношениям**

1. *Системная история международных отношений в четырех томах. 1918–2003. События и документы* / Под ред. А.Д. Богатурова. Том I (520 с.), том II (247 с.). М.: Московский рабочий, 2000. Том III (720 с.), том IV (600 с.). М.: НОФМО, 2003–2004.
2. *Виноградов А.В.* Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. Издание второе, исправленное и дополненное. М.: НОФМО, 2008. 363 с.
3. *Дацышен В.Г.* Христианство в Китае: история и современностью. М.: НОФМО, 2007. 240 с.
4. *Хилл Ф., Гэдди К.* Сибирское бремя. Просчеты советского планирования и будущее России. М.: НОФМО, 2007. 328 с.
5. *Баталов Э.Я.* О философии международных отношений. М.: НОФМО, 2005. 132 с.
6. *От миропорядка империй к имперскому миропорядку* / Отв. ред. Войтоловский Ф.Г., Гудев П.А., Соловьев Э.Г. М.: НОФМО, 2005. 204 с.
7. *Чешков М.А.* Глобалистика как научное знание. Очерки теории и категориального аппарата. М.: НОФМО, 2005. 224 с.
8. *Стабильность и конфликт в российском приграничье. Этнополитические процессы в Сибири и на Кавказе в середине 2000-х годов* / Отв. ред. Дятлов В.И., Рязанцев С.В. М.: НОФМО, 2005. 345 с.
9. *Троицкий М.А.* Трансатлантический союз 1991–2004. Модернизация системы американо-европейского партнерства после распада биполярности. М.: НОФМО – Институт США и Канады РАН, 2004. 250 с.
10. *Прозрачные границы. Безопасность и сотрудничество в зоне новых пограничных территорий России* / Под ред. Голунова С.В., Вардомского Л.Б. М.: НОФМО, 2002. 572 с.
11. *Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталеv М.А.* Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. 382 с.
12. *Галенович Ю.М.* Китай и сентябрьская трагедия Америки. М.: НОФМО, 2002. 170 с.
13. *Интеллект на завтра. Сборник новых предметных программ по международным отношениям и безопасности* / Редактор-составитель Троицкий М.А. М.: НОФМО, 2001. 270 с.

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (Университет)
МИД РОССИИ**

ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ НА

ОТДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

Отделение является частью Факультета политологии МГИМО-Университета и ориентировано на подготовку бакалавров и магистров в области отношений политической власти и бизнеса, взаимодействия государств и международных институтов, политических аспектов формирования экономического курса государства.

Вступительные экзамены

Проводятся письменно по географии, иностранному языку, русскому языку и литературе.

Имеются бюджетные и платные места.

*** * ***

«...Современные специалисты в идеале должны быть подготовлены для работы всюду, где соприкасаются интересы политики и бизнеса. Эксперт по экономической политологии должен в рамках задания «с колес» вести переписку на иностранных языках и включаться в организацию серьезных переговоров...»

«...Учащиеся должны обладать навыком не столько давать событиям политическую оценку, сколько самостоятельно вырабатывать оптимальную стратегию поведения (личности, корпорации, органа государственной власти) в ситуации столкновения интересов бизнеса и власти. Типичные конфликты, стратегии примирения интересов, факторы личности политика в деловом мире и бизнесмена в политике, правовая и этическая основа сотрудничества бизнеса и власти — повестка дня экономической политологии приблизительно такова...».

«...Сегодня речь идет о необходимости в менеджерах «второго поколения», менеджерах-стратегах, мастерах долгосрочного и комплексного политического управления — в том числе в сфере экономики. Экономическая политология предназначена решить свою часть этой сложной, грандиозной и привлекательной задачи...».

*Алексей Богатуров
проректор МГИМО
«НГ-Сценарии», 29.01.2008*

Баталов Эдуард Яковлевич

Человек, мир, политика

Редактор О.И. Мальцева
Компьютерная верстка И.А. Николаевой

Подписано в печать 30.04.2008. Формат 60 x 90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура School Book, Text Book.
Печать офсетная. Печ. л. 21,5.
Тираж 600 экз. Заказ №

Отпечатано с готовых диапозитивов
В ГП «Облиздат», 248640, Калуга, пл. Старый торг, 5